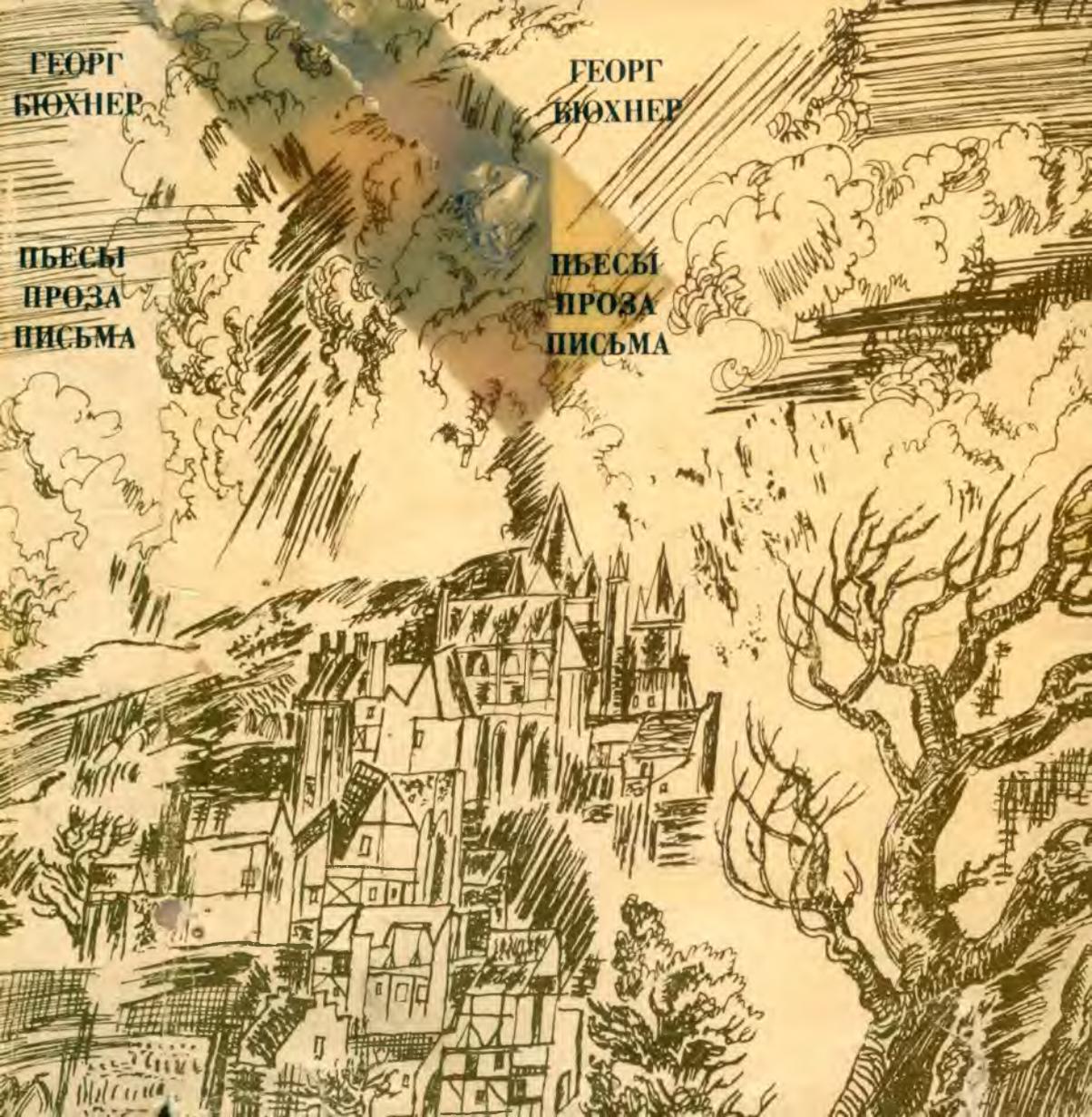


ГЕОРГ  
БЮХНЕР

ПЬЕСЫ  
ПРОЗА  
ПИСЬМА

ГЕОРГ  
БЮХНЕР

ПЬЕСЫ  
ПРОЗА  
ПИСЬМА



ГЕОРГ  
БЮХНЕР

ГЕОРГ  
БЮХНЕР

**ГЕОРГ  
БЮХНЕР**

**ПЬЕСЫ  
ПРОЗА  
ПИСЬМА**



**ГЕОРГ  
БЮХНЕР**

**ПЬЕСЫ  
ПРОЗА  
ПИСЬМА**



Издательство  
«Искусство»  
Москва  
1972

И (Нем)  
Б 98

Переводы с немецкого  
под редакцией А. Карельского  
Статья и комментарии  
А. Карельского

## ГЕОРГ БЮХНЕР

Когда 19 февраля 1837 года в Цюрихе от внезапной тяжелой болезни скончался 23-летний немецкий эмигрант Георг Бюхнер, в Германии его имя было известно скорее полицейским властям, преследовавшим его за революционную деятельность, нежели просвещенной публике. Единственная опубликованная при жизни драма Бюхнера — «Смерть Дантона» — прошла почти незамеченной. Только Карл Гуцков, известный литератор либерально-демократического направления, написал о Бюхнере после его смерти: «Если бы мог я для будущих изображений нашей эпохи — со всеми ее страданиями, надеждами и борьбой — навеки и в золотом ореоле сохранить хотя бы имя Георга Бюхнера в числе тех, кто жизнью и делом своим отмечали движение нашего промежуточного времени! Когда всех нас смоеет поток забвения, пусть он будет одним из первых, от кого голубь мира, после того как иссякнет гнев господень, принесет зеленую ветку в ковчег новой и всеповелевающей справедливости!»

Хотя бы Бюхнера... Память потомков сохранила и имя самого Гуцкова и имена других его современников, но к творчеству Бюхнера она, пускай и не сразу, обратилась с особенно благодарным изумлением. Вот уже в течение почти столетия она снова и снова возвращается к векам этой короткой сгоревшей жизни, к страницам скромного однотомника, вобравшего в себя все полное собрание бюхнеровских сочинений: три драмы, повесть и прокламацию. И хотя это почти все фрагменты, набросанные в спешке, оборванные, недосказанные, о них уже написаны тома, на этом узком пространстве не раз скрещивались самые взрывчатые идеи века. Бюхнер не только «отметил движение своего промежуточного времени», но и остался вечной жгучей проблемой для последующих времен. Это и есть бессмертие, которого

пожелал Бюхнеру его литературный собрат, употребив для этого старомодную формулу — «навек и в золотом ореоле».

\* \* \*

Творческая биография всякого писателя начинается не с даты публикации его первого произведения, она включает в себя всю идейную атмосферу, в которой рос и воспитывался человек, в которой формировался склад его души, образ его мыслей. Чаще всего именно этот ранний опыт детства и юности преломляется в первых произведениях писателя. В случае с Бюхнером такое обращение к «предыстории» его сочинений имеет еще и особый смысл. Эпоху, в которую Бюхнер вошел как писатель (драма «Смерть Дантона» появилась в 1835 году), Гудков назвал «промежуточным временем»; другой немецкий писатель, современник Бюхнера Карл Иммерман, назвал ее «эпохой последышей». Оба эти определения, как легко заметить, при характеристике эпохи исходят не из ее собственных внутренних черт, они подчеркнуты относительно. Стремясь указать на наиболее характерные черты своего времени, они тоже отсылают нас назад, к какому-то предшествующему этапу.

Этот этап — начало XIX века — эпоха повсеместного торжества романтического и идеалистического настроения во всей духовной жизни Европы. Французская буржуазная революция до предела заострила вопрос об отношениях между личностью и обществом, вопрос о роли индивида в порядке мироздания. С одной стороны, она освободила его от власти феодальных сословных привилегий, с другой — наложила на него цепи нового, буржуазного общественного порядка. Испытав на какой-то миг головокружительное ощущение высоты, свободы, раскованности, романтический индивид тут же истолковал эту свободу как возможность полной независимости от окружающего мира, сразу осознанного как глубоко враждебный. Два хрестоматийных типа романтического героя: байронический мятежный одиночка — бунтарь и шатобриановский рефлектирующий одиночка — мечтатель — не так

уж противоположны друг другу, как кажется на первый взгляд. Разница между ними заключается в степени агрессивности по отношению к внешнему миру — максимальной у первого и минимальной у второго, — но они едины в его отрицании, непризнании, и, что еще важнее, они едины в утверждении полной суверенности индивида, возможности не считаться с объективным течением бытия. Люциферы или отшельники, холерики или меланхолики — все они еще верят, что они боги, соль земли, и, сколько бы ни уверяли нас герои Шатобриана или английских «озерных поэтов» в своем разочаровании, им нельзя без оглядки верить на слово. Да, они разочарованы в современности, но у них есть свой суверенный мир фантазии, религии, памяти о минувшем, им там уютно, приятно, привольно. В особенно наивной форме эта радость удаления от современности звучит у некоторых немецких романтиков: у Шлегеля в «Люцинде», у Новалиса в романе «Генрих фон Офтердинген», у Эйхендорфа в «Истории одного шалопаю».

Так что весь классический, «ортодоксальный» романтизм, при всем многообразии вариаций, зиждется на культе индивида, героя, гения, верящего в себя, в возможности своего «я», будь то байронический герой, новалисовский миннезингер или ставший на короткое время легендой император Наполеон. Классическая немецкая идеалистическая философия была благодатным духовным подспорьем для таких умонастроений.

Антропоцентризм — стержень романтического мироощущения. Идеал вопреки и наперекор всему — его символ веры. Не случайно вся романтическая эпоха — это эпоха возвышенных символов и в литературе и в общественной жизни. Раскованный Прометей у Шелли, Эмпедокл у Гёльдерлина, байроновское Миссолонги, голубой цветок Новалиса и, конечно же, победная звезда Наполеона, «владельца полумира», — все это романтизм. И все это основано на принципиальном нежелании считаться с реальностью, с историей.

Эта атмосфера еще сохраняла свою притягательную силу в пору детства и юности Бюхнера. Он родился в 1813 году. В Дарм-

штадтской гимназии (он поступил в нее в 1825 году) Бюхнер читал предромантических «бурных гениев» — поэтов «Бури и натиска» — и гениев романтических, сам подражал всем крайностям романтизма — сочинял меланхоличные элегии, воспевавшие руины старинных замков, записывал свои раздумья на полях сочинения, трактующего проблему самоубийства. Но иногда вдруг в расплывчатые юношеские мечтания врывается четкий и сильный звук, предвестник собственно бюхнеровского голоса: в школьном сочинении о Катоне Утическом (1830) пламенный пафос гражданственности соединяется с трезвой, хотя еще и несколько угловатой логикой мысли, уже здесь чувствуется, что этому поэту дан в удел «витийства грозный дар», что романтический культ героя преломляется у него прежде всего как культ *гражданской* жертвенности.

С самого начала помимо романтической сквозь душу впечатлительного юноши шла и другая струя. Когда Бюхнер вслед за своими учителями-романтиками начинает увлекаться Шекспиром, он не только восхищается в нем поэзией высоких страстей, но и значительно серьезней воспринимает демократический, плебейский элемент шекспировской драмы. Изыскания Гердера и романтиков в области фольклора также впечатляют Бюхнера, но и народное творчество он воспринимает не разумом философа и не чутьем эстета, а сострадательным сердцем гражданина. Когда он позже станет создавать для своих драм постоянное сопровождение из народных песен, ему будут вспоминаться песни преимущественно трагические, идущие не от патриархальных «поселян», а от горемычных тружеников, потом и кровью поливающих чужую землю.

Земное притяжение с самого начала нейтрализовало в Бюхнере романтическое отталкивание от реальности. Сверстники вспоминали потом, что ему не нравился Шиллер — он казался слишком риторичным, высокопарным. Этот импульс трезвости, реалистичности шел к нему уже от семьи. Его отец был врачом-хирургом, и трезвый, практический смысл во многом определял атмосферу дома. Брат Георга Людвиг стал потом философом-

материалистом механистического направления; сам Георг свои университетские штудии начал в 1831 году в Страсбурге на медицинском факультете, а незадолго до смерти написал исследование в области биологии, и ныне высоко оцениваемое специалистами. Занятия естественными науками еще более способствовали формированию у Бюхнера преимущественно материалистической системы убеждений.

\* \* \*

С приезда в Страсбург начинается «взрослая» жизнь Бюхнера. Из узкого круга семьи и гимназии человек вступил в круг общественного бытия. Здесь самое время обратиться уже к собственно бюхнеровской эпохе, прежде всего к ее социально-политическим определителям.

Двадцатые годы в Европе историки назвали эпохой реставрации. Разгромив наполеоновскую Францию, европейские монархи вознамерились по возможности зачеркнуть в своих странах последствия французской революции и реставрировать потрескавшееся здание феодализма. Их основные усилия были при этом направлены на подавление всех движений снизу, будь то национально-освободительная борьба или восстания деревенской и городской бедноты. Но и всякая радикальность в буржуазном свободомыслии пресекалась с той же последовательностью. Очень скоро это свободомыслие было оттеснено в предельно узкие границы расплывчатого либерализма, особенно в Германии, стране, менее всех вкусившей от идей буржуазного прогресса. Оппозиционные настроения здесь оказались раздробленными буквально по числу лоскутных германских княжеств и выражались лишь в форме лояльно-конституционных мечтаний либеральной интеллигенции и националистически настроенного студенчества (буршепшафты). Эту нищету остаточной германской оппозиционности Бюхнер в одном из своих писем охарактеризовал хлестким афоризмом: «Люди готовы пойти в огонь, если горит пунш!» Ему, максималисту по натуре и убеждениям, с самого начала

было ненавистно всякое ни к чему не обязывающее и ничем не рискующее суесловие.

Но сколь мизерна, распылена, разъединена была оппозиция в Германии, столь безраздельно было господство реакции: национальная раздробленность не мешала прочной круговой поруке властей. Эта порука существовала и в общеевропейском масштабе: межнациональный аппарат Священного союза во главе с Меттернихом зорко следил за проявлениями вольнодумства во всей Европе. Один из самых впечатляющих сквозных мотивов в письмах Бюхнера-эмигранта — боязнь, что власти очередного «суверенного» княжества или государства выдадут его в руки дармштадтских властей.

Французская июльская революция 1830 года всколыхнула эту околдованную реакцией Европу и особенно в душах немцев породила самые радужные иллюзии. Известны ликующие слова изгнанника Гейне о «солнечных лучах, завернутых в газетную бумагу». Бёрне в «Парижских письмах» упрекал себя за то, что не решился поцеловать руку первому встречному французу — «ту руку, которая разбила наши цепи и возвела нас, рабов, в звание рыцарей». В самой Германии начинается революционное брожение, и на этой волне энтузиазма в революционную борьбу вступает Бюхнер.

Отрезвление наступило очень скоро. Для Бюхнера оно стало судьбой.

\* \* \*

Свидетельством общественных устремлений Бюхнера-студента являются сохранившиеся письма к родным. Однако достоверность этих свидетельств — проблема весьма сложная: их надо с величайшей осмотрительностью привлекать в качестве главных свидетелей при реконструкции бюхнеровской системы убеждений. В литературе о Бюхнере есть случаи прямо противоположных толкований одних и тех же высказываний в письмах. Дело в том, что в письмах к родным Бюхнер не до конца оста-

вался самим собой. Его отец с самого начала был встревожен радикализмом взглядов сына, и Бюхнер постоянно стремился успокоить родных. В результате вокруг этой корреспонденции создалась специфическая атмосфера проблематичности, неопределенности, даже конспиративной маскировки. Это особенно заметно в письмах, относящихся к периоду участия Бюхнера в революционном тайном обществе в Гисене. С какой отчаянно-спокойной изобретательностью Бюхнер сочиняет безобидные легенды о своей жизни в Гисене,— а ведь это были дни преследования, лихорадочной игры в прятки с полицией, страха за жизнь и, к счастью, удавшегося бегства! Но и во всех других письмах домой, касающихся его политических взглядов, почти всегда присутствует форсированный тон легкого пренебрежения, преуменьшения, он накладывается трудно отличимым слоем на вообще присущую характеру Бюхнера ироничность, и потому бюхнеровские письма надо постоянно рассматривать в общем контексте его судьбы, его личности и его произведений.

Совершенно очевидно, что оглядки на реакцию семьи нет там, где Бюхнер высказывает недвусмысленно резкие суждения о правителях тогдашней Европы, или там, где он развивает мысли о необходимости насильственных перемен. Верховных заправил Священного союза он без обиняков называет «светлейшими олухами» и выражает надежду, что «на земле над ними никто не смилуется». В письме от 5 апреля 1833 года он развивает целую систему мыслей, в которой впервые обнаруживается уже сформировавшееся, продуманное и на этом этапе фундаментальное мировоззрение: сейчас помочь может только насилие; князья добровольно ничего не уступят, в лучшем случае кинут жалкую подачку, чтобы обмануть народ; одной из таких подачек является сословное представительство; на него только переводятся деньги. Этот поразительный в устах девятнадцатилетнего юноши каскад беспощадно трезвых, обнаженно классовых аргументов в пользу революционного насилия не оставляет сомнения в том, что носитель этих взглядов не остановится перед их претворением в жизнь, как только представится реальная возможность.

Двумя месяцами позже Бюхнер сделает чрезвычайно существенное дополнение к своему кредо. Он напишет родителям: «...в последнее время я понял, что социальные преобразования могут быть вызваны лишь насущными потребностями народных масс, что вся возня и громкие призывы отдельных личностей — бесплодное и глупое занятие». Перед нами очевидная формула материалистического подхода к истории, и она с полным основанием приводится всеми исследователями как свидетельство бюхнеровского материализма.

Но у этой предельно трезвой, безапелляционной формулы есть еще и чрезвычайно эмоциональное, тревожное обрамление, обычно отбрасываемое при цитировании. Между тем контекст здесь крайне важен. Целиком рассуждение звучит так: «Конечно, я всегда буду действовать в соответствии со своими принципами, но в последнее время я понял, что социальные преобразования могут быть вызваны лишь насущными потребностями народных масс, что вся возня и все громкие призывы отдельных личностей — бесплодное и глупое занятие. Они пишут — их не читают; они кричат — их не слушают; они действуют — им никто не помогает...»

Как мы видим, рассуждение начинается оговоркой — человек готов следовать своим принципам *даже вопреки* открывшейся ему материалистической истине — и кончается почти отчаянной жалобой, патетичность которой оформлена даже синтаксически. Как многозначительно за эти два месяца поменялись местами индивидуальная решимость к действию и ориентация в окружающем мире! В апреле: ваши законы превращают большинство граждан в рабочую скотину, и я буду бороться против этого словом и делом, где смогу, — безоглядная, торжествующая решимость. В июньском письме — решимость отчаянная, с явственным привкусом горечи: я буду действовать согласно своим принципам, но я смотрю на течение жизни и сомневаюсь, будет ли в этом смысл? В сопоставлении этих двух контекстов бюхнеровская готовность к действию обнаруживает очень специфическую особенность: она, эта готовность, явно основывается на чисто ро-

мантического одушевлении, и она уже загодя настроилась не на победу, а на героическую жертвенность. Трезвое знание не столько вооружило, сколько обескуражило Бюхнера. Такая реакция очень характерна именно для романтика. Мы впервые прикасаемся здесь к самому обнаженному нерву бюхнеровского «я», подходим к самой трагической черте бюхнеровской дилеммы; здесь, в этой цезуре между апрелем и июнем 1833 года, на этом отрезке познания, как видно, впервые столкнулись лицом к лицу романтическая окрыленность и самая что ни на есть материалистическая, земная истина, и они не готовы дополнить и поддерживать друг друга, а скорее папряглись в ожидании — кто кого?

\* \* \*

С такими взглядами Бюхнер летом 1833 года возвращается из Страсбурга домой и с 31 октября 1833 года продолжает свое обучение в местном университете в Гисене.

Нужно осознать здесь всю резкость смены общественно-политического климата. Страсбург — это все-таки была буржуазная Франция, атмосфера послеиюльского возбуждения, начинающихся выступлений промышленного пролетариата, повышенной температуры революционной и социально-преобразовательской мысли, широкого распространения идей Сен-Симона, Ламение, Бланки.

Гисен — университет рядового германского княжества, островок доморощенной учености и столь же доморощенной либерально-националистической суеты бурженшафтов. Вокруг — феодальная вотчина гессенских князей, политая кровью и потом закабаленного крестьянства. Не удивительно, что письма из Гисена к родным и к невесте, оставленной в Страсбурге, фиксируют крайне подавленное, тоскливое душевное состояние Бюхнера.

Но к недовольству внешними обстоятельствами присоединяется и еще одно очень сильное субъективное впечатление.

В одном из первых писем к невесте Бюхнер рассказывает о том, что он за последнее время заинтересовался историей французской

революции 1789 года. Необычайно показателен склад мысли, запечатленный в этом письме:

«Я изучал историю революции и совершенно раздавлен дьявольским фатализмом истории. В человеческой природе я обнаружил ужасающую одинаковость, в человеческих судьбах — неотвратимость, перед которой ничтожно все и вся. Отдельная личность — лишь пена на волне, величие — чистый случай, господство гения — кукольный театр, смешная попытка бороться с железным законом; единственное, что в наших силах, — это познать его; овладеть им невозможно. Теперь я не такой глупец, чтобы преклоняться перед парадными рысаками истории, перед ее столпами и остолопами. Я приучал себя к виду крови. Но я не палач. *Надо* — вот одно из тех слов, которыми был проклят человек при крещении».

Какое многозначительное продолжение стразбургского письма о принципах! Перед нами — крик души, вдруг познавшей и железную погущь истории, и прикованность человека к ее колеснице, души, воспитанной на романтическом культе героя и осознавшей теперь объективное течение вещей. Материализм и трезвость взгляда на мир утверждаются здесь от противного, как явственное крушение романтических иллюзий. В философской терминологии новые взгляды Бюхнера — конечно, не столько материализм, сколько механический детерминизм, но для судьбы *человека* Бюхнера, для того момента ее — это высочайший, предельно трагический разлад ума и сердца, конфликт, сразу все поставивший на карту.

Традиционная датировка этого письма ноябрем 1833 года ныне подвергается сомнению — датский исследователь Виссинг-Нильсен относит это письмо к началу марта 1834 года. Но в любом случае оно было написано *до* бюхнеровской попытки активного революционного действия или непосредственно в тот самый момент.

Примерно в марте 1834 года Бюхнер собирает вокруг себя небольшой кружок радикально настроенных студентов, который он называет по французскому образцу «Обществом прав человека».

Трезво оценивая возможности такого кружка, Бюхнер в начале июля налаживает прямые контакты с уже существовавшей в Гессенском княжестве и более разветвленной подпольной организацией либералов-конституционалистов. Ею руководил пастор Людвиг Вайдиг, человек огромного личного мужества, умелый конспиратор и организатор, но сторонник в общем умеренных, конституционных целей.

Бюхнер действует согласно своим принципам. Если вся возня одиночек — это «бесплодное и глупое занятие», если «социальные преобразования могут быть вызваны лишь насущными потребностями народных масс», значит, надо делать ставку именно на эти массы. В Германии это — подневольные массы крестьянства.

Величие революционного начинания Бюхнера в том, что он, терзаемый сомнениями в возможности противостоять «дьявольскому фатализму истории», дерзнул все-таки бросить вызов ему и до конца последовал единственно революционной, материалистической логике — апеллировал к самому многочисленному и самому угнетенному классу общества. Трагедия этого начинания в том, что оно оказалось приуроченным к неподходящему месту и времени. Логику революционной мысли, отточенную в буржуазной послеиюльской Франции, Бюхнер попытался претворить в действие в одном из карликовых княжеств феодально-крестьянской Германии. Претворение материалистической революционной логики в действие было в этих условиях заранее обречено на провал, и это то, что предчувствовал Бюхнер-материалист, но с чем не хотел примириться Бюхнер-романтик.

\* \* \*

Вайдиг его предупреждал. Он был либеральным пастором, сторонником постепенности, политиком, рассчитывавшим лишь на возможное, но романтиком он не был. Бюхнеровский радикализм его пугал, и не столько крайностями своих выводов, сколько именно их несвоевременностью. В конце концов Вайдиг уступил.

Бюхнеру было поручено от имени всей организации составить в его духе прокламацию, адресованную прежде всего к угнетенному крестьянству и призывавшую его к восстанию. Организация брала на себя задачу печатания и распространения прокламации. Так родился прославленный бюхнеровский «Вестник», его послание гессенским крестьянам. Это документ, редкий по духу в немецкой литературе. Нам, соотечественникам Радищева, Некрасова, Чернышевского, он особенно близок и понятен.

Исследователи, основываясь на свидетельствах современников и на тщательном анализе текста, выделяют в прокламации места, отредактированные или дополненные Вайдигом. Это главным образом библейские, религиозные мотивы, четко различимые в «Послании». Вайдигу принадлежит и сквозная замена бюхнеровского слова «богачи» (die Reichen) словом «господа», «дворяне» (die Vornehmen). Но если религиозные мотивы действительно разжигали четкость бюхнеровской мысли, то традиционный упрек Вайдигу в том, что он намеренно старался заглушать эту четкость, исправляя везде «богачи» на «дворяне», далеко не так бесспорно справедлив. В прокламации, адресованной крестьянству, да еще крестьянству Гессенского княжества, где буржуазная эксплуатация если и существовала, то лишь в самых зачаточных формах, формулировка «дворяне», вероятно, звучала конкретней, четче, актуальней, чем расплывчатое «богачи».

Эта прокламация была беспрецедентным явлением в немецкой политической публицистике не только по радикальности классово-политической позиции автора, но и по самой форме изложения. Бюхнер впервые здесь обратился к оружию статистики и дал прекрасный образец ее идеологического использования. Последовательно и неуклонно он приводит математически точные свидетельства бесправия и угнетения, царящих в феодальной системе Гессена. Это голос человека, для которого материалистический тезис «бытие определяет сознание» — не философская фраза, а самая живая, кровотокающая, взывающая к переменам истина.

И если конкретная обстановка Гессенского княжества, к сожалению, подтвердила опасения Вайдига, если тот момент истории

судил Бюхнеру изведать всю горечь поражения, то протяженная и величественная история века, история преемственности революционного слова и дела все равно оставила за ним бескорыстную славу предтечи, одного из самых ранних своих глашатаев.

\* \* \*

Организацию предал провокатор, платный агент гессенского министра по внутренним делам. Одно из друзей Бюхнера полиция перехватила с экземплярами только что отпечатанной прокламации. Но не менее печально было и другое: современники свидетельствуют, что многие крестьяне — очевидно, боясь преследований — сами приносили подброшенные им экземпляры «Вестника» в полицию.

Удары следуют один за другим. Полиция арестовывает друзей и единомышленников Бюхнера. Из тюрем просачиваются слухи о зверских истязаниях на допросах, и Бюхнера помимо гнева и сострадания мучит еще и сознание своего бессилия и подспудное, незаслуженное, но такое понятное ощущение собственной вины: все из-за меня, а я сам на свободе! Но и вокруг него самого все теснее стягивается круг полицейских подозрений. От семьи надо все скрывать и делать вид, что предварительные вызовы в полицию — пока еще в качестве свидетеля — основаны на чистой случайности, что на самом деле Георг Бюхнер всего лишь прилежный студент-медик, увлеченный работой, образцовый сын своего отца.

Было ли у Бюхнера хотя бы ощущение несвоевременности этой попытки, объективного тактического и стратегического просчета? Свидетельств этому нет. Да и вряд ли Бюхнера могла утешить вера в объективный ход истории, — скорее, наоборот: мы помним, что еще раньше осознание этой объективности свергло романтико-героическую натуру Бюхнера в тягчайший внутренний разлад. И теперь, в родительском доме, когда он, делая вид, что проводит ночи за медицинскими штудиями, на самом деле на-

брасывает на бумагу обрывистые, задыхающиеся монологи своей первой драмы, не временность поражения, а именно «дьявольский фатализм истории» встает и огромным трагическим фоном разворачивается за ним и его героями.

Бюхнер пишет драму о французской революции. Но цель его — не просто в воссоздании исторических событий. Какой бы широкой ни получилась панорама революции в «Смерти Дантона», как бы скрупулезно порой ни следовал Бюхнер читанным им историям революции, сколько бы в конечном счете ни обнаружил он прозрений о ее характере и движущих силах, — первичный, начальный импульс и сквозной ток бюхнеровской драмы идет от одной черты ее главного героя — черты, отмечавшейся всеми тогдашними историками. По их свидетельствам, Дантоном на этом последнем этапе его жизни, в преддверии гильотины, овладело странное чувство апатии, равнодушия не только к судьбе революции, но и к своей собственной судьбе. И в центре бюхнеровской драмы стоит именно такой, обреченный Дантон, но обреченный не столько объективным ходом революции, сколько вдруг открывшимся ему *сознанием своей обреченности*. В этом изгибе дантоновской судьбы Бюхнер явно усмотрел прообраз собственного столкновения с «фатализмом истории». Его гисенская попытка опровергнуть этот фатализм предстала теперь в его сознании окончательным подтверждением тех мыслей, которые мучили его во время исторических штудий: «Отдельная личность — лишь пена на волне, величие — чистый случай, господство гения — кукольный театр, смешная попытка бороться с железным законом...» И тогда отрешенность Дантона, безвольно идущего навстречу гильотине, Бюхнер истолковал для себя как историческую модель такого крушения героико-романтических иллюзий. Бюхнеровский Дантон прежде всего символ. Это человек, убитый лицемерием «железного закона», с самой первой сцены не живое лицо, а «мертвая реликвия», как говорится в драме. Смерть Дантона, о которой здесь рассказывает Бюхнер,— это смерть, наступившая *еще до той*, протокольной, па гильотинном помосте.

\* \* \*

Обширная литература о Бюхнере дает самые противоположные толкования его драмы. Бюхнеровский Дантон — мученик свободы или эпикурействующий ее нахлебник? Бюхнеровский Робеспьер — защитник народных интересов или кровожадный властолюбец? И в самой драме есть фразы, как будто подтверждающие все эти толкования.

Тем более важно по возможности точней восстановить первоначальный замысел автора. Это самый естественный, но и самый кропотливый путь — подключиться к давно остановившейся пульсации той мысли и того чувства, которые в момент создания драмы подсказывали слова, заставляли предпочесть именно то, а не это, диктовали порядок реплик, каденцию монологов, выбор ситуаций и сцен. Наш долг уважения к истине — попытаться максимально приблизиться к течению этого живого когда-то процесса, по возможности вплотную следовать за ним, не упуская ни малейшего жеста, ни изменения тона, ни перехвата дыхания. Именно жеста, тона, дыхания — всей музыки и ритмики речи в драме, — потому что и они очень важны: это они расставляют по значению, по первостепенности фразы и слова, существующие без них только в мертвом порядке очередности. Это тем более важно, что Бюхнер преимущественно «музыкальный» автор. И если у всякого настоящего писателя есть свой тон, свое внутреннее музыкальное сопровождение лежащейся на бумагу речи, то у Бюхнера оно особенно властно влияет на структуру его текста, приобретает формообразующую роль.

\* \* \*

Первая же сцена драмы сразу вводит нас в мир резкого диссонанса, мир, будто расколовшийся пополам: драма открывается двумя противоположными, лихорадочно перебивающими друг друга мотивами. На сцене — две группы: за столом Эро-Сешель, один из друзей и единомышленников Дантона, играет с дамами в карты; поодаль, «на маленьком табурете у ног Жюли», —

Дантон. Диалог в этих двух группах внешне нигде не перекрещивается, участники сцены на обеих сторонах как бы не замечают друг друга. Предмет беседы, тон ее — все прямо противоположно. В группе Эро-Сешеля — пустая, галантно-игривая светская болтовня с витиеватыми эротическими двусмысленностями в духе безвозвратно ушедшего рококо. Между Дантоном и Жюли — разговор «как перед смертью», «о последних вещах», о трагичности человеческого бытия, о глубочайшей разобщенности людей, о невозможности счастья и неизбежности смерти.

Перед нами очевидно заданный, как будто даже назойливый прием и тон контраста. Но на самом деле, если внимательней вслушаться, он оказывается выражением глубочайшего конфликта внутри *одного* сознания.

«Ведущие» обеих групп — Дантон и Эро — стоят перед близкой казнью, предчувствуют смерть, и их речи в этой сцене представляют собой лишь индивидуальные вариации одного и того же состояния: ощущения ужасающей пустоты, усталости, бессмысленности всего, что они сейчас делают. Только Дантон уже подвел черту под своей жизнью и выясняет лишь свои отношения со смертью, а Эро еще пытается продержаться в позе бесшабашного фата. И они в этой сцене, ни разу не обратившиеся друг к другу, ведущие каждый свою линию, тем не менее соединены нерасторжимой, лежащей где-то по ту сторону слов глубинной связью, и лишь на гильотинном помосте гениальной волей драматурга завершится эта начальная сцена, этот странный диалог глухонемых, и связь обнажится, и Эро бросится в объятия к Дантону: «Ах, Дантон, мне уже больше не приходит в голову ни одна острота!» — а Дантон бросит палачу, пытающемуся их разнять, свою последнюю реплику: «Да можешь ли ты помешать тому, чтобы наши головы слились в поделуе на дне корзины?» Осознав это единство внутреннего настроения в первой сцене, мы осознаем и страшный второй смысл, маячащий за легкомысленной болтовней карточного общества: «Не будьте суеверным», — капризничает дама; «...вы объяснялись мне в любви на пальцах, как глухонемой», — кокетничает дама; «...любовные авантюры

стоят денег, как и все на свете», — поясничает Эро. На фоне трагических откровений Дантона слова «суеверный», «глухонемой», «авантюра» звучат уже по-иному, вносят неожиданные резкие обертоны даже в это как будто безмятежное каприччио. Это предсмертное балансирование между гильотиной и карточным столом, между могилой и притоном станет главной темой дантоновской группы в полифонии драмы. Оно обусловит глубоко трагическую, даже истерическую основу пресловутого «эпикурейства» бюхнеровских дантонистов. Их проповедь наслаждения жизнью, «следования своему естеству» Бюхнер явно объясняет не столько стремлением урвать побольше плодов победы в революции (какие уж теперь для них плоды и какая победа!), сколько отчаянным желанием забыться любой ценой и еще хоть в этой сфере потешить себя миражем «естественного права» и индивидуальной свободы. Это — не примитивный, стихийный зов плоти, это — отчаянное, бессильное самоупричижение духа. Отчетливей всего это обнаруживается в сцене между Дантоном и куртизанкой Марион. Вся эта сцена менее всего оргия, она — трагическое мимолетное соприкосновение двух глубоко несчастных душ. А знаменитая «фуга смерти» в сцене в Консьержери, последняя агония чувства и интеллекта у осужденных дантонистов! Как многозначительно она варьирует тему наслаждения, забавы, игры — теперь уже откровенно жестокой забавы, страшной игры, игры неведомых и безжалостных сил со страдающим и бессильным человеком: «...вечно смеются бессмертные боги, и вечно умирают рыбы, и вечно наслаждаются боги красочными переливами их предсмертных судорог...»

В изображении дантонистов перед нами явно *романтизированная* история. Бюхнер, внешне следуя засвидетельствованным историками фактам, повсюду пропитывает их горечью собственного, а иногда и прямо заимствованного из романтической литературы разочарования — цитированная выше притча о богах и рыбах, самая пронзительная нота в предсмертной агонии дантонистов, взята у Людвиг Тика. Если из ролей бюхнеровских дантонистов исключить исторически засвидетельствованные фра-

зы и монологи (их в драме очень много), то эта авторская аранжировка обнаружится с совершенной очевидностью — останется нескончаемая жалоба, впервые прозвучавшая в гисенском письме к невесте: «Я раздавлен дьявольским фатализмом истории... Отдельная личность — лишь пена на волне...»

Дантон у Бюхнера — квинтэссенция этого настроения, его всеобъемлющий знак. В драме неспроста обыгрывается характеристика «мертвый святой», «мертвая реликвия». Дантон именно персонификация устарелой и никому не нужной реликвии, окаменевшей, неживой веры. Он это понимает, и оттого он так пассивен. От сцены к сцене нарастают страх и отчаяние дантонистов, они все громче, все истеричней требуют от Дантона решительных действий, а тот своей апатией, своими усталыми остротами каждый раз сбивает, гасит все эти эмоциональные вспышки, предоставляя драме самой идти к единственно логическому концу — гильотине, смерти.

Бюхнеровский Дантон — облаченная в костюм Дантона ипостась самого Бюхнера. Он живет как герой бюхнеровской драмы, но не как литературный портрет исторического Дантона. По отношению к тому он явно идеализирован, он — медиум, устами которого говорит потрясенный голос самого автора. И когда в конце драмы чисто и сильно начинает звучать «женская» тема, когда мысли Дантона и Камилла обращаются к их женам, когда смертникам уже не до парадоксов (вроде дантоновского «Я люблю тебя, как любят могилу») и они просто тоскуют по земным подругам — как это сходно с последней фразой в том же бюхнеровском письме: «Если б только я мог прижать свое холодное, измученное сердце к твоей груди!»

\* \* \*

Первая сцена драмы, прослеженная в логическом и эмоциональном движении ее основных мотивов, привела нас к пониманию пока только одного силового поля в драме — линии Дантона и его единомышленников. Но за первой сценой с ее душевной ат-

мосферой, за этим замкнутым кругом обреченности следует резкое и мгновенное расширение писательской оптики; за пронзительной темой одиночества и отчаяния на нас будто обрушивается мощный оркестровый гром — вторая сцена распахивает перед нами дверь на парижскую улицу, швыряет нас в бурлящую сутолоку народных будней.

Пьянчуга-суфлер Симон колотит свою жену. Громкий скандал привлекает все больше народу. Оказывается, что жена Симона посылает дочь на панель, потому что в доме дров нет и еды нет, и штаны у папаши последние... Как искры, брошенные в стог сена, эти фразы, сами по себе еще поданные в комическом обрамлении, сразу вызывают пожар, взрыв всеобщего возмущения, и вскоре такое море народной ненависти и гнева затопляет сцену, что мы явственно ощущаем: это не просто новое силовое поле входит в бюхнеровскую драму — это главная и коренная проблема революции, ее кровотокающий нерв, ее подлинная трагедия. «У них и кровь-то не своя, — кричит один из граждан, — они ее всю из нас высосали! Они нам говорили: убивайте аристократов, они хуже волков — мы аристократов перевешали. Они говорили: это король пожирает ваш хлеб — мы убрали и короля. Они говорили: вы из-за жирондистов голодаете — мы и жирондистов убрали. Потом они раздели мертвецов, а мы опять бегай босиком и мерзни... К черту! Перебить всех, у кого нет дыр на локтях!»

Какая резкая смена точки зрения, какой могучий новый пласт поднимается здесь в идейной атмосфере драмы! Дантонисты в предшествующей сцене истерически тасовали политические лозунги и рецепты, метались от республиканизма к гедонизму, требовали то создания Комитета помилования, то нагих богов, вакханок и олимпийских игр. Камилл Демулен начинал свою тираду требованием политической демократии: «Государственная власть должна быть прозрачным хитоном, облегающим тело народа. Сквозь него должна проступать каждая набухшая вена, каждый дрогнувший мускул, каждая напрягающаяся жила», а кончал эту тираду беспшабно-разгульным требованием примитив-

ной свободы наслаждений: «Несравненный Эпикур и божественные ягодицы Венеры станут опорами нашей республики, а не святые Марат и Шалье».

В каком вдруг беспощадно трезвом свете предстают теперь перед нами все эти откровения! Что нам теперь за дело до того, искренне или с отчаяния тревожил Камилл тень «несравненного Эпикура»? Перед нами встает реальная, единственно значимая мера этого эпикурейства: «У вас в животе бурчит, а они маются от обжорства; у вас дыры на локтях, а у них теплые камзолы; у вас мозоли на руках, а у них ручки-то атласные». А вот и реальное воплощение риторически-символической мечты Камилла о «божественных ягодицах Венеры»: «Да вот — присела я тут на порожек погреться на солнышке, — дров-то ведь нету... А дочь вышла на уголок... Она у нас молодец, кормит стариков...» Так в драму с самого начала входит другое, бесконечно более глубокое измерение событий — измерение болью народной и народной правдой. Здесь Бюхнер-реалист — тот Бюхнер, который говорил о насущных потребностях народных масс как единственным рычаге революции, — поверяет этим измерением выводы Бюхнера-романтика.

\* \* \*

Этот трезвый Бюхнер далек от всякой сентиментальности, от всякой романтической умиленности в изображении народа. Он глубоко ощущает всю стихийность, переменчивость, анархичность площадного революционного бунта. Сквозь все народные сцены драмы проходит этот мотив: огромная взрывчатая энергия, накопившаяся в народе, жаждет разрядки, ищет точки приложения и устремляется за первым же брошенным на эту почву лозунгом. В любом случайном агитаторе народ готов видеть главаря, вождя, который наконец-то напрямик приведет его к цели.

Уже в зажигательных монологах второй сцены явственно подчеркнута эта растерянность, неориентированность кипящего народного гнева. «Они» — это и все прежние глашатаи и богатые

вообще. Все учащенней и горячей начинает биться пульс этой сцены, и за двумя пространными монологами, как выстрелы, следуют лаконичные выводы: «Перебить всех, у кого нет дыр на локтях!.. И всех, кто умеет читать и писать!.. И всех, кто поглядывает на заграницу!.. Ишь, с платочком! Аристократ! На фонарь его! На фонарь!»

Чрезвычайно важно для понимания бюхнеровского замысла осознать тот факт, что именно на этой «точке кипения» в действие драмы вступает ее третья сила — Робеспьер.

\* \* \*

Он появляется «окруженный женщинами и санкюлотами», и, когда задает естественный вопрос о том, что здесь происходит, ему в ответ разгоряченные самозванные главари в сжатой форме повторяют свою анархическую программу: «Именем закона нет больше никакого закона, значит — перебить их!» Ситуация, как видим, заострена до предела: высший представитель революционного закона лицом к лицу сталкивается с отрицателем всякого закона.

Робеспьер мгновенно овладевает инициативой. Но между запальной речью анархиста и продуманной речью вождя в этой сцене есть одна резкая нота — истерический женский крик: «Слушайте спасителя! Его сам господь послал избирать и судить; меч его поразит злодеев. Глаза его избирают, а руки вершат суд!»

Именно теперь, когда прозвучала тема мессии, спасителя, когда пришла эта поддержка извне, Робеспьер начинает свою первую в драме речь.

Она вся — свидетельство величайшей тактической опытности Робеспьера. В ней есть пока только один диссонанс с ситуацией: робеспьеровское обращение «бедный, добродетельный народ». Вторая характеристика звучит как-то особенно неуместно, если вспомнить, из-за чего разгорелся здесь бунт. Но дальше Робеспьер уверенной рукой забирает всю инициативу из рук доморожденного демагога. Поняв, что народный гнев достиг предела, он

тут же использует момент, чтобы «направить руку народа». Он снимает анархические излишества ситуации, постоянно подчеркивая свое восхищение народом, и организует его энергию, неуклонно внушая ей направление. «Ты велик, народ! Ты являешь себя в стрелах молний и в раскатах грома» — вот двухчастная формула робеспьеровской мысли и логики в этой речи.

«Бедный, добродетельный народ» лавиной голосов отвечает Робеспьеру: «К якобинцам! Да здравствует Робеспьер!» — и уходит за ним. На сцене остаются те, кто все это «заварил», — Симон и его жена. Помирившись, они идут за угол — туда, где их дочь торгует своей добродетелью.

Так Бюхнер и своего Робеспьера с самого начала ставит в явственную и многозначительную соотнесенность с народным фоном. Но прежде чем глубже осознать эту связь, обратимся к самой фигуре Робеспьера.

\* \* \*

Внешне развитие событий в драме определяется конфликтом между Дантоном и Робеспьером. Дантон в этом конфликте — как будто проигравшая сторона, Робеспьер — победитель.

Но, взглядевшись в драму пристальней, мы обнаружим, что Бюхнер истолковывает этот конфликт иначе. Его Робеспьер менее всего может претендовать на роль победителя.

Поначалу Робеспьер и Дантон будто бы располагаются автором на противоположных полюсах. Их единственная встреча в драме — это диалог «на клинках», без малейшей попытки понять друг друга. Такой тон с самой первой фразы задает Робеспьер: «...каждый, кто хватает меня за руку, когда я вынимаю меч, — мой враг. Что он при этом думает, не имеет значения». И далее они уже говорят «мимо друг друга». Дантон фанатично настаивает на праве каждого «искать себе удовольствий по вкусу», Робеспьер столь же непреклонно стоит на своем: «Порок должен понести наказание; торжество добродетели невозможно без террора... Порок равнозначен государственной измене».

Спор этот, упорно вращаясь вокруг противопоставления «порок — добродетель», в сущности, идет о возможности и правомерности предлагаемого Робеспьером идейного наполнения революции. Может ли стать ее смыслом и лозунгом добродетель?

Робеспьер как будто убежден, что может. Он набрасывает возвышенное видение: террор приведет к наказанию порока и торжеству добродетели, «здоровые силы народа» встанут на место «прогнившего» старого общества, и тогда социальная революция закончится. Именно *социальная* революция и именно как плод и венец всеобщей порядочности!

Работая над исторически зафиксированными речами Робеспьера, Бюхнер вряд ли мог не обратить внимания на то, что исторический Робеспьер все-таки подчеркивал *общественный* характер своего принципа добродетели. В речи перед Конвентом 5 февраля 1794 года — еще за два месяца до казни дантонистов — Робеспьер говорил, что добродетель в его понимании «есть не что иное, как любовь к отечеству и его законам». И в первой речи Робеспьера в драме все-таки есть слова о том, что дантонисты «щеголяют своими пороками за счет ограбленного народа», то есть проблема еще истолковывается в социальном плане. Отчего же теперь, в этом важном споре с противником, Робеспьер ни разу не поправит Дантона, когда тот упорно сводит все к проблеме *личной* порядочности и отсюда тем беспощадней издевается над морализмом Робеспьера? Отчего Робеспьер ни разу не воспротивится такому сужению, *снижению* своей мечты о социальной революции?

Очевидно, тут замешана воля драматурга. Это он дает возможность Дантону одержать победу над Робеспьером: Дантону, познавшему бессилие индивида перед «железным законом», — над Робеспьером, упорно цепляющимся за фантастическую абстрактную идею. Для Бюхнера Робеспьер — еще одно воплощение идеализма и романтизма, и оттого Дантон так безжалостно «выбивает у него котурны из-под ног». Он метит в самое уязвимое место робеспьеровского мировоззрения, ставя ему лобовой вопрос: «Неужели ни разу ничто в тебе не шепнуло — совсем ти-

хо, тайно: ты лжешь, лжешь?!» И хотя Робеспьер отчеканивает в ответ привычную фразу: «Моя совесть чиста», его монолог после ухода Дантона убеждает нас: шепчет, и еще как!

В этом монологе Робеспьер, впервые говорящий «не на слушателя», раскрывает всю разорванность, зыбкость своего сознания. Нет уже той четкости, неуклонности, прямолинейности, которые он демонстрировал до этого. Напротив, разительный контраст: Дантон как бы продолжает жить в его сознании, становится вдруг его вторым «я», дантоновские аргументы всплывают снова и снова, дополняются собственными — «мысли подстерегают одна другую». И мы впервые осознаем: это, безусловно, человек еще верящий, но верящий уже в пустые фразы, в систему идей, не имеющих никакой опоры в реальности. И он это чувствует. Перед нами — Робеспьер, подошедший к дантоновскому порогу сознания.

Но он сопротивляется тому, с чем уже примирился Дантон. В поисках внутренней опоры он хватается уже за чисто религиозную идею, идею мессиянства, причем насильственного: «Тот спас людей своей кровью, а я — их собственной». Но и эта идея тут же оборачивается сокрушительным убеждением в бесполезности жертвы: «Поистине в каждом из нас распинают сына человеческого, все мы истекаем кровавым потом в Гефсиманском саду, но никто, никто еще не спас другого кровью своих ран... Все от меня уходит... Вокруг пустыня. Я совсем один».

Любопытно сопоставить эту сцену с другой, в начале второго действия, — сценой между Дантоном и Жюли. Такое сопоставление явно провоцируется самим драматургом: обе сцены происходят ночью, в обеих сценах Робеспьер и Дантон стоят у окна, оба они размышляют о своих отношениях с историей и революцией. Но убедительней всего их сближает откровенная переключка мотивов. «Мысли, желания — лихорадочные, безотчетные, бессвязные, те, что трусливо скрывались от дневного света, теперь обретают форму, контуры и закрадываются в тихий храм сновидений. Они распахивают в нем двери, лезут в окна, облекаются плотью, и люди вздрагивают во сне...» — это Робеспьер.

«Я ничего не говорил; я даже и подумать-то едва осмелился; это были еле слышные, запретные мысли... Еще бы не задрожать, когда на всю улицу орут стены! Когда мое тело так разбито, что безумные, путаные мысли уже не подчиняются ему и говорят устами этих камней!» — это уже Дантон. «Почему эта мысль так преследует меня? Тычет окровавленным пальцем в одну и ту же точку!» — это Робеспьер. «Чего оно хочет, это слово?.. Почему оно тянет ко мне свои кровавые лапы?» — а это Дантон. Снова Робеспьер: «Все мы лунатики, и наши дневные действия — тот же сон, просто более ясный и четкий. Можно ли нас осуждать за это?» И снова Дантон: «Марионетки... Марионетки, подвешенные на веревках неведомых сил». Вот Робеспьер вспоминает мессию: «Он испытал сладость страдания, а я терплю муку палача. Кто принес большую жертву, — я или он?» А вот мессию вспоминает Дантон: «Тот, на кресте, нашел удобный выход! Ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит!.. Надобно! Вот и у нас было это «надобно»! Кто осмелится проклясть руку, на которую уже пало проклятие этого долга?»

Так и ведут одинокую ночную переключку эти два внешне как будто непримиримых человека. Но здесь замыкается еще и другой круг: последние процитированные слова Дантона уже были однажды произнесены самим Бюхнером — они завершали его размышления о революции в гисенском письме к невесте.

Совершенно очевидно, что Бюхнер и своего Робеспьера «домысливает» в том же самом ключе, в каком он домислил своего Дантона, что он «подтягивает» их обоих к собственному фаталистическому взгляду на «железный закон».

Но это в драме, так сказать, «неофициальные», ночные признания Робеспьера. А поскольку исторический Робеспьер, в отличие от Дантона, все-таки последовательно осуществлял свои принципы и свою волю, то Бюхнер в конечном счете всем строем драмы отвергает его позицию — отвергает как глубочайшее субъективное заблуждение, как еще один «нас возвышающий обман». Трагизм фигуры Робеспьера у Бюхнера в том, что он в основа-

ние *социальной* революции положил чисто идеалистическую схему: догму насильственного спасения человечества.

Десятилетием позже примерно такой же взгляд на Робеспьера сформулирует молодой Маркс: «Он хотел установить всеобщую спартанскую простоту жизни. Принцип политики — *воля*. Чем одностороннее и, стало быть, совершеннее *политический* рассудок, тем сильнее его вера во *всемогущество* воли, тем большую слепоту проявляет он по отношению к природным и духовным *границам* воли, тем менее, следовательно, способен он открыть источник социальных недугов»<sup>1</sup>.

\* \* \*

Сталкивая Робеспьера с Дантоном, Бюхнер как будто противопоставляет идеализму Робеспьера механистический детерминизм Дантона как хоть и огорчительный, но единственно трезвый вывод. Но уже в самом развитии образа Робеспьера Бюхнер показывает, что его субъективное заблуждение чревато очень опасными *социальными* последствиями.

В сцене ночного монолога кончился «сомневающийся» Робеспьер. Теперь он появится в драме один-единственный раз — чтобы после ареста Дантона выступить в Конвенте и фактически вынести ему приговор. В последней речи Робеспьера нет уже ни тени колебания, но нет и *ни одного* конкретного доказательства вины Дантона. Явно чувствуя чистую риторичность и недостаточную юридическую обоснованность этой речи, Робеспьер прибегает к рассуждению, которое ему, очевидно, и впрямь кажется аксиомой: «Вас хотят запугать злоупотреблением властью, заключенной в ваших руках. Они кричат о деспотизме Комитетов, как будто доверие, оказанное вам народом и вами — этим Комитетам, не является лучшей гарантией их патриотизма».

Однако реальное течение процесса над дантонистами выливается в прямое опровержение этой робеспьеровской уверенности: трибунал злоупотребляет властью, подбирая присяжных, меняя

---

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. I, стр. 441.

на ходу кодекс, произвольно лишая подсудимых слова; члены Комитета спасения — Барэр, Бийо, Колло — изощряются в циничных высказываниях по адресу народа и с гораздо большим душевным участием обсуждают свои эротические похождения на загородной вилле в Клиши, нежели проблемы родины и революции. Вот уж где поистине срывание плодов революции, вот где обретенная «свобода естества»!

Робеспьер и здесь оказался идеалистом. И величайший такт Бюхпера-мыслителя, все-таки почувствовавшего историческое величие фигуры Робеспьера, проявился в том, что он *устранил* Робеспьера из дальнейшего хода драмы, не сделал его причастным к откровенным спекуляциям на революционной идее; больше того — он как будто подчеркнул эту дистанцию, заставив недостойных сторонников Робеспьера говорить о нем в явно пренебрежительном тоне.

Но как бы то ни было, а лозунг и направление ходу событий дал Робеспьер. К нему тоже можно применить слова, сказанные Мерсье в адрес Лакруа: «Последуйте за своими лозунгами до конца, до того момента, когда они воплощаются в жизнь. Оглянитесь кругом — все это вы говорили. Все это — мимическое воплощение ваших слов. Эти несчастные, их палачи и гильотина — все это ваши ожившие речи».

Композиция последних действий драмы как бы воссоздает этот образ «оживших речей», это движение от лозунгов к их «мимическому воплощению». Уже само устранение Робеспьера из последующего хода драмы демонстрирует такую логику авторской мысли: идеи Робеспьера как бы отрываются от его личности и, материализуясь в событиях суда над Дантоном, вдруг сбрасывают с себя все «котурны», весь возвышенный романтический флёр и вместо «строгой и непреклонной справедливости» являют закулисные махинации Фуке и Эрмана, вместо «здоровых сил народа» поднимают на поверхность общество загородной виллы в Клиши.

В этой композиционной линии есть одно важное промежуточное подтверждающее звено: за речью Робеспьера в Конvente сле-

дует речь Сен-Жюста. Она — целиком вымысел Бюхнера, и это тем больше выдает ее «функциональный секрет»: она подготавливает переход от идеализма Робеспьера к практике «децемвиров». Формально это пока еще тоже идея, умозрение; Сен-Жюст продолжает мысль Робеспьера даже на еще более возвышенном уровне: как природа «бесстрастно и неотвратимо следует своим законам», так и прогресс человечества, величественная революция духа, не может задерживаться на каждой единичной судьбе. «Из этого кровавого котла человечество, как земля из пучины потопа, восстанет во всей своей первозаданной мощи». Но в этом видении, в этом взлете обобщающей мысли отчетливо выступают земные, практические черты: «Разве идея, как и физический закон, не имеет такого же права уничтожать все, что встает на ее пути?.. Нам предстоит сделать еще несколько логических выводов из этого принципа; неужели лишняя сотня трупов должна нас остановить?» Так идея «фатализма истории», обезоружившая Дантона, выворачивается наизнанку и используется для оправдания робеспьеровской догмы насильственного спасения человечества.

Бюхнер как бы дает здесь Робеспьеру возможность увидеть воочию будущее развитие своих идей. Но ведь Робеспьер не то чтобы не предвидел всего этого — он же с самого начала сказал, что готов спасти людей их собственной кровью! А кого Робеспьер спас? Революцию — не спас. Народ — не спас. Его мудрость политического деятеля проявилась в том, что он все время делал ставку на народ, но что знал Робеспьер об этом «бедном, добродетельном народе»? Он предстал перед ним не выразителем его интересов, а пастырем, мессией. Сейчас он прельщает его иллюзией цели: перебить народных врагов. Но казнь дантонов решает в лучшем случае одну из робеспьеровских проблем, а не проблему *народную*, и Дантон с убийственной для Робеспьера четкостью формулирует это положение вещей: «Вы хотите хлеба, а вам швыряют головы! Вы умираете от жажды, а вас заставляют слизывать кровь со ступеней гильотины!» Это противопоставление не случайно, не для красного словца обро-

нено Бюхнером. В конце драмы он, очень памятный драматург, откроет сцену казни дантонистов выкриком женщины из толпы: «Дайте пройти! Дайте пройти! Ребятишки орут, есть хотят. Пусть они посмотрят — может, успокоятся». Трагедия революционных вождей снова соотносится с «мнением народным».

\* \* \*

Несомненно, что на бюхнеровскую трактовку образа Робеспьера повлияла буржуазная историография эпохи Реставрации. И Тьер и Минье в своих работах по истории французской революции (основных источниках Бюхнера) изображали могущественного якобинского диктатора ограниченным и беспощадным тираном, воплощением кровавого террора. Весь страх буржуазии перед гильотиной — этим грозным символом плебейской революции — сконцентрировался для них в ненавистной фигуре «адвоката из Арраса». Как ни стремились они продемонстрировать строгую объективность, они создавали свою, буржуазную историю революции, вершина и идеал которой были для них в либерально-конституционной «золотой середине» Жиронды.

Влияние такой трактовки наиболее заметно у Бюхнера в характеристике робеспьеровского окружения и особенно в расстановке акцентов при изображении суда над дантонистами. Этот суд подан в драме как вопиющая пародия на ту самую «строгую и непреклонную справедливость», к которой постоянно взывал Робеспьер, как пренебрежение и злоупотребление всеми законами даже строгого революционного правосудия. Было бы, однако, ошибкой сблизать в данном случае позицию Бюхнера с позицией тех буржуазных историков, у которых он позаимствовал внешние характеристики «децемвиров». Дело здесь все в точке зрения: не судом Жиронды судит их Бюхнер, как это делали Тьер и Минье, а судом главной, высшей инстанции — народа. Это он, страдающий и бунтующий где-то там, на улицах и площадях, за рамками кабинетных трагедий, он, покинутый и обманутый всеми своими вождями, создает в бюхнеровской драме

глухой и грозный хор возмездия. Он еще не судит конкретно, потому что он растерян — кого судить? То он кричит «Да здравствует Дантон!», то «Да здравствует Робеспьер!»; он не то чтобы «безмолвствует» — он именно растерян. Но его присутствие ощущается даже за самыми «камерными» сценами драмы. Поистине «есть грозный судия. Он ждет».

Эту огромную потенциальную энергию народного мнения ощущают все «высокие» герои драмы. Не случайно дантонисты главную ставку делают на агитаторский талант Дантона, не случайно Дантон перед арестом «обнимается с санкюлотами» на улицах, не случайно Робеспьер все свои триумфы начинает с площадей. Но величайшее историческое прозрение Бюхнера заключается в том, что он во всех них почувствовал главный и непоправимый теперь изъян — то, что у них давно порвалась внутренняя связь с народом, что они теперь панически боятся его и, оставшись наедине друг с другом или с самими собой, охотно становятся в позу одиночек, не понятых слепой толпой. «Эти осла будут кричать «Да здравствует Республика», когда нас повезут», — говорит о народе дантонист Лакруа. Но и в другом лагере отношение к народу не менее цинично. Для Барэра народ — это «торговки и всякие оборванцы», которые «могут нас изрядно потренировать». Бийо-Варенн, лицемерно осуждая Дантона за «презрение к людям, аристократизм еще более утонченный», с поразительной наивностью выдает себя, предваряя это рассуждение фразой: «Народ только и ждет, кто бы его отхлестал — плетью или взглядом, все равно». Лишь Робеспьер нигде не демонстрирует грубого аристократизма. Но когда он, оставшись один, сравнивает себя с Христом — что это такое, как не «аристократизм еще более утонченный»? Всем этим вершителям народных судеб давно уже стали чужды реальные народные беды, все они запутались в своих умозрительных конструкциях, в вечных вопросах бытия, и каждый по свой лад рефлектирует собственную трагедию. Нельзя эту проблему понимать упрощенно. В судьбе Дантона, скажем, Бюхнер подчеркивает не «отрыв от народных масс», а, конечно, раздавленность «дьявольским фатализмом истории».

Во всяком случае, «отрыв от масс» гораздо отчетливей акцентирован в изображении Робеспьера и его сторонников. Точно так же и народ у Бюхнера не выступает в роли «движущей силы» в революции. Понятие движущей силы имеет смысл только тогда, когда оно подразумевает сознательную целеустремленность и активность. Здесь же народ по всем статьям обманут и предоставлен самому себе. Да, он делал, что «они» ему говорили, он вершил революцию на всех ее этапах, но он остался таким же нищим и голодным, каким был. И в драме Бюхнера он уже не «движет» революцию, а присутствует как измерение *моральное*, существующее где-то над всеми политическими страстями момента, и измерение, не столько даже категорически утверждаемое драматургом, сколько стихийно утверждающее само себя во всех ситуациях драмы. Ведь ее главный конфликт для Бюхнера — это, конечно, противоречие между волей индивида и «железным законом» истории. Но именно та непроизвольность, стихийность, с которой «народный фон» то и дело врывается в конструкцию драмы, убедительней всего свидетельствует о глубокой органичности бюхнеровского демократизма. Рядом с механистическим противоречием «железный закон истории — индивид» в драме Бюхнера неизменно присутствует и другое, гораздо более коренное противоречие: внутренние распри среди буржуазной верхушки революции — и неизменная народная беда. Значение социально-исторического прозрения Бюхнера в том, что он, обратившись к истории французской революции и полагая в судьбе ее вождей продемонстрировать «дьявольский фатализм истории», на самом деле одним из первых в европейской литературе и общественной мысли продемонстрировал всю приципиальную *буржуазность* этой революции; он, имевший в своем распоряжении лишь версии буржуазной историографии, источники, в которых народ рассматривался не иначе как ослепленная яростью и жаждущая крови толпа, — он сумел уже здесь, в этой драме, почувствовать то, что потом отлили в четкие формулы материалистического анализа Маркс и Энгельс. «Буржуа на этот раз, как и всегда, были слишком трусливы, чтобы

отстаивать свои собственные интересы,— писал Энгельс в 1889 году о роли народных низов во французской революции.— Начиная с Бастилии, плебс должен был выполнять за них всю работу... только эти плебеи и совершили революцию. Но это было бы невозможно без того, чтобы эти плебеи не вкладывали в революционные требования буржуазии такой смысл, которого там не было... *Плебейское равенство и братство* должны были быть только мечтой в такое время, когда речь шла о том, чтобы создать нечто прямо *противоположное* им, и, как всегда, по иронии истории, это *плебейское* понимание революционных лозунгов стало самым мощным рычагом осуществления этой противоположности: *буржуазного равенства — перед законом и братства — в эксплуатации*<sup>1</sup>.



Затронув самые коренные философские и социально-исторические проблемы своего времени, драма «Смерть Дантона» — первенец двадцатидвухлетнего немецкого драматурга — органично вошла в контекст всей европейской духовной жизни первой половины XIX века. Здесь на немецкой почве родился литературный документ, отразивший эпохальную ломку сознания: прощание с антропоцентризмом, идеализмом уходящей эпохи и

---

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 37, стр. 126. В этой связи заслуживает внимания и вышедшее недавно в русском переводе капитальное исследование французского историка Альбера Собуля «Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры» (изд-во «Прогресс», М., 1966). На широком, до сих пор почти не затрагивавшемся историками материале (документация парижских народных обществ — «секций») Собыль убедительно показывает, что и самая вершинная фаза французской революции — период якобинской диктатуры — носила тоже буржуазный по существу характер, что, наряду с политикой террора против контрреволюционных сил, якобинское правительство Робеспьера неуклонно проводило политику сдерживания народной, плебейской инициативы в революции.

трудное рождение трезвого, материалистического взгляда на взаимоотношения между личностью и историей, на само течение исторического процесса, на роль в нем народных масс.

Единство духовного и социального движения эпохи порождает порой знаменательные совпадения образа мыслей в самых разных литературах и судьбах, даже в тех случаях, когда возможность прямых контактов и взаимовлияний исключается. Разве нет глубинного сходства в изображении народного фона в пушкинской драме «Борис Годунов» и бюхнеровской «Смерти Дантона»? Попытка Бюхнера совершить революцию в отсталой крестьянской Германии — попытка, послужившая толчком к написанию «Смерти Дантона», — разве не варьирует ту же самую модель, что была примерно в это же время и в нашей истории? «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа»... Разве нет в обеих литературах внутренней связи между этими событиями и этими драмами? Апологии идут и дальше, за эпоху Бюхнера. Толстой в «Войне и мире» решает «идею народную», обращаясь к той же переломной эпохе, что и Бюхнер в «Дантоне», только для Толстого романтический культ героя, гения воплощен прежде всего в фигуре Наполеона. И ведь начальной, исходной точкой толстовского замысла тоже была история неудавшегося декабрьского восстания! А его конечные выводы относительно истории демонстрируют в общем ту же логику мысли: Толстой отрицает «героев, одаренных необыкновенными, нечеловеческими способностями»; у него тоже появляется вариант детерминистического закона: «...только божество, ничем не вызванное, по одной своей воле может определить направление движения человечества»; и он тоже идет к снятию фатализма, называя главной задачей историка и писателя изображение связи между «деятельностью единичных людей, правящих народами», и «деятельностью всего народа». Сходство логики мысли, обусловленное логикой века, ведет иногда к поразительному сходству даже частных метафорических образов. Когда мы читаем в письме Толстого Герцену 1861 года: «...мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня», мы можем

вспомнить бюхнеровское «Отдельная личность — лишь пена на волне»; когда Толстой говорит о своих героях, что все они «были только лошадьми, мерно ступавшими по огромному колесу истории», мы можем вспомнить бюхнеровский образ, взятый в противоположном отношении: «Теперь я не такой глупец, чтобы преклоняться перед парадными рысаками истории». Только Толстой размышляет над этими проблемами вполне суверенно, эпично, бесстрастно; здесь говорит зрелый, убежденный реалист более позднего времени, человек, понявший закон истории именно как закон, предел человеческих возможностей — именно как предел. Бюхнер же, многими узами связанный с романтической эпохой, ощущает себя «раздавленным», он еще бунтует против предела. Но оба они идут к высшему мерилу и смыслу исторического процесса — к «идее народной».

\* \* \*

Одним из самых удивительных фактов духовной биографии Бюхнера является то, что он, в сущности, очень мало ощущал себя писателем по профессии, по призванию. Нигде в его письмах мы не найдем сколько-нибудь принципиальной аргументации его перехода к литературному ремеслу. Студент медицины и биологии, интересующийся политикой и философией, молодой человек, оставивший нам столь неоспоримые свидетельства своей литературной гениальности, не дал ни одного свидетельства своей внутренней решимости стать поэтом, ни разу не объяснил, почему он встал на этот путь, почему Аполлон потребовал его к священной жертве. Обо всех своих литературных начинаниях Бюхнер если и говорит в письмах, то мимоходом, будто не придавая им значения внутренней потребности души. А разве не поразителен тот факт, что ни одно из произведений Бюхнера не есть чистый плод художественной фантазии (в том числе и «Леонс и Лена», как мы увидим дальше)? Бюхнер переносит в свои сочинения целые пассажи из книг Тьера и Минье, из мемуаров Оберлина о пребывании Ленца в Вальдбахе, из судебных

протоколов и медицинских свидетельств по делу Войцека. Какое все-таки необычное начало литературного пути: писатель как будто с первых шагов принципиально отрекается от священных привилегий писательской гильдии — свободы творчества, права на вымысел, на полет фантазии — и добровольно связывает себя цепями, обрекает себя на скромную роль свидетеля, летописца, в лучшем случае — интерпретатора хроникального материала. Хроникер, а не Dichter <sup>1</sup>!

Конечно, здесь сказалась приверженность Бюхнера к истине, к реализму в противовес романтической гипертрофии фантазии. Этой последней Бюхнер полемически противопоставляет крайность следования документу. И все же это не объясняет целиком того странного обстоятельства, что Бюхнер действительно как будто не осознает своего писательского призвания.

Видимо, свое обращение к литературному труду Бюхнер воспринимал прежде всего как новый способ мировоззренческой ориентации в мире, как новую попытку разобраться в законах бытия после практической попытки революционного действия, окончившейся поражением. Для него интерпретация исторических документов — акт в первую очередь гносеологический, интеллектуальный. Все немногочисленные высказывания Бюхнера по вопросам эстетики отчетливо свидетельствуют о том, что в литературе его прежде всего интересовали вопросы не творчества, не самовыражения, а истины; не формы, а идеи.

В «Смерти Дантона» — драме, как мы убедились, насквозь продуманной, построенной с необычайной тщательностью, с редкой памятью в ведении мотивов, — разговор Дантона с Камиллом об искусстве в середине второго действия резко выделяется своей неподкрепленностью в сюжете, своей «неприкаянностью». Он буквально повисает в воздухе. Драматургически мотивированный переход к этой теме (разговором двух господ о театре в предшествующей сцене), пожалуй, только сильнее подчеркивает ее последующее «сиротство»: тема эта будет со-

---

<sup>1</sup> Поэт (нем.).

вершенно оставлена, исчезнет из авторского внутреннего зрения. Но в свою очередь она — хотя бы уже в силу чисто психологических законов восприятия — тем отчетливей запечатлевается в нашем сознании, приобретает особое, подымающееся над рамкой сюжета значение. Мы понимаем, что если драматург в необычайно строгое здание своей драмы ввел кричащее нарушение собственного композиционного принципа, значит, оно и должно кричать; во всяком случае, оно явно кричало в душе автора и во что бы то ни стало просилось наружу, даже ценой выпадения из рамок.

К тому же сама структура этого «лирического отступления» обнаруживает примечательную внутреннюю непоследовательность.

Страстный монолог Камилла весь направлен против неестественности, ходульности, *неправды* во всех видах искусства. Бюхнер верен себе — здесь он атакует идеализм в его святая святых. Но Камилл критикует не просто *ложное искусство* — он отрицает *искусство вообще, как ложь!* «А попробуй вытащить их из театра на улицу — фи, грубая проза! Нет, дурной копиист для них куда важнее господа бога. Где уж им заметить подлинную жизнь, которая каждую минуту рождается заново вокруг них и в них самих, как в горниле, как в реве прибоя! Они ходят в театр, читают стишки и романы, перенимают оттуда все ужимки, а люди, живые твари божьи для них — фи, какая пошлость!»

Противопоставление «дурной копиист — господь бог» здесь совершенно очевидно подразумевает противопоставление «искусство — реальная жизнь». Бюхнер, человек, вступающий на путь литературного творчества, именно этот путь считает этически несостоятельным!

Но даже если мы истолкуем этот монолог как свидетельство бюхнеровского стремления к художественному реализму, мы и тут споткнемся о даптоповскую ответную реплику. «А возьми художников — они обращаются с жизнью, как Давид: когда в сентябре из тюрем выпырывали на улицу тела убитых, он

хладнокровно делал с них эскизы и говорил: «Я хочу подстеречь последние конвульсии жизни в телах этих злодеев».

С точки зрения формального принципа чем это не максимальная правдивость, не «подлинная жизнь» — уж поистине «как в горнице, как в реве прибойя»! Но ведь Дантон *осуждает* Давида и в то же время хочет *поддержать ход мысли Камиллы!*

Перед нами запечатлено мгновение радикальнейшего поворота сознания самого Бюхнера. Проблема его явно мучит, но не в смысле «эстетического принципа», не в смысле «как писать?». Вопрос стоит иначе: *стоит ли писать?* Обезоруживающе трогательны эти колебания в вопросах эстетической логики. Развенчав устами Камиллы искусство вообще, Бюхнер устами Дантона отвергает уже только один определенный его принцип. Осудив в монологе Камиллы лживость искусства, Бюхнер в реплике Дантона осуждает Давида за стремление к предельной точности. Но все дело-то как раз в том, что Бюхнера волнует сейчас не художественная, а *человеческая* логика, искусство не как эстетическая, а как *этическая* позиция. И с этой точки зрения мысль его совершенно ясна и логична: главное — это «подлинная жизнь, подлинная жизнь — это «люди, живые твари божьи»; их нельзя приносить в жертву ни принципу «топорных суррогатов», ни бесчеловечной давидовской «точности».

Это еще не эстетическая программа — это программа *этическая*. Это та самая логика, которая заставляла Бюхнера от метафизических трагедий в душах революционных вождей постоянно спускаться к реальным трагедиям парижских улиц. Та самая логика, которая привела его от фигур исторических деятелей Дантона и Робеспьера, гениального поэта Ленца, романтической четы принцев — Леонса и Лены — к фигуре последнего его главного героя — затравленного, забитого, несчастного солдата-брадобрея Войцка.

Уже в письмах по поводу опубликованного «Дантона» и в повести «Ленц» Бюхнер более определенно выскажет убеждение в необходимости жизненной правды для искусства как *свое* эстетическое кредо; сейчас же, в момент возникновения «Дантона»,

он готов отвергнуть искусство, как еще один обман, еще один «сон золотой»; он считает, что он просто подтверждает примером французской революции свое горькое убеждение в «фатализме истории», просто осмысляет опыт, а не создает произведение искусства, которому суждено остаться в веках.

\* \* \*

Но мысль о возможностях искусства, конечно же, тревожит Бюхнера. Следующий сюжет, за который он берется,— это трагическая история Якоба Михаэля Райнгольда Ленца, немецкого поэта, драматурга и прозаика конца XVIII века. Однако и в повести «Ленц» легко обнаружить, что в первую очередь Бюхнера волнует не писательская, а *человеческая* судьба Ленца, не его взаимоотношения с искусством, а его взаимоотношения с мирозданием. Ведь Бюхнер выбирает именно момент духовного помрачения, последний осмысленный отрезок биографии Ленца, а не какой-либо вершинный момент его творчества.

Бюхнер не случайно обратился к судьбе Ленца. По складу своей натуры, по направлению своих писательских интересов Ленц, конечно, во многом родственен Бюхнеру. Бюхнер ощутил здесь сходство эмоциональных типов. Но еще важнее ощущение «товарищества по несчастью», потому что и в выборе момента биографии Ленца, и в том, как Бюхнер изображает здесь последнюю схватку человеческого «я» с миром, мобилизацию всех интеллектуальных и эмоциональных ресурсов души на борьбу с духовной смертью,— во всем этом звучит собственная потрясенность, собственная жалоба, собственный глубочайший внутренний разлад. После общего взгляда на историю, после трагического осознания неравенства сил в единоборстве с ней вполне естествен взгляд внутрь себя. Бюхнеровский Ленц — это Бюхнер, писавший «Дантона». И безошибочность выбора героя тем более очевидна, что Ленц не только был непосредственным предтечей романтизма — в его судьбе как бы пророчески запечатлелся и момент крушения романтических иллюзий. Так что здесь дается парадигма

всего романтического движения от эпохи Лэнца к эпохе Бюхнера. За судьбой Лэнца встает столько мировоззренческих и человеческих трагедий, происшедших на этом отрезке времени: безумие Гёльдерлина, религиозное помрачение Brentano, самоубийство Клейста,— все те печальные жребии, о которых Brentano сказал незадолго до своей смерти: «Мы питались одной фантазией, и она в отместку наполовину сожрала нас самих».

Нигде романтическое происхождение бюхнеровского антиромантизма не обнаруживается так прямо и полно, как в повести «Лэнц». Она вся построена на принципе апробации романтических идей, испытания их на прочность: в самую страшную минуту своей жизни, в предчувствии близящейся духовной смерти, человек пытается уцепиться по очереди за все романтико-идеалистические рецепты спасения — и ни в одном из них не находит для себя опоры.



Первый такой рецепт — природа, прикосновение к неодушевленным, но одушевляющим стихиям мироздания. Этим могучим мотивом открывается повесть, он проходит сквозь нее всю, вплоть до обрыва. Но как отличается восприятие природы в этой повести от традиционного романтического восприятия! То, что для всех романтиков было непреложной истиной,— убеждение в целительных силах природы — здесь оборачивается совсем иной стороной. Великая и могущественная природа существует сама по себе, по-царски безучастно взирая на страдания человека. Грозна она или безмятежно-благодатна — между ней и душой человека нет никаких связующих мистических нитей, от воображаемого предчувствия которых содрогались или восторгались романтики. Человек лишь бьется на пороге этого рая, но внутрь его не пускают. Если в душе его грозит разверзнуться ад, то природа не закроет эту пропасть. «Он стоял задыхаясь, подавшись вперед, против ветра, широко раскрыв глаза и рот, словно желая вобрать в себя эту стихию, он припадал к земле, прости-

рался и бился на ней, изнемогая от острого наслаждения, либо весь замирал, прислонясь головой ко мху, полузакрыв глаза, и все уплывало далеко-далеко, земля ускользала, становилась маленькой, словно мерцающая звезда, и пропадала в бушующем потоке, ясным пламенем протекавшем под ним. Но то были мгновения, они проходили — и он решительно поднимался, спокойный, с ясной головой, забыв фантазмагории, покоятив с ними».

В этом пассаже, стоящем в самом начале повести и впервые сталкивающим человека с природой, заключена формула этого соприкосновения: оно оказывается не соединением, а отталкиванием, человек тщетно пытается «вобрать в себя эту стихию», тщетно бьется на земле (а потом еще и тщетно будет биться в воде колодца, будто пробуя слиться хоть с водной стихией!). Но и спокойное созерцание тоже не обеспечивает контакта: тогда земля уплывает, ускользает... Природа всегда отсылает человека к самому себе, и благо ему, если у него «ясная голова», если у него есть возможность «покончить с фантазмагориями». У Ленца эта возможность уже на исходе. Им медленно овладевает безумие, он боится остаться наедине со своими мыслями, и эта боязнь одиночества вновь и вновь заставляет его подстегивать, стимулировать в себе романтическое чувство природы: «Самые простые и чистые натуры всего ближе к стихиям... есть, полагает он, бесконечная радость в прикосновении ко всем сущим формам жизни, в таинственной связи с камнями, металлами, растениями и водой, в этом свойстве души вбирать в себя природу...»

Как настойчиво звучит здесь мотив сближения, соединения, связи! И снова тот же образ — «вобрать в себя природу». Ленц жаждет именно этого *прикосновения*, прямого, физического контакта с природой. В какой-то момент ему кажется, что «природа точно приблизилась к человеку в некоей божественной мистрии, но не царственно-величаво, а доверительно-задушевно». Но такие моменты каждый раз оказываются опять идущими изнутри самого себя, фантазмагорией, оптической иллюзией — не

природа движется к человеку, а просто он сам тянется к ней и свое движение принимает за встречное движение природы. И тогда этот «кинетический» образ переосмысливается в отчаявшемся сознании уже не как «доверительно-задушевное приближение», а как угрожающий натиск извне; теперь уже «однообразные, мощные цветовые пятна и линии с грубым гулом несутся па него», теперь, он кричит: «Все так тесно, тесно! Понимаете, порой мне кажется, что небо давит меня, и я задыхаюсь!»

Но и это тоже фантазмагория. Природа не добра и не зла — она просто сама в себе и к человеку не имеет отношения. Бурные дискуссии с ней кончаются тем, что все возвращается на свои места: «Он уснул. Полный месяц стоял на небе; пряди разметались по его вискам и лицу, капли слез повисли на ресницах и высыхали на щеках — так он лежал, совсем один, и было тихо, спокойно, холодно, и месяц светил всю ночь и стоял над горами...» Как отчетливо здесь, несмотря на демонстративную перемешанность, отделены друг от друга человек и природа!

Бюхнеровские описания природы в ее соотносительности с человеком в «Ленце» — тема для специальных литературоведческих исследований. Отметим сейчас лишь основную доминанту бюхнеровского стиля и бюхнеровской интонации в этих описаниях: она — в постоянном контрастном чередовании текучих, музыкальных периодов (наследие романтической школы) с прерывистой, учащенной, смятенной ритмикой. Последняя возникает именно там, где человек насильственно пытается наложить на природу отпечаток своей души, ярмо своих притязаний, для нее неприемлемое. В самом стиле — образ единоборства, и все ведет к поражению и конечному одиночеству человека: «Неподвижно и безучастно сидел он в повозке, когда они выехали из долины на запад. Куда его везут, ему было не важно... В таком состоянии он проделал обратный путь через горы... Понемногу они удалялись от гор, синей хрустальной волной вздымавшихся на багровом закате... мрак сгущался, луна стояла высоко в небе, предметы таяли в темной дали... Ленц безмятежно смотрел по сторонам; ни предчувствий, ни бурь, только темная глухая тревога

нарастала в нем с паступлением темноты. Им пришлось остановиться на почв. Тут он снова пытался покопчить с собой, но за ним зорко следили».

Образ отдаляющейся природы и остающегося во мраке человека завершает собой эту линию в повести.

\* \* \*

Есть еще религия — одно из прибежищ романтической души. Ею кончали многие романтические поэты. Новалис писал духовные гимны, Шатобриан писал трактат о «гении христианства», Брентано проклял искусство после своего обращения в католичество. Процесс отрезвления от романтического пира, начавшийся в Европе с конца 20-х годов, по необходимости включал в себя и отрезвление от религиозного экстаза. Если бог совершенство, то как он мог допустить вопиющее несовершенство мира? — такой вопрос ставят теперь многие расстриги романтизма. Это — одна из главных проблем и мировоззрения Бюхнера. «Устраните несовершенство мира, и только тогда вы явите людям бога», — говорит Пейн в «Смерти Дантона». — Можно отрицать зло, но не страдания; только разум может доказать существование бога — чувство против этого восстает. Заметь себе, Анаксагор: почему я страдаю? — на этом вопросе зиждется атеизм».

Но атеизм, выражающийся в постоянном отрицании бога и теодицеи, еще не есть твердое рациональное убеждение в отсутствии высшего промысла. Чаще всего это чисто эмоциональная реакция разочарования, изливающаяся в горьких укоризнах творцу, а то и в отчаянном богохульстве, и тем самым все-таки предполагающая его существование. По этому поводу Мюссе написал в 1836 году в «Исповеди сына века»: «Когда какой-то атеист, вынуженный часами, предоставил богу пятнадцать минут на то, чтобы поразить его ударом грома, он, конечно, доставил себе этим пятнадцать минут гнева и мучительного наслаждения. Это был пароксизм отчаяния, вызов, брошенный всем силам небесным. Ничтожное и жалкое создание извивалось под наступившей на него

пятой. Это был громкий крик скорби. Но как знать, быть может, в глазах всевидящего это была молитва).

Бюхнеровская драма «Смерть Дантона», увиденная в этом аспекте,— точное подтверждение диагноза Мюссе. «Фуга смерти» в Консьержери, как и непрерывное богохульство Дантона,— это и есть картина людей, извивающихся «под наступившей на них пятой». Целая сцена драмы посвящена специально проблеме теодицеи («катехизис» Пейна). А в последнюю ночь перед казнью бюхнеровский Камилл в поисках утешения хватается за книгу глубоко религиозного английского поэта середины XVIII века Эдварда Юнга «Ночные думы» — книгу, явно читанную самим Бюхнером и навеявшую ему и идеи и музыку предсмертной литании дантовистов в Консьержери.

Подобно тому как реализм Бюхнера на этом этапе пытается энергией болезненного отталкивания от романтизма, так и атеизм его — атеизм с отчаяния, поневоле. «Ленц» ясно обнаруживает этимологию этого атеизма. Герой бюхнеровской повести начинает с веры; гонимый страхом безумия, он неспроста приходит именно к Оберлину, благочестивому пастырю маленькой горной общины,— он идет проторенной дорогой ранних романтиков, уповавших на патриархальную религиозность «простых и чистых натур». Сознание его все время цепляется за веру, но вера, как и природа, дает ему лишь краткие моменты забвения, «фантазмагории». Она *не исходит* на него, как и природа не приближается к нему, и тогда он пытается и вере сам идти навстречу: то вдруг решает прочесть проповедь пастве Оберлина, то, подобно Робеспьеру, воображает себя мессией и пытается воскресить умершую девочку. А кончается все тем, что он, подобно Дантону и тому атеисту, о котором говорил Мюссе, «бросает вызов всем силам небесным»: «Ему хотелось простереть в небо страшный кулак, ухватить там творца и стащить его вниз, сквозь облака, хотелось размолоть всю землю зубами и выплюнуть ее богу в лицо, он проклинал его, богохульствовал».

Так человек оказывается отторгнутым не только природой, но и верой; его оставила и любовь; побеждает как будто та самая пу-

стота, от которой так хотел убежать Ленц. Она водаряется в его меркнувшем сознании, и он ощущает ее давление уже *физически*: оп ее *слышит!* «Как, вы не слышите? Этот ужасный голос, которым кричит горизонт и который принято называть тишиной? С тех пор как я в этой тихой долине, я слышу его постоянно, он не даст мне спать».

Человек как будто пришел к концу, все романтические подпорки рухнули: «остальное — молчание». Последняя, страшная картина обратного пути Ленца через горы кончается оборванной фразой: «Так он жил...» Что остановило перо Бюхнера именно на этой фразе? Почему он отложил его именно здесь? Во всяком случае, такой обрыв придает фрагменту жуткую завершенность, если представить себе реальную судьбу Ленца, отныне живого мертвеца, и если вспомнить, что на подобной же точке — после крушения всех иллюзий — и таким же «живым» входил в первую бюхнеровскую драму Дантон.

\* \* \*

Но еще есть искусство.

Подвергая пересмотру всю романтическую систему цепностей, Бюхнер, естественно, не мог обойти искусство, ведь оно — одно из самых стойких упований романтизма, самое первое и главное, в сущности. Романтики принципиально отделяли себя от обыденного, прозаического мира филистеров прежде всего по признаку поэтической озаренности, гениальности. В «Смерти Дантона» Бюхнер именно потому отвергал искусство. Но уже там мы, отметив радикальность слов, в то же время обнаружили странную непоследовательность композиции. Одно то, что мотив этот чисто формально — композиционно — повис в воздухе, придало ему определенное качество недоговоренности, неокончателности.

Поразительно то, что та же модель движения мысли повторяется и в «Ленце»: «разговор о литературе» здесь богаче инструментован и аргументирован, но он опять возникает и пропадает в композиционной системе повести. Больше того — как и в «Смерти

Дантона», к этому разговору есть оформленный подступ, «предварительная заявка». Когда Ленц появляется у Оберлина и тот говорит, что читал его пьесы, Ленц решительно заявляет: «Да, но прошу вас, не судите по ним обо мне». Здесь совершенно очевидно продолжается ниспровергающая тенденция в отношении к искусству, сформулированная в «Смерти Дантона». В обоих случаях Бюхнер поначалу как будто настраивает себя «на разнос» — и вдруг начинает колебаться, вдруг оставляет для этой темы пустое пространство в последующем течении сюжета, — то есть, конечно же, оставляет себе время подумать!

Бюхнеровская нерешительность по отношению к искусству — это опять реакция сознания, привыкшего оперировать исключительно романтическими категориями. Идея искусства поначалу мыслится Бюхнером лишь в том виде, в каком ее внушили ему романтики: как конечная истина в себе, как высшее бытие, как своего рода религия. А он ведь теперь понял всю бессмысленность романтического идеализма — стало быть, надо отвергнуть и искусство. Это — разновидность его религиозного бунта, это опять — отчаянное ниспровержение солгавшего кумира. Но наряду с этим с самого начала — то есть, видимо, с того момента, как он сам взялся за перо, — у Бюхнера подспудно пробивается мысль, что искусство может ведь быть и другим: не религиозным культом, не жречеством, а служением людям; не парением над миром, а правдивым его изображением; не формой обмана, а формой познания истины. Потому-то и так настойчиво выдвигает Бюхнер этический критерий в оценке искусства. Он как бы тем самым хочет оправдать и свое обращение к творчеству, он упорное свое требование правды жизни в искусстве понимает именно как нравственную, а не художественную обязанность писателя.

Пассаж об искусстве в «Ленце» обнаруживает этот перелом в сознании Бюхнера: уже не отрицание искусства вообще, а попытка определения того, каким оно должно быть. Бюхнер впервые стремится здесь к историчности взгляда на искусство, и любопытно, как он определяет временные рамки анализируемого периода: «Идеалистический период в то время уже начинался, Ка-

уфман был приверженцем этого направления, Ленц горячо на него нападал». Эта фраза еще раз подтверждает доминанту всего бюхнеровского мировоззрения: для него главный противник — именно «идеализм», не в узкофилософском, гносеологическом смысле, а распространяемый на всякое искусство, так или иначе исходящее из понятия «идеала», будь то веймарский классицизм Шиллера и Гёте или романтизм, Аполлон Бельведерский или Мадонна Рафаэля. Для Бюхнера все это — «попытка приукрасить действительность». Бюхнер видит задачу поэта в другом: «Господь создал мир таким, каким ему надобно быть, и нам, пачкунам, не придумать ничего лучшего, все наше рвение должно состоять в том, чтобы хоть немного уловить его замысел». Заметим себе: хоть писатели по инерции все еще называются уничтожительно «пачкунами», но им уже ставится определенная цель — правдивое отражение жизни. В этом случае «сам собой отпадает вопрос — прекрасно это или безобразно. Ибо ощущение того, что сотворенная человеком вещь преисполнена жизни, выше этих двух оценок, оно — единственный признак искусства». Никогда до Бюхнера в немецкой литературе в таком предельно чистом виде не утверждалась правда жизни. Это первая в Германии последовательная программа художественного реализма, и она проста, как заповедь. Единственный бюхнеровский комментарий к ней — уже отмеченное нравственное намерение, и оно у Бюхнера столь же однозначно; в «Ленце» оно звучит так: «Художник должен пропикнуть в жизнь самых малых и сирых, передать се во всех намечках, проблесках, во всей топкости едва приметной мимики».

И если есть в этой печальной повести хоть какая-то светлая струя, хоть намек на возможное преодоление пустоты и одиночества, они связаны только с этой темой. Здесь впервые без всякого надрыва, в полном смысле этого слова *вдохновенно* излагается «позитивная» программа. И не просто искусство порождает здесь надежду, не расплывчатое требование изображать жизнь «как в горнице, как в реве прибоя» вдохновляет поэта, а долг и творческая потребность «пропикнуть в жизнь самых малых и сирых».

Осознав это, мы полностью прочувствуем и последнюю «здравую» фразу Ленца в повести, связанную уже с темой крушения веры, — его горестную жалобу на упущения бога: «Я бы, знаете, будь я всемогущим, о, я бы не потерпел страданий, я бы спасал, спасал...» Это, конечно, и последнее замирающее движение идеи мессианства, но это в то же время и посюсторонняя бюхнеровская формула человеческой и художнической нравственности. Принимая свое поражение в религиозной вере, Ленц все-таки находит в себе силы сохранить в неприкосновенности исходный нравственный закон этой своей рушащейся иллюзии.

И на этой точке Бюхнер, как будто отвергнувший все идеалы и все философии, Бюхнер, смеявшийся над моралистами, Бюхнер, только что в «Ленце» отрезавший человека от природы и неба, вдруг на мгновение снова соприкасается с тем благородным идеализмом души, который в свое время тоже скупно очертил человеку круг его опыта, но и тем самым сосредоточил его внимание и энергию на двух единственно достойных удивления вещах: на звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас.



Только поняв всю необычность бюхнеровского вхождения в литературу, всю принципиальную важность для него этого шага, мы сможем понять странный очередной плод его литературных занятий — комедию «Лсонс и Лена». Только осознав ее как комедию, в которой главным героем является само *искусство*, мы сможем увидеть глубокую внутреннюю логику в этом невероятном как будто скачке от предельных трагедий к легкомысленной, прихотливой вязи острот, каламбуров и фантастических песуразностей. Определим прежде всего всю степень резкости этого перехода. Мы уже убедились и в начальной суровой ригористичности бюхнеровского взгляда на искусство, и в его постоянном предпочтении жизни искусству, истинной форме, и в его постепенном примирении с искусством на почве и при условии последовательного реализма. Драма о Дантоне и повесть о Ленце доказали нам, что

для Бюхнера внимание к «людям, живым тварям божьим», к «самым малым и сырým» — не поза, а принципиальное жизненное кредо. И вдруг — «Леонс и Лена»! Фантастическая сказка, построенная на немудрящем эффе́кте инкогнито, неузнаваемости персонажей; нескончаемое и довольно утомительное острословие; романтическая выпренность и витиеватость любовных излияний; благополучная, идиллическая концовка — вся структура комедии даже самому «невооруженному» глазу выдает свою литературность, почти шаблонность. Где же здесь искусство, «преисполненное жизни», где здесь «грубая проза», где эти самые «люди, живые твари божьи»?

Это кричащее противоречие занимало умы всех критиков, обращавшихся к творчеству Бюхнера. В наиболее несчастливом положении оказывались те из них, кто воспринимал сюжет комедии совершенно всерьез, кто безоговорочно верил бюхнеровским героям на слово. Из такого направления критической мысли выривалась примерно следующая схема сюжета (с разной акцентировкой отдельных ее частей у разных критиков): принц Леонс изнывает от скуки при карликовом дворе своего отца, тщетно пытаясь найти утешение в сибаритском эпикуреизме; вместе с бесшабашным бродягой-весельчаком Валерио он бежит из родительского дворца, чтобы искать новую, осмысленную жизнь; эту подлинную жизнь он находит в любви к принцессе Лене; влюбленные соединяются, и в конце пьесы автор набрасывает светлую, «эллинистическую» утопию, в которой прежнему «ущербному» эпикуреизму Леонса противопоставляется эпикуреизм гуманистический, прославляются «подлинные реальные ценности».

Получалась комедия, в ином, мажорно-ироническом ключе варьирующая тему дантоновской жизненной скуки и дантоновского эпикуреизма. Тогда, в зависимости от того удельного веса, который критик придавал элементу иронии, комедия Бюхнера рассматривалась или как просто романтическая комедия, или как пародия на нее.

Положение осложнялось одной очень существенной чертой структуры этой комедии. Первые же ее критики обнаружили, что в

ней очень много сюжетных ситуаций, мотивов, образов и острот, попросту *заимствованных* Бюхнером у других авторов: у Мюссе, Брентано, Тика, Жан-Поля, Гофмана, Платена, Граббе, Иммермана, Шекспира. Совпадений обнаруживалось все больше и больше, к 50-м годам нашего века уже было подсчитано, что более половины текста комедии — «не свое», и один современный немецкий критик, автор интереснейшего исследования об этой комедии Юрген Шрёдер высказал парадоксальное, но, в сущности, очень логичное предположение: «Чисто теоретически нас несколько бы не удивило, если бы в один прекрасный день для каждой фразы этой комедии обнаружился тот или иной литературный источник».

Странный характер комедии этим обстоятельством усугубляется до предела. Уж не плагиат ли перед нами? Одно время немецкие исследователи Бюхнера истолковывали эти заимствования традиционно — писатель использует и перерабатывает то, что его впечатлило у предшественников, — и, бессознательно отводя от Бюхнера упрек в чрезмерности заимствований, в каждом конкретном случае старались доказать, что Бюхнер наполнил заимствованный мотив новым, более глубоким, во всяком случае, «своим» содержанием. Но таких «случаев» становилось все больше, доказывать оригинальность и гениальность нового осмысления становилось все труднее, и все более очевидной оказывалась необходимость осознать эти заимствования как какой-то особый авторский расчет, как рождение совершенно нового принципа творчества, как принципиальную, даже самую существенную черту внутренней структуры комедии; не гнаться за тайным смыслом каждого заимствования, а именно воспринять их всей массой как структурный принцип, как *метод*.

\* \* \*

Бюхнер с самого начала дал своим будущим интерпретаторам ключ, отмычку к замыслу и смыслу комедии. Но столь необычным для того времени, столь дерзким был этот замысел, что ни-

кому и в голову не приходило воспользоваться ключом по его прямому назначению.

История бюхнеровской комедии восходит еще к 1801 году. В том году немецким издательством Котта был объявлен конкурс на лучшую комедию. В связи с этим конкурсом Гёте высказал тогда убеждение, что «чистая комедия должна быть свободна от всякого нравственного намерения», что в ней «должна царить абсолютная моральная безучастность в обработке материала». Клеменс Brentano, один из молодых апостолов романтизма, переживавшего тогда свою самую многообещающую и восторженную пору, послал на конкурс комедию «Понс де Леон». Комедия действительно была «свободна от всякого нравственного намерения», это была легкая, шаловливая пьеса с переодеваниями, недоразумениями, размолвками и примирениями. Герой ее развеивал скуку любовными авантюрами, пока не нашел подлинную любовь и вместе с ней — смысл и наполненность жизни.

В 1836 году издательство Котта впервые после 1801 года объявило аналогичный конкурс. И Бюхнер послал на этот конкурс комедию, которая вызывала ассоциации с комедией Brentano не только своим заголовком, но и всем своим строем, — к тому же комедию, вообще более чем наполовину живущую чужими образами, мотивами, ситуациями!

Совершенно невозможно предположить, что Бюхнер рассчитывал на то, что эти заимствования пройдут незамеченными для тогдашней публики, для которой используемые Бюхнером источники были еще живой библиотекой для чтения, повседневной интеллектуальной атмосферой. Гораздо логичней предположить, что Бюхнер именно на эту осведомленность и рассчитывал, е-то и имел в виду, предлагая публике это странное попури из ходовых мотивов, и, во избежание возможных недоразумений, идею «неоригинальности» подчеркнул уже в созвучии заголовков. Он явно ставил свою комедию в определенный временной и тематический контекст, соединяя ее через комедию Brentano с эпохой первых триумфов романтизма на рубеже веков, через комедию Мюссе (это второй наиболее важный идейно-тематический резер-

вуар бюхнеровской пьесы) — с современным этапом всего европейского романтизма. Комедия «Леонс и Лена», оказывается, с самого начала была настроена на строго определенную психологию восприятия: тогдашний читатель или зритель, появившись эта комедия в печати или на сцене, оказался бы погруженным в хорошо знакомый ему мир, в мир идей и выражений, носившихся в воздухе, связанных именно с повсеместно распространенным романтическим мироощущением.

Это намерение автора отчетливо обнаруживается, если посмотреть на комедию и с другой стороны — с точки зрения ее реального сюжетного содержания. Сам по себе ее сюжет не просто банален, но будто даже и подчеркнута банален. Во всяком случае, автор весьма небрежно обращается с композицией пьесы: герои в ней входят и выходят без всякого видимого плана, новые персонажи появляются неведомо откуда или как-то уж очень немотивированно. Пьеса как будто не рассчитывала воздействовать собственным содержанием, ее коронный эффект явно заключался в том, чтобы непрерывно вызывать ассоциации *одним текстом*, ежеминутно отсылать читателя или зрителя в определенный мир представлений и идей — в мир романтического стиля и вкуса. Тогда вопрос должен стоять так: на какие именно стороны идейного багажа романтизма обращает автор внимание публики, какой образ этого мира в целом он хочет создать в ее сознании? И тогда себестоимость каждого отдельного заимствования уже утрачивает принципиальное значение; во всяком случае, для понимания общего смысла пьесы их достаточно воспринять всей массой; они все — реплики в устах одного, и главного, героя, имя которому Романтическое Мировоззрение, Романтическая Идеология, Романтический Стиль.

\* \* \*

Освободившись от фантома «заимствований», от обязанности каждый раз восстанавливать единичные двусторонние связи между Бюхнером и другими авторами, мы снова увидим эту стран-

ную комедию «целиком», но уже на более высокой ступени синтеза, чем те первые критики, которые, вычленив заимствования, все остальное воспринимали как традиционную драматургическую структуру и судили ее то по законам жанра романтической комедии, то по законам пародийных жанров.

Она — не то и не другое; она — монолог романтического мировоззрения, как бы автоматически выбалтывающего свои заветные мысли и тем беспощадней себя разоблачающего. Собственно бюхнеровские образы и мысли работают в том же направлении, на той же волне. Роль автора здесь — в отборе и аранжировке, акцентировке. Перед нами нечто вроде грандиозного «капустника» на романтические темы.

Потому и возможно назвать эту комедию тоже в своем роде «документальной». Ее документальная основа, объективная реальность, ею отражаемая, — вся романтическая литература и идеология.

\* \* \*

«О, статья бы мне шутом! Тщеславью моему так мил колпак дурацкий!» — этим эпитафием из Шекспира, этой лаконичной, из одного мотива состоящей увертюрой открывается первое действие всей этой оперы-буфф.

Сразу за ней — соло: монолог Леонса, обращенный к гофмейстеру. Принц скучает, принц изнемогает от безделья. Он изощряется в вариациях «ничегонеделания», он сыплет парадоксами: «Увы, я страшно занят... ужасно много всяких дел в том же роде... Чего только люди не вытворяют со скуки! Со скуки учатся, со скуки молятся, со скуки влюбляются, женятся, плодятся и размножаются и со скуки, наконец, умирают... Все эти герои, эти гении, дураки, святые, грешники, отцы семейств — просто рафинированные бездельники».

Уже здесь перед нами — целый пласт романтической идеологии, взятой при этом в процессе ее постепенной и многозначительной трансформации.

Одним из победных лозунгов романтизма в момент его рождения было ниспровержение всякой «утилитарности», удручающего принципа пользы, целенаправленной практической деятельности; взамен провозглашалось «прекрасное ничегонеделание», блаженная праздность как единственное условие для беспрепятственного и всестороннего развития духовных возможностей человека. Фридрих Шлегель, теоретик и глава романтической школы, в своем единственном беллетристическом произведении — повести «Люцинда» — отвел апологии праздности одно из главных мест; более удачный памятник романтической праздности поставил Эйхендорф в «Истории одного шалопака». Но эпоха Реставрации, развеяв другие иллюзии, связанные с романтическим культом гения, всемогущего героя, придала вдруг комплексу праздности шлоу, трагический смысл — «dolce far niente»<sup>1</sup> обернулось устрашающей скукой, ощущением бездорожья, абсолютного неверия и пустоты. Герой оказался не у дел, лишним человеком, все его обмануло, и страсти и люди представились ему такими ничтожными, и он в поисках эрзаца активности, желая хоть чем-то заполнить вакуум в душе, ринулся в рискованные авантюры, преимущественно духовного и эмоционального характера; после романтического пира отцов пришло горькое похмелье последышей. Мюссе был одним из наиболее ярких писателей, запечатлевших этот момент отрезвления романтического сознания.

Но если большинство поздних романтических героев, жаловавшихся на скуку, винили век и тайне жалели себя, все равно считая себя героями, хоть и поверженными, то Бюхнер безжалостно срывает с праздности все ее идиллические, со скуки — все романтические одежды и обнаруженную за ними обыкновенную духовную пустоту — именно пустоту, а не опустошенность — рассматривает как роковой начальный изъян всего романтического сознания. В сцене с Розеттой Леонс, от скуки играющий любовью девушки, которую он не любит, являет собой, конечно, тот же тип романтического героя, который еще на рубеже веков был

---

<sup>1</sup> Прекрасное ничегонеделание (итал.).

подмечен Тиком в «Вильяме Ловелле» и Жан-Полем в «Титане» и который потом по-разному варьировался и в лермонтовском Печорине и в героях Мюссе — Пердикане, Октаве. Не случайно именно эта сцена, наиболее открыто демонстрирующая авторское осуждение Леонса, вобрала в себя как в фокусе особенно много «сторонних» мотивов: историю Валерии из комедии Брентано, ассоциации с Ловеллем Тика и Рокеролем Жан-Поля, с Годви Брентано и произведениями Мюссе (история Камарго в «Лаштанах из огня», Розетты в трагикомедии «С любовью не шутят»). Только Бюхнер гораздо более бескомпромиссен в нравственной оценке своего героя: он не ищет никаких смягчающих обстоятельств для изысканной жестокости Леонса по отношению к Розетте. В «Смерти Дантона» мотив скуки, связанный с образом главного героя, еще происходил от ощущения *вынужденного* бессилия, тщетности всех попыток действия перед лицом «железного закона». У нового бюхнеровского героя, Леонса, скука происходит от *органического* бессилия духа; это отчетливей всего проявляется именно в тот момент, когда Леонсу вдруг представляется возможность наполнить свою жизнь смыслом, когда судьба посылает ему будто бы настоящую любовь, — такого внезапного наполнения его натура не может выдержать, и он в момент наивысшего эмоционального взлета находит, что теперь самое время... умереть: «Большого достичь невозможно. Он и любви испугался — сразу в реку!

При внимательном рассмотрении все аналогии со «Смертью Дантона» в «Леонсе и Лене» оказываются именно таким снижением, сведением к интеллектуальному и эмоциональному мизеру, вертикальным прочерком от небес к земле, как в сцене любовного экстаза Леонса, «лейтенантской романтикой», как хлестко резюмирует Валерио этот эпизод. Леонсова фраза о «рафинированных бездельниках» низводит в сферу праздного острословия истерическое богохульство Дантона («Есть только эпикурейцы — одни поглубже, другие поумнее, и самый умный из них был Христос»). Дантон в отчаянии говорит Жюли: «Я люблю тебя, как любят могилу», — Леонс лениво позирует перед Розеттой: «Я по-

гружаюсь в праздность, потому что люблю тебя. Но мою праздность я люблю, как тебя». Робеспьер мучится сознанием того, что «в каждом из нас распинают сына человеческого», — а в «Леонсе и Лене» это лепечет романтическая принцесса, сбежавшая от родительской воли в надежде найти странствующего принца: «Боже мой, боже мой, неужели все мы осуждены страдать во искупление? Неужели правда, что мир — распятый спаситель, солнце — его терновый венец, а звезды — острия, пронзившие его плоть?» Можно привести и больше таких аналогий — все они совершенно очевидно низводят комплекс вселенской романтической скорби к более скромным масштабам — в сферу стилизованной, эфемерной игры пресыщенных, ненатуральных, эфемерных героев. Вся линия Леонса, открывающаяся эпиграфом-возгласом «О, стать бы мне шутом!», призвана продемонстрировать этот холостой ход возвышенного романтического стиля — именно стиля, а не идеи даже, потому что идея давно уже здесь выхолощена, сведена до чисто словесной оболочки-шелухи. Игра слов, которую Брентано еще воспринимал как органическое проявление «озорного задора» героев, здесь превращается в кулису, скрывающую абсолютную духовную и идейную пустоту: «О, я себя знаю — я знаю, что подумаю через полчаса, через неделю, через год», — сознается Леонс. «Я сам совершенно не знаю, что говорю, и даже не знаю, что я этого не знаю, так что весьма вероятно, что все это говорится само собой благодаря валикам и роликам», — острит Валерио. «Приятель, ты просто дурной каламбур. У тебя не было ни отца, ни матери, ты произошел на свет от совокупления ассонансов», — честит Леонс Валерио. «А вы, принц, вы — книга без букв, в которой одни многоточия», — отпечатывает Валерио ему в ответ. «Где же выход из положения? Для меня — только в находчивости», — говорит Валерио. А вот для короля Петера и этот выход уже закрыт — он безнадежно путается в голой последовательности слов и все никак не может решить, логично или нелогично он несет ахинею.

Но это — еще только слова, чисто языковое выражение вакуума и холостого хода. Бюхнер сознательно применяет здесь методику,

которой бессознательно пользовались романтические поэты, пришедшие позже, и об опасности которой говорил в 1828 году не кто иной, как один из отцов романтизма — Людвиг Тик: «Если какая-либо школа господствует в течение длительного времени, то власть обретают и ее голые фразы и штампы. На этом пути поэзия, вместо того чтобы быть глубокомысленной, всеобъемлющей и обстоятельной, рискует выродиться в логогрифы, шарады и загадки». Бюхнеровские заимствования — это и есть голые фразы и штампы романтического стиля.

Еще беспощадней обнаруживается этот холостой ход стиля в поступках бюхнеровских героев. Сам Леонс — это человек, натужно пытающийся поддержать жизненный тонус чисто внешним ритуалом романтического поведения. Вся сцена с Розеттой построена на этом стремлении подстегнуть себя, стимулировать атрофировавшиеся чувства: «Все ставни опущены? Зажгите свечи! Прочь этот день! Я жажду ночи, глубокой благоуханной ночи! Расставьте среди олеандров лампы с хрустальными колпаками... Придвиньте розы, чтобы вино, как роса, окропило их лепестки. Музыка! Где скрипки? Где Розетта?» Тут налицо весь антураж романтического любовного переживания, нет только самого переживания. Но оно сомнительно и там, где оно как будто нисходит на Леонса, — в сцене любовного дуэта с Леной. Станным образом любовь упорно является Леонсу в образе смерти: «Ты так прекрасна и так трогательно возлежишь на черном саване ночи, что природа возненавидела жизнь и полюбила смерть». И Лена охотно вторит зауспокойным мелодиям Леонса: «Смерть — самый блаженный сон... Как безмятежен мертвый ангел на своем темном ложе, а вокруг, словно свечи, сияют звезды». Какое уж тут исцеление в любви, усмотренное в этой сцене многими критиками! Здесь призрак чувства одевается в новый готовый наряд из романтического гардероба. Леонсова трагикомическая попытка самоубийства в эту минуту есть выражение панического страха перед тем, что красивый карточный домик сейчас рухнет. И Леонс с убийственной откровенностью обнажает истинную цену своего порыва, когда отчитывает Валерио за то, что тот его удер-

жал: «Дурак!.. Несчастный, ты лишил меня прекраснейшего самоубийства! Никогда в жизни мне не представится другой столь удачный момент». Это была тоже стилизация!

Еще один наряд романтизма — Италия, обетованная страна искусств и страсти, представлявшаяся Меккой и Аркадией всем романтическим и предромантическим гениям. Бюхнер не забывает и ее: перебрав и отвергнув все возможные виды осмысленного времяпрепровождения, Леонс вдруг вскакивает осененный: «Валерио, Валерио, я придумал! Ты чувствуешь ветер с юга? Ты слышишь, как колеблется синий раскаленный эфир, ты видишь, какой свет излучает солнечная земля, соленое море, белоснежные колонны и торсы? Великий Пан спит, мраморные статуи грезят в тени под журчанье струй о старом волшебнике Вергилии, о тараптеллах и тамбуринах, о томных безумных ночах, полных масок, факелов и гитар. Лаццарони! Валерио, лаццарони! Мы отправляемся в Италию!» Отметим здесь, что помимо очевидной штампованности этих фраз сама смысловая и ритмическая структура всех приведенных выше цитат внушает именно образ перебираемого реквизита, антуража: их основной композиционный элемент — перечисление, лихорадочное перетряхивание образов. А гувернантка Лены с ее сетованиями: «Мы никого не встретили в пути. Где монастырь? Где отшельник? Где одинокий пастьух? Ах, мир ужасен. О странствующем принце нечего и думать».

Да, мир для них ужасен. Да, о странствующем принце нечего и думать. И они, каждый на свой лад, говорят, говорят, говорят, повторяют читанные ими фразы, натушно пытаюсь создать хоть из слов эфемерный мир и в нем немного еще продержаться.

\* \* \*

На сетования своей гувернантки Лена отвечает робким предположением: «Кажется, мы совсем иначе воображали себе мир, когда читали книги за оградой нашего сада, среди олеандров и мирт».

Лена совершенно права. Тот роковой изъян, который так неумолимо последовательно обнажает Бюхнер в душе своего «коллективного» героя — Романтического Мировоззрения, коренится в его абсолютной незаземленности, в полном отсутствии нитей, связующих его с реальной жизнью. Оно, это мировоззрение, для Бюхнера — вакуум под стеклянным колпаком, и не дай бог героям дотронуться до этого колпака неосторожным движением! «Я едва осмеливаюсь протянуть руки, — говорит Леонс в редкую минуту озарения, — словно в тесной зеркальной комнате, где страшно задеть и разбить вдребезги прекрасные образы и остаться одному среди холодных голых стен». Не просто хрупкое стекло — еще и зеркало, стекло злорадное, обрекающее человека на вечное лицезрение только самого себя, возвращающее человеку только собственный образ! Но это еще и мир, представленный «по книгам», возникший не сам по себе из ничего, мир *внушенный*. С этой книжностью, литературностью мировоззрения Бюхнер воюет его же собственным оружием — он бьет его цитатами! Опытозательные знаки этого мира для Бюхнера — идеал, энтузиазм, герой, гений. Всякая попытка воспарить над землей в сферу идеалистической абстракции беспощадно преследуется драматургом. Он в «Смерти Дантона» заставил Сен-Жюста для подтверждения своей фанатической последовательности в выполнении «железного закона» употребить именно гегелевский термин «абсолютная идея» (Weltgeist). Он отвергал Шиллера, и в монологе Камилла о лживости искусства можно усмотреть и намеки на шиллеровские драмы. Весь первый монолог Леонса об Италии звучит как иронический парафраз гётевского «Ты знаешь край? Лимоны там цветут». Понятие идеала, энтузиазма выступает у Бюхнера исключительно в ироническом осмыслении. «Взглянуть на собственную голову» — один из идеалов Леонса (и ведь для этого обязательно надо подняться ввысь, воспарить над собой!) «Давай расчленять муравьев, считать тычишки! Я сделаю это своей королевской причудой!.. У меня еще остался перастраченный запас энтузиазма!» — кричит Леонс. Примеры можно найти буквально на каждой странице. И как венец всей этой выдуманности, искусственно-

сти, сериозности Бюхнер ставит в последнем акте комедии убийственный монолог Валерио, представляющего публике заглавных героев комедии — Леонса и Лену — следующим образом: «Дамы и господа, вы видите перед собой двух особ противоположного пола, самца и самку, даму и господина! Здесь нет ничего, кроме искусства и механики, ничего, кроме картонной упаковки и часовых пружин!.. Эти существа сделаны столь совершенно, что их совершенно не отличишь от других людей. Если не знать, что они простые картонки, их, собственно говоря, можно было бы сделать членами человеческого общества. Они очень благородны, ибо говорят литературно... Обратите внимание, дамы и господа, они находятся теперь в интересной стадии своего развития: начинает действовать механизм любви. Он уже несколько раз носил за ней шаль, а она несколько раз закатывала глаза и глядела в небо. Оба уже много раз шептали: вера, надежда, любовь!»

Можно ли после этого уничтожающего итога всерьез говорить о том, что Бюхнер изобразил здесь благотворную силу любви, или как-то выделять Лену из сатирической, разоблачительной линии комедии? И в Леонсе и в Лене нет «ничего, кроме искусства и механики», они просто автоматы, «говорящие литературно» (а в помеськом выражении «Hochdeutsch» есть еще и смысловой оттенок «высокого штиля!»), и их любовь — это тоже действие «валиков и роликов». Бюхнер знаменитальным образом переосмысляет здесь гофмановский мотив автомата. То, что у Гофмана было романтической пародией на «механизацию» человека в филистерском бюргерском обществе, у Бюхнера выступает как логическое следствие идеологии романтизма и идеализма. Изобразить романтический полет духа и фантазии в образе автомата, штампа, шаблона — это значит не просто разоблачить его, но и последовательно довести до абсурда.

\* \* \*

В комедии Бюхнера есть и еще один глубинный пласт, придающий ее антиидеализму и антиромантизму отчетливую социально-этическую окраску.

Бюхнер и тут с самого начала дал ключ. Вернее, он — вполне в духе этой комедии, тоже построенной по принципу «ничего, кроме искусства и механики», — загадал своим будущим интерпретаторам загадку в эпиграфе к ней. Эпиграф этот якобы передает лаконичный диалог двух итальянских драматургов XVIII века. Альфьери, автор героических трагедий в стиле классицизма, спрашивает: «А слава?» Гоцци, комедиограф, отвечает: «А голод?» Поскольку обе реплики приведены по-итальянски, а слова «слава» и «голод» там созвучны, то получается игра слов, так что эпиграф предваряет и чисто внешнюю форму бюхнеровской комедии. Столкнувшись и здесь с цитатой, с «заимствованием», критики долго разыскивали эти слова и у Альфьери и у Гоцци, пока не убедились, что Бюхнер, в тексте пьесы сыпавший цитатами без ссылок на авторов, здесь сослался на авторов без использования их текста, — попросту придумал текст сам.

Да и самый выбор авторов здесь довольно случаен: если Альфьери еще можно соотнести с идеалистическим мировоззрением (а «слава» здесь, конечно, символически представляет все то же отрицаемое Бюхнером «идеальное» мышление), то имя Гоцци трудно согласуется с тем комплексом идей, который должно вызывать в сознании читателя слово «голод»; слово это, несомненно, символизирует реальную жизнь, ту «грубую прозу», за пренебрежение к которой Камилл упрекал идеальных поэтов. Бюхнеру явно важно было само это резкое противопоставление, лобовая резкость вопроса, поставленного романтическому мечтателю: а голод? Как мы уже видели, Бюхнер с самого начала исподволь, но последовательно сводит романтическую скуку и праздность к их этической и социальной себестоимости. Праздность здесь — не безмятежная отдаленность возвышенной души от мирских сует, и скука — не просто разочарование в жизни. Они постоянно «пробуются на вес» и истолковываются как элементарное безделье, как *не-труд*, как позиция в полном смысле этого слова паразитическая. Нужно расслышать эту оценку сквозь бурлескную, карнавальную музыку пьесы, потому что это явно один из мотивов, ведомых Бюхнером с присущей ему тщательностью.

Вот в первой же сцене Валерио и Леонс обнаруживают общую «идейную платформу», избирательное сродство душ. На вопрос Леонса о его профессии Валерио «с достоинством» отвечает: «У меня редкий дар — бить баклуши, я ленюсь без устали. Ни одна мозоль не оскверняет моих рук, земля не выпила ни капли моего пота, я совершенно целомудрен во всем, что касается труда». Леонс простирает к нему объятия: «Приди на грудь мою! Ты — один из тех, кто достоин благодати, кто легко и беззаботно идет по жизненной стезе...»

В следующей сцене появляется король Петер — фигура явно сатирическая, идущая, бесспорно, от гофмановских карликовых князей. Этот запутавшийся в словах владыка, непрерывно сбиваемый с толку необходимостью мыслить, судорожно соображает, для чего же он завязал узел на носовом платке, и сначала вспоминает, что он хотел о чем-то вспомнить, а потом вспоминает, что он хотел вспомнить «о своем народе»...

Следующая сцена — уже знакомая нам сцена с Розеттой. Играя Розеттой как куклой, Леонс изощряется в стилизации не только под романтизм, но и под эпоху позднеримского декаданса, и, оставшись один, роняет многозначительную фразу: «Господа, господа, известно ли вам, кто были Калигула и Нерон?.. А вот мне известно».

Как упорно идут здесь навстречу друг другу, переплетаются между собой оценка чисто нравственная и оценка социальная! Бюхнеровские герои при всей их пустоте и комичности, при всей их внешне безобидной никчемности время от времени — часто на одно лишь мгновение — вдруг приоткрывают нам какие-то потаенные и страшные потенции своих натур, и мы проникаемся жутким предчувствием-убеждением: да, они не польют этой земли ни единой каплей своего пота; да, они не вспомнят о своем народе; и им, наверное, действительно хорошо известно, кто были Калигула и Нерон.

Потом широкой полосой пойдет механическое остроловие дуэтов Леонса и Валерио, механическая музыкальность любовного дуэта Леонса и Лены, но в третьем акте комедии мы вспомним об этой

линии зачина, об этом настрое, когда учитель будет дрессировать «чисто одетых на собственных счет» крестьян, выстроенных перед замком для встречи молодых: «Изобразите на лицах почтительные чувства, не то будут приняты чувствительные меры. Вы только поймите, что для вас сделали: выстроили перед кухней, так что раз в жизни вы можете услышать запах жаркого». Мы оценим тончайший контраст следующей сцены, в которой действие переносится в залу замка, к «нарядным дамам и господам, тщательно сгруппированным», и начинается отчаянным монологом церемониймейстера: «Какой ужас! Все насмарку! Жаркое подгорает» — и т. д. И мы оценим по достоинству заключительную идиллию пьесы: вновь предается «итальянским» мечтаньям Леоп — «чтобы зимы не было вовсе, а летом стояла бы жара, как на Искье и Капри, и целый год будем проводить среди роз и фиалок, среди апельсиновых деревьев и лавров»; и вновь с беспыльностью откровенности Валерио формулирует экономический базис этой идиллии: «А я стану министром и издам декрет, что каждый, у кого на руках мозоли, обязан находиться под опекой; что тот, кто работает до упаду, является уголовным преступником; что всякий, кто похвалается тем, что в поте лица своего ест хлеб свой, объявляется безумным и социально опасным; и потом, все мы будем лежать в холодке и молить бога ниспослать нам макароны, арбузы и фиги, а также музыкальные глотки, классические телеса и комфортабельную религию».

Ничто не изменилось. Все та же мечта о молочных реках и сельских берегах, о музыкальных глотках и комфортабельной религии, все тот же макаронно-экзотический рай.

А голод?

\* \* \*

Так завершается круг и в этой комедии: уже не искусство и литературу вообще, а именно романтическое искусство и романтическую литературу отвергает теперь Бюхнер за пренебрежение самым главным вопросом: а голод? Так эта необычная комедия

органически входит в систему бюхнеровского мировоззрения, не только восстанавливая обратную нить к «Дантону» и «Ленцу», но и прямо подводя нас к последнему замыслу писателя — черновым наброскам драмы «Войцек», старательно и уважительно собранным исследователями после смерти Бюхнера и ныне существующим как единственное в своем роде в мировой литературе сочетание очевидной фрагментарности формы и поразительной завершенности мысли, чувства, содержания.

По обилию критических истолкований «Войцек», пожалуй, уже обогнал все другие произведения Бюхнера. Но начальная причина тому, думается, чисто внешняя — сама фрагментарность этой драмы; она обусловила в двух отношениях необычайную притягательность «Войцека» для исследователей.

Неразработанность многих мотивов, резкие провалы между отдельными сценами, их перемешанность в бюхнеровских черновиках, неясность самой концовки — все это совершенно естественно разжигало профессиональный критический интерес, желание докопаться до самых мельчайших движений бюхнеровского замысла.

Но на рубеже XIX—XX веков эта фрагментарность вдруг обрела и самостоятельный эстетический смысл, она была воспринята как гениальное предчувствие очень современных форм мировоззрения и искусства. В самом деле — какой созвучной оказалась эта драма в ее существующем ныне виде более поздним художественным направлениям! Натурализм был привлечен ее тематикой, символизм — ее недоговоренностью и вытекающей отсюда многозначностью мотивов, экспрессионизм — ее разорванностью, ее движением по самым вершинным точкам эмоционального потока.

Популярности «Войцека» в XX веке немало способствовала опера Альбана Берга на этот сюжет, впервые поставленная в 1925 году. С безошибочным чутьем Берг выбрал именно эту драму для воплощения экспрессионистских принципов в музыке — фрагментарности, резкой диссонантности, программной «немузыкальности». Но в то же время он существенно «искривил» литературу-

ную и театральную судьбу «Войцек». Уже благодаря самой обобщающей специфике музыкального языка Берг выделил и усилил в драме мотивы фаталистического отчаяния и «заслопил» от восприятия, оттеснил на второй план глубоко социальную ее основу. С тех пор в западном театре «Войцек» преимущественно интерпретируется как «экзистенциальная» трагедия человека вообще, а не социальная трагедия бесправного плебея.

Между тем в общем контексте бюхнеровского творчества эта драма поражает вовсе не своей философской глубиной, не своей «многозначительностью», а скорее, именно отсутствием всякого «глубокомыслия», чистым и отчетливым ведением сквозной мысли. Можно, конечно, строить увлекательные гипотезы относительно символики образов в этой драме, функциональных особенностей языка и стиля, философских и религиозных воззрений Бюхнера в период работы над «Войцеком». Но это все будут, как ни парадоксально это может прозвучать, проблемы частные. Главное значение «Войцек» в процессе развития Бюхнера-писателя заключается в том, что «Войцек» всю мучительную сложность этого развития, всю многосторонность этого процесса впервые сводит к предельно простому итогу, к начальным, элементарным истинам. В эту простоту трудно поверить, но именно она снова и снова поражает и впечатляет читателя этой драмы даже после знакомства с очередным интересным исследованием какой-либо частной ее стороны.

То, что настойчиво предлагал Бюхнер в своих предшествующих произведениях, когда воевал со всеми идеализирующими системами,— внимание к «самым малым и сирым» — здесь впервые стало главной задачей писателя. Тот нравственный закон, который до сих пор утверждался главным образом от противного — отрицанием героического культа в истории, беспочвенной мечтательности «сытых» в литературе, — теперь становится стержнем, основой сюжета. Бюхнеровский демократизм, «мнение народное» впервые одерживают здесь безоговорочную художественную победу.



Всем сюжетом драмы Бюхнер фактически оправдывает убийство, причем убийство, *юридически* почти не подлежащее оправданию. Перед лицом закона речь в лучшем случае может идти о «смягчающих обстоятельствах». Принципиальная полемичность бюхнеровского замысла обнаруживается именно в сопоставлении драмы с реальной историей цирюльника Иоганна Христиана Войцера, казненного в Лейпциге в 1824 году за убийство своей любовницы из ревности. После казни на долгие годы затянулся спор между видными юристами и медиками о справедливости этого наказания; камнем преткновения в споре был вопрос о том, был ли Войцек психически здоровым, вменяемым человеком. Бюхнер сохраняет в поведении своего Войцера те черты, которые давали ученым медикам основание объявить его случаем патологическим: Войцек, безусловно, натура крайне неустойчивая. Но с каким поразительным постоянством Бюхнер связывает все эти проявления «психической неполноценности» с *социальными* условиями бытия Войцера! Войцеровские «видения» — это прежде всего следствие его бесплодных попыток разобраться в законах жестокого мира, найти объяснение своему безотчетному страху перед ним. Это не психическое заболевание — это просто состояние крайней первой взвинченности, вызванное затравленностью Войцера в мире подлинно ненормальных человеческих отношений.

Вокруг проблемы «нормы», соотношения индивидуальной и общественной морали вращается вся идейная проблематика бюхнеровской драмы. И Войцек в этой структуре оказывается, в сущности, единственным человеком с последовательным и органическим представлением о морали. В этом враждебном мире, где все построено на фальши, он с безошибочным инстинктом глубоко нравственного человека находит для своего поведения единственно возможную исходную точку — свою природу, свое «естество» (вот где, наконец, дантовская проповедь естественного права нашла реальное основание и оправдание!). С какой обе-

зоруживающей логичностью Войцек противопоставляет этот свой нравственный принцип лживому морализированию господ! Когда капитан упрекает его за «незаконную связь» с Марией и «незаконного» ребенка, Войцек не только ссылается на закон христианского милосердия и всепрощения, но и на социальную несовместимость своей морали «бедного человека» с моралью «богатых»: «Мы люди бедные, сами понимаете, господин капитан: деньги, кругом одни деньги! А у кого денег нет — попробуй-ка, произведи на свет себе подобных, да чтоб по всем правилам морали!.. Она, добродетель-то, видать, очень даже прекрасная вещь, господин капитан. Да только куда нам при нашей бедности!»

Именно внутри этой системы координат и располагает автор добродетель и мораль своего героя. И тогда его нравственность оказывается поистине безупречной: он благочестив и честен, он искренне любит Марию и своего ребенка, любит свою мать, у него нет ни одного извращенного, фальшивого движения души.

Но в обществе, основанном на неравенстве, на преимуществе, эта система моральных координат недействительна, иллюзорна. Все имеют какое-нибудь *преимущество* перед Войцеком: капитан, щеголяющий своей рассудительностью и нравственностью; доктор, спекулирующий на своей «учености» и превращающий Войцека в подопытного кролика; бравый тамбурмажор, дарящий Марии украшения. Войцек ничтожнее и беззащитнее всех со своим упованием на «естество», и понятно, что именно здесь он оказывается мгновенно и намертво уязвимым: любовь Марии была для него единственной радостью, единственным прибежищем — и вот Марию у него отняли.

Перед нами снова трагедия безысходного одиночества человека, как и в «Ленце»: человек опять обманут любовью, верой, а природа еще грозней выступает перед его суеверным сознанием как непонятная и враждебная сила. Но теперь это человек, взятый в подчеркнуто *социальном* отношении: вся драма построена на том, что люди, стоящие выше героя по положению, последовательно

загоняют его в тупик. Капитан внушает Войцеку, что он глуп, что он аморалеп, и еще после этого издевается: «Ты только думаешь слишком много»; доктор внушает Войцеку, что он физически ущербен, и выставляет его на всеобщее посмешище; оба они первыми — и в издевательском тоне — сообщают Войцеку об измене Марии; тамбурмажор демонстрирует на Войцеке свое физическое превосходство, когда избивает его в таверне. Социальная трагедия с неотвратимостью рока разряжается трагедией индивидуальной: Войцек закалывает Марию.



Еще в феврале 1834 года Бюхнер, опровергая слухи о своем презрительном и насмешливом отношении к людям, писал родителям, что он если и смеется над кем, то именно над людьми, презирающими других «за недостаток ума или образования». Таких людей он ненавидит. «Им несть числа, этим людям, которые, обладая смешным и чисто внешним преимуществом, именуемым «образованием», или мертвой рухлядью, именуемой «ученость», приносят в жертву своему презрительному эгоизму все остальное человечество. Аристократизм—позорнейшее презрение к духу святому, который есть в каждом человеке». И в конце этого письма Бюхнер говорит: «Думаю все-таки, что я чаще сострадал измученным и угнетенным, чем издевался над высокомерными аристократами».

В «Войцек» эти взгляды Бюхнера впервые получили прямое воплощение. Ненависть, о которой он говорил в письме, здесь впервые так открыто выплеснулась наружу. Если в «Леонсе и Лене» тема праздности и меланхолии еще рассматривалась в духе язвительной литературной пародии, то в «Войцек» она отдана на откуп капиталу, как и тема «рухляди, именуемой ученостью», связывается с карикатурным образом доктора. И, с другой стороны, сострадание «измученным и угнетенным» тоже впервые выражено здесь так открыто. По четкости *классового* деления фронтов в драматургическом сюжете «Войцек» не имел себе аналогий в немецкой литературе вплоть до «Ткачей» Гауптмана.

То, к чему постоянно вела бюхнеровская эстетическая и социально-этическая программа, свершилось: он обратился к «самым малым и сирым». Но и это снова вылилось в трагедию. В «Ленце», как мы видели, с такой перспективой еще связывались какие-то оптимистические представления. Когда Ленц доказывал благотворность обращения к «зауряднейшим людям под солнцем», он приводил такие примеры: «Вот вчера, в лесу, я увидел двух девушек; одна, в черном, сидела на камне, распустив золотистые волосы, обрамлявшие серьезное, бледное и такое юное личико, а другая склонялась над ней с такой нежной заботой! Лучшие, чувствительнейшие картины старой немецкой школы ничто в сравнении с этой патурой». Здесь теоретические взгляды Бюхнера-реалиста еще иллюстрируются поэтическим воображением Бюхнера-романтика.

Бюхнеровский «Войцек» не оправдал этих романтических упований: обращение к народной теме снова привело Бюхнера к глубокому трагизму. «Войцек» — это тоже опровержение романтизма, опровержение прежде всего его патриархального «народничества», его слащавой сентиментальности в изображении любовных идиллий среди «поселян». Иначе и не могло быть: раз присягнув на верность истине, Бюхнер уже не мог создать идиллию. Идиллия — это для принца Леонса и принцессы Лены, держащихся на «валиках и роликах». Для Дантона, для Ленца, для Войцека — для Бюхнера — идиллии уже невозможны. Они заглянули жизни в лицо — и ушли из нее, каждый по-своему продемонстрировав бессильное негодование: презренье к жизни, апатией — Дантон, яростным вывихом души — Ленц, преступлением из мести — Войцек. Лишь один из них — их творец, писатель Бюхнер, — как полномочный их представитель и ходатай, спас для последующих поколений смысл и урок их трагических жребиев, оставив не только горький вкус поражения, но и великий завет как единственно возможный залог надежды: завет служения народу и завет служения истине.

*А. Карельский*

# **ПЬЕСЫ**

**СМЕРТЬ ДАНТОНА**

**ЛЕОНС И ЛЕНА**

**ВОЙЦЕК**



# СМЕРТЬ ДАНТОНА

ДРАМА

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЖОРЖ ДАНТОН	}	депутаты Национального Конвента.
ЛЕЖАНДР		
КАМИЛЛ ДЕМУЛЕН		
ЭРО-СЕШЕЛЬ		
ЛАКРУА		
ФИЛИППО		
ФАБР Д'ЭГЛАНТИН		
МЕРСЬЕ	}	члены Комитета общественного спасения.
ТОМАС ПЕЙН		
РОБЕСПЬЕР		
СЕН-ЖЮСТ		
БАРЭР		
КОЛЛО Д'ЭРВУА	}	члены Комитета общественной безопасности.
БИЙО-ВАРЕНН		
ШОМЕТТ — член Генерального совета Коммуны.		
ГЕНЕРАЛ ДИЛЛОН.		
ФУКЬЕ-ТЕНВИЛЬ — общественный обвинитель Революционного трибунала.		
АМАР	}	члены Комитета общественной безопасности.
ВУЛАН		
ЭРМАН	}	председатели Революционного трибунала.
ДЮМА		
ПАРИС — друг Дантона.		
СИМОН — суфлер.		
ЖЕНА СИМОНА.		
ЛАФЛОТТ.		
ЖЮЛИ — жена Дантона.		
ЛЮСИЛЬ — жена Камилла Демулена.		
РОЗАЛИ	}	гризетки.
АДЕЛАИДА		
МАРИОН		
ДАМЫ за игорным столом, ГОСПОДА И ДАМЫ на прогулке, ГРАЖДАНЕ, СОЛДАТЫ гражданского патруля, ДЕЛЕГАТ Лиона, ДЕПУТАТЫ Конвента, ЯКОВИНЦЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Якобинского клуба, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Национального Конвента, НАДЗИРАТЕЛИ, ПАЛАЧИ, ВОЗЧИКИ, МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ из толпы, ГРИЗЕТКИ, УЛИЧНЫЕ ПЕВЦЫ, НИЩИЕ и т. д.		

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

*Эро-Сешель и несколько дам играют за столом в карты.*

*Дантон и Жюли сидят поодаль — Дантон на маленьком табурете у ног Жюли.*

Дантон. Смотри, как ловко эта очаровательная дама раздает карты! Сразу видно, что с опытом; говорят, она собирает у себя королей и валетов, а супруга все больше оставляет при пиковом интересе. О женщины, вы способны влюблять в себя, даже когда лжете.

Жюли. Но мне то ты веришь?

Дантон. А что я о тебе знаю? Что мы знаем друг о друге? Мы все из семейства толстокожих; мы простираем друг к другу руки, но наши усилия тщетны, мы только тремса друг о друга загрубелой своей кожей. Мы так одиноки.

Жюли. Меня ты знаешь, Дантон.

Дантон. Будем считать, что знаю. У тебя темные глаза, мягкие локоны, певчая кожа, и ты всегда говоришь мне: «Милый Жорж!» Но здесь (*указывает на ее лоб и глаза*), здесь вот — что за этим? Черт! Наши органы чувств так грубы. Где же нам знать друг друга? Для этого нам надо было бы размозжить друг другу черепа и выдавливать из мозговых волокон наши мысли!

Одна из дам (*Эро-Сешель*). Что это вы там делаете с пальцами?

Эро. Ничего!

Дама. Фи, не будьте сусверным! Стыдно за вас!

Эро. Ну отчего же? По-моему, жест очень выразительный!

Дантон. Не огорчайся, Жюли, я люблю тебя, как любят могоилу.

Жюли (*отшатнувшись*). О!

Д а н т о н. Нет, ты послушай! Недаром говорится, что только в могиле можно найти покой, что могила и покой — одно. А если так, то, когда я причу голову в твои колени, я уже как бы лежу в земле. Ты мне — желанная могила, твои уста мне — погребальные колокола, твой голос — похоронный звон, твоя грудь — могильный холм, и сердце твоё — мой гроб.

Д а м а. Вот вы и проиграли!

Э р о. Не мудрено — любовные авантюры стоят денег, как и все на свете.

Д а м а. О, тогда вы объяснялись мне в любви на пальцах, как глухонемой.

Э р о. И это способ! Знаюки уверяют, что язык пальцев в таких случаях намного понятней... Я завязал пистрижку с карточной королевой; мои пальцы были заколдованными принцами, вы, мадам, выступали в роли фэп. Но мне не везло — дама беспрестанно рожала: что ни секунда, выскакивал валет. Своей дочери я бы запретил играть в подобные игры — такое неприличие: короли и дамы валятся друг на друга, и не успеваешь оглянуться, как появляется валет.

*Входят Камилла, Демулен и Филиппо.*

Филиппо, что за удрученный вид! Твой красный колачок прохудился? Святой Иаков на тебя косо посмотрел? Во время гильотинирования полил дождь? Или тебе досталось неудобное место, и ты ничего не увидел?

К а м и л л. Не подделывайся под других. Помнишь, как божественный Сократ вопрошал Алквиада встретив его мрачным и подавленным: «Ты потерял щит на поле брани. Тебя победили в играх или в поединке? Кто-то лучше тебя спел? Или сыграл на кифаре?» Вот это были классические республиканцы! Куда нам до них с нашей гильотинной романтикой!

Ф и л и п п о. Сегодня прибавилось еще двадцать жертв. Как ме-

заблуждались! Эбертистов отправили на эшафот только потому, что они действовали недостаточно энергично,— или децемвиры поняли, что им не продержаться, если кого-то хоть педелею будут бояться больше них.

Э р о. Нас хотят вернуть в допотопное состояние. Сеп-Жюст был бы счастлив, если б мы слова начали ползать на брюхе, а аррасский адвокат по методу женеевского часовщика изобрел бы для нас свивальники, учебники и господа бога.

Ф и л и п п о. Они ради своих целей не постесняются приписать к мараатовскому счету еще несколько нулей. До каких пор мы будем плавать в крови и слизи, как новорожденные младенцы, валяться в гробах вместо люлек и играть человеческими головами вместо погремушек? Пора с этим кончать. Надо создать Комитет помилования, вернуть изгнанных депутатов!

Э р о. Революция вступила в новую стадию — революцию надо кончать и начинать республику. Наша конституция должна поставить право на место долга, благосостояние на место добродетели, самооборону на место наказания. Каждый человек должен жить так, как этого требует его естество. Разумен он или неразумен, образован или необразован, хорош или плох — государству нет до этого дела. Все мы глупцы, и никто не имеет права навязывать другим свою глупость. Пусть каждый наслаждается жизнью как умеет,— только чтобы не за счет других, только не мешая и другим наслаждаться.

К а м и л л. Государственная власть должна быть прозрачным хитомом, облегающим тело народа. Сквозь него должна проступать каждая набухшая вена, каждый дрогнувший мускул, каждая напрягаемая жила. И будь фигура хороша или плоха — она имеет право быть такой, какая она есть; мы не можем кроить ей одежды по своему вкусу. И мы отобьем пальцы людям, которые хотят накинуть монашеское покрывало на обнаженные плечи нашей милой

грешницы Франции. Мы хотим нагих богов, вакханок, олимпийских игр, и чтобы сладкогласные уста славили любовь, ее необоримую, горько-сладостную истому! Пускай эти новоявленные римляне расплзаются по своим углам и парят репу — мы не будем им мешать, — но пускай и они не устраивают нам гладиаторских игрищ. Несравненный Эпикур и божественные ягодицы Венеры станут опорами нашей республики, а не святые Марат и Шалье. И атаку в Конvente начнешь ты, Дантон!

Дантон. Я начну, ты начнешь, он начнет. Если доживем, как говорят старики. За час протечет шестьдесят минут — верно, малыш?

Камилл. К чему это ты? Конечно, само собой разумеется.

Дантон. О, все само собой разумеется. А кто осуществит эти грандиозные планы?

Камилл. Мы... и с нами все честные люди!

Дантон. Вот это «и» в промежутке — такое оно длинное, и очень уж оно отдаляет нас друг от друга; дистанция слишком велика, и честность выдыхается задолго до встречи. Но будь даже и по-твоему — все равно: честным людям можно одалживать деньги, быть у них крестным отцом, выдавать за них своих дочерей, но и только!

Камилл. Если ты так считаешь, для чего же ты начал борьбу?

Дантон. А мне опротивели эти люди. Как увижу такого разглагольствующего Катона, сразу хочется дать ему пинка в зад. Уж так я устроен. *(Встает.)*

Жюли. Ты уходишь?

Дантон *(Жюли)*. Ухожу, иначе они доконают меня своей политикой. *(В дверях.)* С порога посылаю вам пророчество: статуя свободы еще не отлита, печь раскалена, и мы еще сожжем себе пальцы. *(Уходит.)*

Камилл. Пускай уходит! Вы думаете, он испугается за свои пальцы, когда надо будет действовать?

Эро. Нет. Но он просто будет убивать время — как за игрой в шахматы.

УЛИЦА

*Симон с женой.*

Симон (*колотя жену*). Вот тебе, сулема старая! Вот тебе, пилюля купоросная! У-у, червивое яблоко змия!

Жена. Помогите! Помогите!

*Сбегаются люди. Крики: «Разнимите их, разнимите их!»*

Симон. Прочь, римляне! Я по ветру развею эти мощи! Ах ты весталка!

Жена. Это я-то весталка? Ну это мы еще посмотрим!

Симон.

Я с грешных плеч твоих сорву тунику

И воронам швырну нагую падаль.

Ах ты сучья трляпка! Разаврат, сокрытый в каждой складке тела!

*Их разнимают.*

Первый гражданин. Ну что тут у вас?

Симон. Где дева? Отвечай! Нет, не то слово. Где эта девчонка? Нет, опять не то! Где эта женщина? О, все не то, не то! Есть только одно слово — оно меня задушит. У меня духу на него не хватит!

Второй гражданин. Так-то и лучше — ипаче дух от него был бы спиртной.

Симон. Сокрой свою седую главу, Виргиний,— ворон позора опустил на нее и клюет тебе глаза. Кинжал мне, римляне! (*Умолкает, ружнув наземь.*)

Жена. А ведь такой хороший, когда трезвый. Пить совсем не умест. Бутылка всегда подставляет ему ножку.

Второй гражданин. Тогда он может ходить сразу на трех.

Жена. Да куда там — сразу падает.

Второй гражданин. Вот-вот — сначала идет на трех, потом падает на третью, а потом и она подгибается.

Симон. У-у, вампир! Насосалась моей крови!

Жена. Не трогайте его. Раз он так разнюнился, значит, скоро успокоится.

Первый гражданин. А в чем дело-то?

Жена. Да вот: присела я тут на порожек погреться на солнышке — дров-то ведь нету...

Второй гражданин. А ты бы мужниным носом топила!

Жена. А дочь вышла на уголок... Она у нас молодец, кормит стариков.

Симон. Ха, слышите? Сама призналась!

Жена. Молчи, Иуда! Если бы молодые господа не спускали с нее штанов, какие бы штаны ты на себя натягивал? Сморочок краснорожий! Ты что, хочешь помереть от жажды, когда корытце пересохнет, да? Уж чем мы только не работаем — руками, ногами, — а этим чем плохо? Мать ее на свет этим произвела, да еще как редела от боли! А она почему на собственную мать не может тем же самым поработать? Больно ей, что ли? Идиот!

Симон. Ха, Лукреция! Кинжал мне, римляне, кинжал! Ха, Аппий Клавдий!

Первый гражданин. Да, кинжал, но не для бедной потаскушки! Что она такого сделала? Ничего! Шлюхой и попрошайкой она от голода стала! Кинжал нужен для людей, которые покупают наших жен и дочерей, — вот для кого! Вот до кого надо добраться — до тех, кто тешится дочерьми народа! У вас в животе бурчит, а они макутся от обжорства; у вас дыры на локтях, а у них теплые камзолы; у вас мозоли на руках, а у них ручки-то атласные. А что это значит? Значит, вы трудитесь, а они бездельничают; значит, вы зарабатываете, а они воруют; значит, если вы захотите получить назад хоть несколько жалких грошей из того, что они у вас украли, вам надо торговать собой и попрошайничать; значит, они паразиты, и всех их надо перебить!

Третий гражданин. У них и кровь-то не своя — они ее всю из нас высосали! Они нам говорили: убивайте ари-

стократов, они хуже волков — мы аристократов перевешали. Они говорили: это король пожирает ваш хлеб — мы убрали и короля. Они говорили: вы из-за жирондистов голодаете — мы и жирондистов убрали. Потом они раздели мертвецов, а мы опять бегай босиком и мерзни. Но мы сдерем у них шкуру с ляжек и сделаем себе из нее штаны, мы соскоблим с них весь жир и пустим себе в суп. К черту! Перебить всех, у кого нет дыр на локтях!

Первый гражданин. И всех, кто умеет читать и писать!

Второй гражданин. И всех, кто поглядывает на за границу!

Все. Перебить их! Перебить их!

*Несколько человек выволакивают на сцену молодого щеголя.*

Голоса в толпе. Ишь, с платочком!

— Аристократ!

— На фонарь его! На фонарь!

Второй гражданин. Что? В платочек сморкается? На фонарь!

*Спускают фонарь.*

Молодой человек. Господа, господа!

Второй гражданин. Кончились господа! На фонарь!

Голоса в толпе (*поют*).

«Хуже нет лежать в могиле,

Там полно червей и гнили.

Лучше в воздухе висеть,

Чем в сырой могиле тлеть!»

Молодой человек. Пощадите!

Третий гражданин. А ты не бойся, пеньковая петелька на шею — раз-два, и готово. Мы милосерднее вас. Нас всю жизнь убивает работа; мы шестьдесят лет висим на веревке и дрыгаем ногами... Но мы перережем свою петлю! На фонарь!

Молодой человек. Ну и вешайте! Свету вам от этого все равно не прибавится.

Голоса в толпе. Молодец!

— Bravo!

Несколько голосов. Отпустить его!

*Молодой человек вывертывается и убегает.*

*Входит Робеспьер, окруженный женщинами и санкюлотами.*

Робеспьер. Что здесь происходит, граждане?

Третий гражданин. А что тут может происходить? В августе и сентябре кровь немножко покапала — и все, щеки у нас от этого краснее не стали. Плохо работает ваша гильотина! Нам проливной дождь подавай!

Первый гражданин. Наши жены и дети просят хлеба, так мы им дадим благородного мяса. Перебить всех, у кого нет дырок на локтях!

Все. Перебить их! Перебить их!

Робеспьер. Именем закона!

Первый гражданин. А что такое закон?

Робеспьер. Воля народа.

Первый гражданин. Так вот мы и есть народ, и мы хотим, чтобы не было никакого закона. А что это значит? Значит, эта наша воля и есть закон; значит, именем закона нет больше никакого закона, значит — перебить их!

Голоса в толпе. Слушайте Аристида!

— Слушайте Неподкупного!

Одна из женщин. Слушайте спасителя! Его сам господь послал избирать и судить; меч его поразит злодеев. Глаза его избирают, а руки вершат суд!

Робеспьер. Бедный, добродетельный народ! Ты исполняешь свой долг, ты приносишь в жертву своих врагов. Ты велик, народ! Ты являешь себя в стрелах молний и в раскатах грома. Но, народ! Удары твои не должны поражать тебя самого; в своем озлоблении ты губишь себя! Только от собственной мощи своей ты можешь пасть, и это знают твои враги. Но законодатели твои — с тобой, и они су-

меют направить твою руку; их глаза зорки, а рука твоя неотвратима. Идите все к якобинцам! Братья примут вас с распростертыми объятиями, и да свершится кровавый суд над нашими врагами!

Навигация голосов. К якобинцам!

— Да здравствует Робеспьер!

*Все уходят.*

Симон. Горе мне, покинутому! *(Пытается подняться.)*

Жена. Ну иди уж, иди! *(Помогает ему встать.)*

Симон. О моя Бавкида, ты посыпаешь пеплом главу мою.

Жена. Да стой ты прямо!

Симон. Чего это ты отворачиваешься? А-а!.. Простишь ли ты меня, о Порция? Я тебя ударил? Это была не моя рука — это мое безумие.

«Кто оскорбил Лаэрта? Гамлет? Нет,

Сам бедный Гамлет во вражде с безумьем».

Где наша дочка? Где моя Сюжетта?

Жена. Да вон она там, на углу.

Симон. Веди меня к ней! Веди меня, верная подруга!

*Уходят.*

#### ЯКОВИНСКИЙ КЛУБ

Делегат Лиона. Лионские братья послали нас излить свою горечь на вашей груди. Мы не знаем, была ли повозка, которая везла Ронсена на гильотину, катафалком Свободы, но мы знаем, что с того самого дня убийцы Шалье разгуливают так дерзко, будто нет на них могилы. Разве вы забыли, что Лион — это черное пятно на земле Франции, что лишь трупы предателей смогут засыпать его? Разве вы забыли, что только воды Роны смогут смыть язвы на теле этой бурбонской блудницы? Разве вы забыли, что эти вольнолюбивые воды должны трупами ари-

стократов запрудить дорогу флотилиям Питта из Средиземного моря? Ваше мягкосердечие убивает революцию. Каждый вздох аристократа — это предсмертный хрип революции. Только трусы умирают за республику — якобинцы за нее убивают! Знайте: если мы убедимся, что в вас иссякла решимость и сила героев десятого августа, героев сентября и тридцать первого мая, нам, как патриоту Гай-яру, останется только одно — меч Катона!

*Овация и шум в зале.*

Один из якобинцев. Мы выпьем вместе с вами кубок Сократа!

Лежапдр (*взметнувшись на трибуну*). А что нам смотреть на Лион? Люди, которые ходят в шелках, разъезжают в экипажах, восседают в ложах с моноκлями и разговаривают по академическому словарю, — все они опять задрали головы. Они смеют остричь. Они говорят, что надо укрепить мученическую славу Марата и Шалье и гильотинировать их бюсты!

*Бурная реакция в зале.*

Голоса. Их самих надо гильотинировать!

— Языки им надо отрубить!

Лежапдр. Да прольется на них кровь этих святых! Я спрашиваю присутствующих членов Комитета спасения — с каких пор они так оглохли?

Колло д'Эрбуа (*прерывает его*). А я спрашиваю тебя, Лежандр, — с чьего голоса говорят эти люди, почему они вообще осмеливаются так говорить? Настало время сорвать кое с кого маски. Вы только послушайте! Причина обвиняет следствие, клич обвиняет свое эхо. Комитет спасения разбирается в логике не меньше тебя, Лежандр, будь спокоен! Бюсты святых останутся неприкосновенными и, подобно лику Медузы, еще превратят предателей в камень.

Робеспьер. Дайте мне слово!

Якобицы. Слушайте, слушайте Неподкупного!

Робеспьер. Мы молчали до сих пор, потому что ждали — ждали пока отовсюду не раздадутся крики возмущения. Наши глаза были открыты, мы видели, как враг поднимается и набирает силу, но мы не давали сигнала; мы верили, что народ сам защитит себя, и мы видим, что он не спал, — он зовет к оружию. Мы дали врагу выползти из норы на дневной свет, и теперь он не скроется от нас — мы настигнем его повсюду.

Я уже говорил вам однажды: внутренние враги республики разделились на два лагеря. Под знаменами разных цветов и разными путями они рвутся к одной цели. Одна из этих групп уже уничтожена. В безумном ослеплении своим эти люди пытались расправиться с испытаннейшими патриотами, объявив их трусливыми отступниками, и лишит республику ее самых надежных защитников. Они объявили войну религии и собственности, но на самом деле это была диверсия в пользу монархов. Они издевались над священной драмой революции, компрометируя ее ученой болтовней. Триумф Эбера вверг бы республику в хаос — вот о чем мечтали прислужники деспотизма. Меч закона покарал предателей. Но чужеземцам все равно, чьими услугами пользоваться. Сейчас для достижения той же цели они действуют руками предателей из другого лагеря. Пока мы не уничтожили другую группу — считайте, что мы не сделали ничего.

Она — прямая противоположность первой. Она склоняет нас к мягкости, ее лозунг — «Помилование!». Она стремится обезоружить народ, отнять у него силу, обескровить его и беззащитным отдать в рабство к монархам.

Оружие республики — террор, опора республики — добродетель. Без добродетели террор аморален, без террора добродетель беспомощна. Террор — это практическое осуществление принципа добродетели. Террор есть не что иное, как скорая, строгая и непреклонная справедливость. Они го-

воят нам, что террор — оружие деспотизма и что наше правительство таким образом уподобляется деспотии. Возможно! Но только если меч в руках освободителя можно уподобить ятагану в руках прислужника тирана! Когда деспот управляет бессловесными рабами с помощью террора — это его право как деспота; но если вы с помощью насилия сокрушите врагов свободы — вы, как основатели республики, будете иметь на это не меньшее право. Революционное правительство — это деспотия свободы против тиранов.

Нам говорят: к роялистам тоже надо быть милосердными! Быть милосердными к злодеям? Нет! Быть милосердными к невинным — да! К слабым, несчастным, к человечеству — да! Общество ограждает права только мирных граждан. В республике только республиканцы — граждане; роялисты и интервенты — враги.

Наказывать душителей свободы — это и есть милосердие; прощать их — варварство. Для меня всякое проявление милосердного сострадания — это лишь вздох надежды, обращенный в сторону Англии или Австрии. Но им мало того, что они выбивают у народа оружие из рук, — они еще пытаются отравить чистейшие источники его силы дыханием порока. Это — их самый коварный, самый опасный и самый отвратительный прием. Порок — это каинова печать аристократии. По отношению к республике это не только моральное, но и политическое преступление; порок — политический враг свободы, он тем опасней, чем значительней кажутся услуги, которые он якобы ей оказывает. Опасайтесь людей, которые скорее продырявят десять красных колпаков, чем сделают одно доброе дело.

Вы меня сразу поймете, если вспомните тех, кто раньше жил на чердаках, а теперь разъезжает в экипажах и распутничает с бывшими маркизами и баронессами. Да позволено будет спросить: как случилось, что народные законодатели щеголяют всеми пороками и всей роскошью

бывших придворных? Как случилось, что эти революционные маркизы и графы женятся на богачках, устраивают оргии, играют в карты, содержат слуг и носят дорогие наряды? За чей счет? За счет ограбленного народа? Или за счет золотых рукопожатий иноземных монархов? Как же нам не удивляться, слушая их остроты, их разглагольствования о высоких материях, о хорошем тоне? Кое-кто недавно бесстыдно пытался сослаться на Тацита; я мог бы в ответ припомнить Саллюстия и поиздеваться над Катилиной. Но думаю, что и без этого уже все ясно,— портреты готовы.

Никаких компромиссов, никакого примирения с людьми, которые только и помышляли о грабеже народа, которые надеялись безнаказанно осуществлять этот грабеж! Никакого примирения с людьми, для которых республика была только спекуляцией, а революция — только средством! Устрашенные недавними уроками, они пытаются исподволь охладить пыл справедливого гнева. Так и слышишь кругом эти голоса: «Мы недостаточно добродетельны, чтобы быть столь жестокими. Сжальтесь над нашей слабостью, философы-законодатели! Мы не решаемся сознаться в своей порочности. Уж лучше мы скажем вам — не будьте жестокими!»

Не беспокойся, добродетельный народ, не беспокойтесь, честные патриоты! Передайте лонским братьям: меч правосудия еще не заржавел в руках, которым вы его доверили!.. Мы подадим республике высокий пример!

*Бурная овация в зале.*

Лавина голосов. Да здравствует республика!

— Да здравствует Робеспьер!

Председатель. Собрание закрыто.

## УЛИЦА

*Лакруа, Лежандр.*

Лакруа. Что ты наделал, Лежандр! Да понимаешь ли ты, чью голову ты снес этими своими бюстами?

Лежандр. Ну подумаешь — слетят головы одного-двух щеголей и их красоток, только и всего.

Лакруа. Ты же самоубийца! Ты — тень, которая убила свой оригинал и себя вместе с ним.

Лежандр. Не понимаю.

Лакруа. По-моему, Колло говорил достаточно ясно.

Лежандр. Ну и что? Просто наакался опять, вот и все.

Лакруа. Устами шутов, младенцев и — ну? — пьянчужек глаголет истина. Как ты думаешь, кого имел в виду Ребеспьер, говоря о Катилине?

Лежандр. Кого?

Лакруа. Это же яснее ясного. Атеистов и ультрареволюционеров спровадили на эшафот, но народу от этого ни жарко ни холодно — он снова бегаёт босиком по улицам и требует башмаков из дворянских шкур. Температура гильотины не должна понижаться; ещё несколько градусов — и самому Комитету спасения придется почить вечным сном на площади Революции.

Лежандр. Ну и при чем тут эти бюсты?

Лакруа. Да неужели ты не видишь? Ты публично заявил о существовании контрреволюции, ты спровоцировал декемвиров, ты вложил им нож в руку. Ведь народ — как Минотавр. Если они не будут каждую неделю подавать ему свежие трупы, он сожрет их самих.

Лежандр. Где Дантон?

Лакруа. А почему я знаю! Наверное, опять собирает по кусочкам Венеру Медицейскую из гризеток Пале-Рояля; это у него называется «мозаичный портрет». Один бог знает, на какой он сейчас стадии. Коварная природа расчлени-

ла красоту, как Медея братца, и каждому телу уделила  
лишь жалкую частичку... Идем в Пале-Рояль!

*Уходят.*

КОМНАТА

*Дантон, Марион.*

Марион. Нет, погоди! Я хочу побыть у твоих ног. Так вот,  
слушай, что я тебе расскажу.

Дантон. Для твоего ротика есть применение и получше.

Марион. Ну, пожалуйста, подожди. Мать у меня была умная  
женщина; она мне всегда говорила, что невинность — луч-  
шая из добродетелей. Когда в дом приходили люди и на-  
чинали говорить о всяких таких вещах, она меня выпро-  
важивала из комнаты; если я спрашивала, чего им надо,  
она отвечала: как тебе не стыдно; даст, бывало, почитать  
книжку, а половину велит пропускать. Мне только Библию  
разрешалось читать от корки до корки — все-таки  
святая книжка; но кое-чего в ней я никак не могла по-  
нять. Спрашивать я не любила — самой хотелось во всем  
разобраться. И вот как-то пришла весна, и я впервые по-  
чувствовала, что вокруг меня что-то происходит, а я в  
этом не участвую. Я вдруг начала задыхаться в себе са-  
мой. Я разглядывала свое тело, и мне иногда начинало  
казаться, что я раздваиваюсь, а потом опять сливаюсь во-  
едино. В это время к нам зачастил один юноша; симпа-  
тичный такой и говорил так чудно; я не могла понять,  
что ему надо, но мне с ним было очень весело. Мать ча-  
сто его приглашала, ну а нам того и надо было. Нако-  
нец мы сообразили, что, чем сидеть рядом друг с другом  
на стульях, лучше лежать друг с другом под простынями.  
Мне это понравилось даже больше, чем болтать с ним, и  
я не могла понять, почему мне всякую ерунду позволяли,

а такого удовольствия лишали. Конечно, мы все делали тайно. Так оно шло и шло. Только я вдруг стала как море, которое все глотает, и все ему мало. И только одно это имело для меня смысл, и все мужчины для меня как бы слились в одно тело. Что делать, раз я по природе такая? И однажды он все понял. Как-то утром пришел к нам и так поцеловал меня, будто задушить хотел. Сдавил мне шею руками. Я перепугалась до смерти. А он отпустил меня, засмеялся и говорит: чуть было не сыграл с тобой глупую шутку. И не надо, говорит, платье снимать, оно тебе еще пригодится, чего зря его трепать — само изнашивается. Не хочу, говорит, лишать тебя единственного удовольствия. И ушел, а я опять ничего не поняла. Вечером села у окошка — я, знаешь, очень впечатлительная и все воспринимаю только чувством — и как бы потонула в море заката. Вдруг вижу — бежит по улице толпа, впереди мальчишки, женщины повысовывались из окон. Я тоже высунулась, гляжу — а они его тащат в большой такой корзине, он бледный-бледный в свете луны, и волосы на лбу все мокрые. Утопился он. Я так плакала... Тогда во мне что-то как будто сломалось. Вот другие люди — у них есть воскресные и рабочие дни, шесть дней они работают, а на седьмой молятся, умиляются раз в год на день рождения и раз в год в сочельник задумываются над жизнью. А мне этого не понять: у меня в жизни нет никаких перемен, никакого разнообразия. Только жадность одна: забрать, вобрать в себя все, что можно, — как пожар, как потоп. Мать моя умерла с горя; люди показывают на меня пальцами. И дураки! Не все ли равно, от чего получать удовольствие — от мужского тела, от иконы, от цветов или от игрушек? Чувство одно и то же. Кто больше наслаждается, тот чаще молится.

Дантон. Почему глаза мои не могут насытиться твоей красотой, вобрать ее всю, целиком, без остатка?

Марион. Губы заменяют тебе глаза, Дантон.

Д а н т о п. Я хотел бы исчезнуть, разлиться в эфире, чтобы омыwać тебя своим потоком, чтобы ласкать каждый изгиб твоего божественного тела.

*Входят Л а к р у а, А д е л а и д а и Р о з а л и.*

Л а к р у а. (*останавливается в дверях*). Нет, я сейчас лопну от смеха.

Д а н т о п. (*недовольно*). Что там?

Л а к р у а. Да все вспоминаю эту подворотню.

Д а н т о п. Ну и что?

Л а к р у а. Две собаки в подворотне — бульдог и крохотная такая болонка. Совсем друг друга замучили, бедняжки.

Д а н т о п. Ты это к чему?

Л а к р у а. Да так, вспомнил, и смешно стало. Вот была потеха! Девицы повысовывались из окон; осторожности ради я не позволял бы им сидеть на солнышке. Собак не будет — так мухи съдут на руку и давай за свое; девочки и призадумаются... Мы с Лежапдром прошились по всем кельям. Монахины из ордена откровения плоти хватали нас за фалды и жаждали благословения. Лежапдр сделал одной внушение, так ему теперь за это месяц целый придется постигаться. А я вот привел двух жриц.

М а р и о п. Привет, мадемуазель Аделаида! Привет, мадемуазель Розали!

Р о з а л и. Какая приятная неожиданность! Давно уж мы не имели удовольствия.

М а р и о н. Я тоже думала — куда это они пропали?

А д е л а и д а. Ах, боже мой, столько работы — никакого продыху!

Д а н т о п. (*Розали*). Послушай, малютка, да ты отрастила себе бедра!

Р о з а л и. Стараемся, мсье. Ежедневная практика.

Л а к р у а. Ты знаешь, в чем разница между античным и современным Адописом?

Д а н т о п. А Аделаида стала такая скромница — занятно! Пикантное разнообразие. Личико-то прямо ангельское она

им, как фиговым листком, прикрывает грешное тело. На людных улицах такое фиговое дерево сулит приятную прохладу.

Аделаида. Я могла бы стать и проезжей дорогой, если мсье...

Дантон. Ну ясно, ясно; сразу уж и горячиться!

Лакруа. Да послушай же! Современного Адописа разрывает в клочья не вепрь, а свора сук; рана у него не на бедре, а в паху, и проливается из нее не кровь, а ртуть.

Дантон. А мадемуазель Розали похожа на реставрированный торс, в котором античного только бедра да ноги. Она как магнитная стрелка: верхний полюс — голова — отталкивает, зато нижний притягивает, а посредине экватор, где каждому, кто впервые пересекает линию, требуется крещенье сулемой.

Лакруа. Они — сестры милосердия; только врачуют они не лекарствами, а собственным телом.

Розали. Постыдились бы сами, чем нас стыдить!

Аделаида. И вообще небольшие воспитания вам не поменяло бы!

*Обе удаляются.*

Дантон. Спокойной ночи, крошки!

Лакруа. Привет, ртутные копы!

Дантон. Их надо пожалеть — они лишились пропитания на ночь.

Лакруа. Послушай, Дантон. Я только что от якобинцев.

Дантон. Ну и что?

Лакруа. Лионские делегаты выступали с прокламацией; они считают, что им остается только гордо запахнуться в тогу. У каждого было такое лицо, будто он хотел сказать соседу: «Это совсем не больно, Пет». Лежандр кричал, что враги хотят разбить бюсты Шалье и Марата. Кажется, он снова хочет размалеваться красным цветом; давно никого не терроризировал — ребятишки осмелели, за фалды стали на улице хватать.

Дантон. А что Робеспьер?

Лакруа. Паясничал на трибуне и кричал, что царство добродетели невозможно без террора. Я как услышал, так у меня сразу шею заломило.

Дантон. Он стругает доски для гильотины.

Лакруа. А Колло кричал как одержимый, что настало время сорвать маски.

Дантон. Они сорвут их вместе с лицами.

*Входит Парис.*

Лакруа. Ну что там еще, Фабриций?

Парис. Я пошел от якобинцев прямо к Робеспьеру и потребовал объяснений. Он пасунился, как Брут, приносящий сыновей в жертву. Пустился в рассуждения о долге, заявил, что, когда речь идет о свободе, он стоит выше всяких сантиментов и готов пожертвовать всем — собой, братом, другом.

Дантон. Очень ясно сказал; стоит только все это перевернуть, и он окажется внизу — будет поддерживать лестницу друзьям. Мы должны быть благодарны Лежандру — он заставил их высказаться.

Лакруа. Эбертисты еще не добиты, народ голодает — о, это страшный рычаг! Чаша с кровью не должна подниматься на этих весах — иначе она станет фонарем для самих дещемвиров; им нужен балласт — им нужна тяжелая голова.

Дантон. Я все понимаю. Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей. *(После раздумья.)* И все-таки они не посмеют!

Лакруа. Дантон, ты, конечно, святой, но мертвый святой; а революция не признает реликвий; мощи королей она вышвырнула на помойку, статуи с церковей посвергала. Ты что, ты вправду думаешь, что они сохранят тебя как мумию?

Дантон. Но мое имя! Народ!

Макруа. Твое имя! Ты считаешься умеренным, и я тоже, и Камилл, и Филиппо, и Эро. А для народа умеренность и трусость — одно и то же. Обозников он приканчивает. Эти краснокопачники будут чувствовать за своими плечами всю римскую историю, когда уличат героя сентября в умеренности.

Дантон. Да, верно, и потом... Народ ведь как ребенок. Ему нужно все разбить, чтобы посмотреть, что там внутри.

Макруа. И потом, Дантон, мы все порочны, как говорит Робеспьер, то есть мы наслаждаемся; а народ добродетелен, то есть он не наслаждается, потому что каторжный труд притупляет органы наслаждения; народ не пьет, потому что не на что, не ходит в бордели, потому что у него изо рта несет сыром и селедкой, и девочки брезгают.

Дантон. Он ненавидит тех, кто может наслаждаться жизнью, как внуч ненавидит мужчин.

Макруа. Нас изымают паразитами и, между нами (*наклоняется к Дантону*), не так уж и зря. Зато Робеспьер и народ сохраняют невинность. Сен-Жюст сочинит очередной роман, Барр слатает для Конвента карманьолу и прикроет его наготу кровавой пелеринкой — я уже все, все вижу.

Дантон. Ты бредишь. Они ничего без меня не смели и против меня ничего не посмеют; революция еще не кончилась, я им еще пригожусь, они приберегут меня в арсенале.

Макруа. Нам надо действовать.

Дантон. Как-нибудь все уладится.

Макруа. Уладится, когда нас уже уберут.

Марион (*Дантону*). О, твои губы остыли, слова задушили твои поцелуи.

Дантон (*Марион*). Потерять столько времени! Но игра стоила свеч! (*Макруа*.) Завтра я пойду к Робеспьеру; я его так разозлю, что он не отмолятся. Так до завтра! Спокойной ночи, друзья мои, спокойной ночи. Спасибо вам!..

Макруа. Пошли вы к черту, друзья мои, пошли вы к черту!

Спокойной ночи, Дантон! Чресла обольстительницы гильотинируют тебя, и Венерина гора еще станет твоей Тарпейской скалой!

*Лакруа и Парис уходят.*

КОМНАТА

*Робеспьер, Дантон, Парис.*

Робеспьер. А я говорю тебе, что каждый, кто хватается меня за руку, когда я вынимаю меч, — мой враг. Что он при этом думает, не имеет значения. Кто мешают мне обороняться, убивает меня так же, как если бы он напал на меня.

Дантон. Где кончается самооборона, начинается убийство; я не вижу ничего, что вынуждало бы нас убивать и дальше.

Робеспьер. Социальная революция еще не кончилась; кто делает ее только наполювину, сам себе роет могилу. Старый мир не умер. Здоровые силы народа должны встать на место этого насквозь прогнившего общества, называющего себя благородным. Порок должен понести наказание; торжество добродетели невозможно без террора.

Дантон. Я не понимаю, что значит «наказание». И эта твоя добродетель, Робеспьер! Ты не брал чужих денег, не влезал в долги, не спал с женщинами, не напивался и всегда носил приличный скюртук. До чего ты порядочен, Робеспьер! Я бы постыдился тридцать лет так вот таскаться по земле все с той же постной миной ради жалкого удовольствия считать себя лучше других. Неужели ни разу ничто в тебе не шепнуло — совсем тихо, тайно: ты лжешь, лжешь?!

Робеспьер. Моя совесть чиста.

Дантон. Совесть — зеркало, перед которым мучаются обезьяны. Пусть каждый выражается как умеет и ищет себе

удовольствий по вкусу. Стоит ли из-за этого сразу вцепляться друг другу в волосы? Каждый вправе защищаться, когда другой портит ему удовольствие. Неужели ты считаешь, что раз твой скюртук всегда гладко отутюжен, ты имеешь право делать из гильотины чан для чужого нестираного белья и выводить пятна на чужих платьях кровью из отрубленных голов? Обороняйся, пожалуйста, если кто-то плюет тебе на скюртук или дерет его в клочья; но пока тебя не трогают — пусть делают что хотят! Если люди сами не стесняются так разгуливать, неужели ты считаешь себя вправе заталкивать их из-за этого в гроб? Ты что, жандарм божьей милостью? А уж если не можешь смотреть на это так же спокойно, как твой господь бог, прикрой глаза носовым платочком.

Робеспьер. Ты не веришь в добродетель?

Дантон. И в порок тоже! Есть только эпикурейцы — одни поглубже, другие поумнее, и самый умный из них был Христос; другого различия между людьми я при всем желании не вижу. Каждый живет так, как требует его естество, то есть делает то, что ему приятно... Ну что, Неподкупный, — я слишком жесток, да? Я выбиваю у тебя котурны из-под ног?

Робеспьер. Дантон, бывают времена, когда порок равнозначен государственной измене.

Дантон. Да как раз тебе-то и нельзя искоренять его — ни в коем случае! Это была бы черная неблагодарность с твоей стороны; ты слишком многим ему обязан — он создает тебе такой выигрышный фон! И, между прочим, если уж рассуждать твоими категориями, убивать надо тоже только на благо республики. Нельзя карать невинных вместе с виновными.

Робеспьер. А разве мы покарали хоть одного невинного?

Дантон. Ты слышал, Фабриций? Безвинно погибших нет! (*Уходит, в дверях, Парису.*) Нам нельзя терять ни секунды; надо действовать.

*Дантон и Парис уходят.*

Робеспьер (*один*). Иди, иди!.. Он хочет привязать копей революции у ворот борделя, как дрессированных кобыл; но у них хватит сил протащить его до гильотины!

Выбить у меня котурны из-под ног! Если уж рассуждать твоими категориями!.. Постой, постой! Неужели это действительно так? Они, конечно, скажут, что эта гигантская фигура отбрасывала на меня слишком большую тень, и потому я велел убрать ее, чтобы не заслоняла солнца... А может быть, они правы? Так ли уж это необходимо?.. Да! Да! Республика! Его надо убрать... Просто смешно, как мои мысли подстерегают одна другую... Его надо убрать. Когда массы приходят в движение, то всякий, кто останавливается, мешает так же, как при попытке преградить им путь. Он должен быть растоптан. Мы не позволим фрегату республики сесть на мель их корыстных расчетов, мы отрубим руку, дерзнувшую задержать его, мы отшвырнем их, даже если они вцепятся в него зубами. Мы уничтожим всех, кто раздел трупы аристократических мертвецов и вместе с платьем унаследовал их язвы!

Значит, добродетель — долгой? Добродетель — котурны на моих ногах? Рассуждать моими категориями!.. Опять я вспомнил... Почему эта мысль так преследует меня? Тычет окровавленным пальцем в одну и ту же точку! Тут и километров тряпок не хватит — все равно будет сочиться кровь... (*После паузы.*) Не знаю, что чему во мне жжет. (*Подходит к окну.*) Ночь храпит над землей и мечется в сладострастном бреде. Мысли, желания — лихорадочные, безотчетные, бессвязные, те, что трусливо скрывались от дневного света, теперь обретают форму, контуры и закрадываются в тихий храм сновидений. Они распахивают в нем двери, лезут в окна, облакаются плотью, и люди вздрагивают во сне, с губ срывается невнятный лепет... А когда мы бодрствуем — разве и это не есть сон, только светлее? Все мы лунатики, и наши дневные действия — тот же сон, просто более ясный и четкий. Можно ли нас осуждать за

это? За какой-нибудь час наш дух может мысленно сделать больше, чем неповоротливый механизм нашего тела за целые годы. Грех заключен в самой мысли. Подхватит ли ее наше тело и превратит ли ее в действие — это уж дело случая.

*Входит Сен-Жюст.*

Кто там вошел? Свет! Свет!

Сен-Жюст. Ты не узнаешь меня по голосу?

Робеспьер. Ах, это ты, Сен-Жюст!

*Служанка приносит свечи и уходит.*

Сен-Жюст. Ты один?

Робеспьер. Только что ушел Дантон.

Сен-Жюст. Я его встретил в Пале-Рояле, когда шел сюда.

Он опять играет в революционера, все время острил, обнимался с санкюлотами, гризетки хватили его за ляжки, люди на улицах разевали рты и шепотом передавали друг другу, что он сказал... Мы можем потерять преимущество внезапности. Долго ты будешь колебаться? Мы начнем действовать без тебя. Мы полны решимости.

Робеспьер. Что вы собираетесь делать?

Сен-Жюст. Торжественно созвать вместе Законодательную комиссию, Комитет спасения и Комитет безопасности.

Робеспьер. К чему такие сложности?

Сен-Жюст. Мы должны похоронить драгоценный труп с почестями — как жрецы, не как убийцы. Калечить его нельзя — надо предать его земле со всеми потрохами.

Робеспьер. Говори яснее!

Сен-Жюст. Он будет погребен в воинском облачении, вместе с ним сойдут в могилу его лошади и его рабы: Лакруа...

Робеспьер. Вот уж кто настоящий паразит; в прошлом стряпчий, а ныне генерал-лейтенант республики. Дальше!

Сен-Жюст. Эро-Сешель!

Робеспьер. Красивая голова!

Сен - Жю ст. Он был красивой заглавной буквой конституционного акта; теперь нам эти украшения ни к чему; мы его сотрем... Филиппо, Камилл.

Робеспьер. И его тоже?

Сен - Жю ст. Так я и думал. *(Протягивает Робеспьеру бумагу.)*  
Вот почитай!

Робеспьер. А, «Старый кордельер»! И это все? Да Камилл же просто ребенок! Он над вами посмеялся.

Сен - Жю ст. Ты читай, читай! Вот здесь! *(Показывает в тексте.)*

Робеспьер *(читает)*. «Этот кровавый мессия Робеспьер с разбойниками Кутоном и Колло ошую и одесную устраивает Голгофу не себе, а другим. Внизу, как Мария и Магдалина, преклоняют колена гильотинные фурии. Сен-Жюст, как верный Иоани, возвещает Конвенту апокалипсические откровения своего учителя; голову свою он несет как дароносицу».

Сен - Жю ст. Он у меня понесет свою, как святой Дионисий!

Робеспьер *(продолжает читать)*. «Кто бы мог подумать, что отутюженный сюртук мессии станет саваном Франции, что его сухие, мелькающие над трибуной пальцы — гильотинные ножи... А ты, Барэр, который сказал, что на площади Революции чеканят монету! Впрочем, этот мешок со старьем лучше не ворошить. Он как вдова, похоронившая поддюжины мужей. Что с него взять? Уж такой у него дар — он видит гиппократову печать на лице человека за полгода до его смерти. А кому охота находиться в обществе мертвецов и вдыхать трупный запах?..». Значит, и ты, Камилл?.. Долой их! Всех долой! Только мертвые не возвращаются... Ты приготовил обвинительный акт?

Сен - Жю ст. Это проще всего. Ты ведь и сам намекал в якобинском клубе.

Робеспьер. Я хотел их запугать.

Сен - Жю ст. Мне остается только привести директивы в исполнение. Уж даю тебе слово — я устрою славную трапезу: спекулянтов на закуску и иностранцев на десерт.

Робеспьер. Тогда скорей — прямо завтра! Чтоб не тянуть!  
У меня что-то за последнее время сдают нервы... Только  
чтобы поскорей!

*Сен-Жюст уходит.*

*(Один.)* Да, кровавый мессия! Да, я устраиваю Голгофу не себе, а другим!.. Тот спас людей своей кровью, а я — их собственной. Он заставил их самих согрешить, а я беру грех на себя. Он испытал сладость страдания, а я терплю муку палача. Кто принес бóльшую жертву — я или он? Глупцы! Что мы все смотрим и смотрим только на одного? Поистине в каждом из нас распинают сына человеческого, все мы истекаем кровавым потом в Гефсиманском саду, но никто, никто еще не спас другого кровью своих ран. Мой Камилл!.. Все от меня уходят... Вокруг пустыня. Я совсем один.

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КОМНАТА В ДОМЕ ДАНТОНА

*Дантон, Лакруа, Филиппо, Парис, Камилл,  
Демулен.*

**Камилл.** Скорее, Дантон, нам нельзя так убивать время!

**Дантон** (*одеваясь*). А оно нас убивает... Какая все-таки скука — каждый раз сначала натягивать рубаху, а потом штаны, вечером заползать в кровать, а утром выползать из нее, всегда ставить одну ногу перед другой, — и никакой надежды на перемену. Все это очень печально — миллионы людей делали так до нас, и миллионы людей будут делать так после нас, и ко всему прочему мы состоим из двух половинок, каждая из которых делает то же самое, так что все совершается дважды... Все это очень печально.

**Камилл.** Оставьте эту ребячливую болтовню!

**Дантон.** Умиравшие часто впадают в детство.

**Лакруа.** Своей нерешительностью ты сам себе роешь могилу и еще утянешь туда за собой всех своих друзей. Скажи этим трусам, что пора собираться вокруг тебя, обратись и к Болоту и к Горе! Кричи о тирании дедемвиров, говори о кинжалах, взывай к памяти Брута! Ты так запугаешь своих слушателей, что вокруг тебя соберутся даже те, кого сейчас преследуют как соучастников Эбера! Доверься своему гневу! Давайте по крайней мере умрем достойно — не безоружными и униженными, как этот жалкий Эбер!

**Дантон.** У тебя плохая память. Ты ведь сам назвал меня мертвым святым. Ты был прав больше, чем думал. Я побывал в секциях; меня встречали с почестями, но физиономии были как на похоронах. Да, я уже реликвия, а реликвии сваливают на помойку. Ты был прав.

Л а к р у а. Но как же ты до этого допустил?

Д а н т о н. Как допустил? Да просто мне все осточертело. Таскаться в одном и том же камзоле и заглаживать одни и те же складки! С ума сойдешь от скуки. Быть жалким инструментом с одной струной, которая издает всегда только один звук, разве это жизнь? Я хотел покоя. И я его дождался; революция отправляет меня на покой, — правда, иначе, чем я думал. Но даже если!.. На кого нам опереться? Разве что сравить наших шлюх с гильотинными фуриями — это еще мы можем. А больше я никаких шансов не вижу. Давай прикинем: якобинцы заявили, что на повестке дня — добродетель, кордельеры называют меня палачом Эбера. Совет Коммуны кается... Конвент — вот тут можно было бы попробовать! Но это привело бы к новому тридцать первому мая — добровольно они не уступят. Робеспьер — догма революции, его не дадут вычеркнуть. Да это и не удалось бы. Не мы сделали революцию — революция сделала нас.

Но даже если б это удалось — уж лучше пусть меня гильотинируют, чем я сам буду рубить головы. Я сыт по горло. Мы все люди — зачем же нам грызться друг с другом? Нам бы сесть рядышком да передохнуть. При нашем сотворении вышла ошибка; чего-то нам не хватает, я не знаю чего, но в кишках друг у друга мы этого не откапаем, так стоит ли тогда вспарывать друг другу животы? Какие, к черту, из нас прозекторы!

К а м и л л. Еще торжественней можно было бы сказать: до каких пор человечество будет утолять свой вечный голод людоедством? Или еще: до каких пор мы, как потерпевшие кораблекрушение, будем сидеть на обломках и утолять свою жажду, высасывая кровь друг из друга? Или еще: до каких пор мы, жалкие алгебраисты плоти, в поисках неизвестного, непостижимого икса будем выводить свои уравнения кровью?

Д а н т о н. О, ты — громкое эхо!

К а м и л л. То-то! Пистолетный выстрел сразу звучит как раскат грома. Поэтому ты уж лучше не отпускай меня и держи при себе.

Ф и л и п п о. А Францию оставим на откуп палачам?

Д а н т о н. Ну и что? Людей это вполне устраивает. Они несчастны, этого достаточно, чтобы демонстрировать сострадание, благородство, добродетель или остроумие, чтобы вообще не подохнуть от скуки... Какая разница, умирают ли они на гильотине, от лихорадки или от старости? Тогда уж по крайней мере стоит уйти эффектно — расшаркаться под занавес и услышать за спиной гром аплодисментов. Это красиво, это для нас; мы ведь все еще стоим на подмостках, хотя под конец нас зарежут всерьез.

Опо и хорошо, что нам чуть-чуть укоротят жизнь; камзол был слишком широк, мы не могли заполнить его своим телом. Жизнь — коротенькая эпиграмма, и слава богу. У кого хватит духу и фантазии на эпос в пятидесяти или шестидесяти песнях? Пора уж понять, что этот драгоценный нектар надо пить не из чанов, а из ликерных рюмок; так хоть будет вкус — а в этой лохане не наскребешь и нескольких капель.

Вот вы говорите: кричи! А мне лень. Жизнь не стоит тех усилий, которые мы прилагаем для ее сохранения.

П а р и с. Так хоть беги тогда, Дантон!

Д а н т о н. А отечество — можно ли унести его на подошвах своих башмаков? И еще — это, пожалуй, самое главное — они не посмеют. (*Камиллу.*) Пошли, мой мальчик; говорю тебе — они не посмеют. Прощайте! (*Уходит с Камиллом.*)

Ф и л и п п о. Ушел...

Л а к р у а. И ведь сам не верит ни единому слову из того, что наговорил. Это все одна лень! Ему легче положить голову под гильотину, чем произнести речь в Конvente.

П а р и с. Что же нам теперь делать?

Л а к р у а. Пойдем домой и будем каждый, как Лукреция, репетировать достойную смерть.

## УЛИЦА

### *Гуляющие граждане.*

Гражданин. А моя Жаклин — ой, что я говорю: Корде... тьфу ты, как же ее... Кор...

Симон. Корнелии, сосед, Корнелия.

Гражданин. Да! Моя Корнелия родила мне парня!

Симон. Родила республике сына.

Гражданин. Республике — это как-то вообще; я бы сказал...

Симон. В том-то и дело! Не личное благо, а общее...

Гражданин. Ну конечно, конечно, жена тоже так говорит.

Уличный певец (*поет*).

«А рабочий народ  
Ох и весело живет!»

Гражданин. Теперь вот ломаю голову — как назвать.

Симон. Нареки его, к примеру, Мечом, Маратом!

Уличный певец.

«Он с утра до поздней ночи  
Спину гнет, спину гнет!»

Гражданин. Хорошо бы, тремя сразу — это ведь что-то означает, когда три?.. И чтобы как-нибудь так, знаешь... патриотически... Два уже есть: Марат, Робеспьер. А вот третье?

Симон. Орало.

Гражданин. Вот спасибо, сосед. Марат-Орало-Робеспьер — отличные имена. Это здорово.

Симон. Я тебе скажу: груди твоей Корнелии, как сосцы римской волчицы — э, нет, это не пойдет. Ромул был тиран. Не пойдет.

### *Проходят.*

Нищий (*поет*). «В землю нас зароят, порастем травой...». Добрые господа, прекрасные дамы!

Первый господин. Работать надо, любезный, ишь как отъелся!

Второй господин. На! *(Дает нищему монету.)* Рука лоснится, как шелковая. Нет, они просто обнаглели.

Нищий. А откуда у вас сюртук, господин хороший?

Второй господин. Работать, работать надо! И у тебя такой же будет. Приходи ко мне, я найду тебе работу. Я живу...

Нищий. А для чего вы работали, господин хороший?

Второй господин. Вот болван! Чтобы заработать себе этот сюртук.

Нищий. Стало быть, вы мучились, чтобы получить удовольствие. А не все равно, чем доставить себе удовольствие — сюртуком или такими вот лохмотьями?

Второй господин. Дда, конечно...

Нищий. Так что я, дурак, что ли? Все едино. Солнышко пригреет, только и всего. *(Поет.)* «В землю нас зарюют, порастем травой...».

Розали *(Аделаиде)*. Знаешь, пошли-ка отсюда, солдаты идут, а у нас со вчерашнего дня крошки во рту не было.

Нищий. «Всех нас в ней зарюют, в той земле сырой». Добрые дамы и господа!

Солдат. Стоп! Куда мы так спешим, детки? *(Розали.)* Сколько тебе лет?

Розали. Столько, сколько моему мизинцу.

Солдат. Ишь какая колючая!

Розали. Зато ты, я смотрю, туповат.

Солдат. А ты меня пачочи! *(Поет.)*

Ах, Кристина, не беги,

Или надоело?

Розали *(подхватывает)*.

Нет, солдатики мои,

Я б еще хотела!

*Появляются Дантон и Камилл.*

Дантон. Смотри, какое веселье!.. Ты ничего не чувствуешь в воздухе? Такая духота, будто атмосфера вся насыщена испарениями блуда. Прямо хоть срываай штаны, прыгай в

толпу п валяй с кем-нибудь... как собаки в подворотне.

*Проходят.*

Молодой человек. О мадам! Колокольный звон, деревья в лучах заката, мерцание первой звезды...

Мадам. Аромат цветов! Ах эти простые радости, скромные наслаждения, даруемые нам природой! (*Дочери.*) Смотри, смотри, Евгения! Только непорочной добродетели дано все это видеть.

Евгения (*целует матери руку*). Ах, мама, я вижу только вас!

Мадам. Милое дитя!

Молодой человек (*на ухо Евгении*). Видите вон ту симпатичную даму под руку с пожилым господином?

Евгения. Я ее знаю.

Молодой человек. Говорят, что парикмахер нарочно стрижет ее под девочку.

Евгения (*хохочет*). Злюка!

Молодой человек. А старик-то важно как вышагивает; видит, что почечка набухает, и прогуливает ее под солнцем, а сам, наверное, воображает, что он и есть тот дождь, от которого она наливается.

Евгения. Фу, какое неприличие! Я сейчас покраснею.

Молодой человек. О, тогда я побледнею!

*Проходят.*

*Появляются Дантон и Камилла.*

Дантон. Только не думай, что я способен на что-нибудь серьезное. Не могу понять, почему люди не останавливаются посреди улицы и не хохочут друг другу в лицо, почему не слышно хохота из окон и из могил, почему не лопается от хохота небо и не корчится от смеха земля.

*Проходят.*

Первый господин. Это поразительное открытие, уверяю вас! Оно совершенно изменит весь облик технических наук.

Человечество гигантскими шагами идет к своему высокому назначению.

Второй господин. А вы уже видели новую пьесу? Это прямо вавилонская башня! Кружево арок, лестниц, переходов, и все это так легко и смело взметнулось ввысь, как фейерверк, — просто голова кружится. Какой причудливый талант! *(В смущении останавливается.)*

Первый господин. Что с вами?

Второй господин. Ничего, ничего! Будьте добры, подайте мне руку, мсье, — лужа! Хоп! Благодарю вас. Чуть не попал — вот была бы история!

Первый господин. Надеюсь, вы не очень испугались?

Второй господин. Да, земля наша так ненадежна. Того и гляди, провалишься в первую же дыру. Осторожно надо ходить. Но в театр загляните — очень советую!

#### КОМНАТА В ДОМЕ ДАНТОНА

*Дантон, Камилл, Люсиль.*

Камилл. Нет, им обязательно подавай топорные суррогаты, везде — в театрах, на концертах, на вернисажах, — иначе они ничего не видят и не слышат. Выведи им куклу, да так, чтобы была видна ниточка, за которую ее дергают, и заставь ее при каждом шаге громыхать пятистопным ямбом — для них это уже характер, уже пример! Возьми какую-нибудь страстишку, мораль, общую фразу, натяни на нее штаны, сделай руки и ноги, подмалюй физиономию и заставь терзаться три действия подряд, пока не обвенчается или не зарежется, — для них это уже идеал! Состряпай им какую-нибудь оперу, которая так же передает истинную жизнь человеческой души с ее взлетами и падениями, как глиняная дудка пение соловья, — для них это уже искусство!

А попробуй вытащить их из театра на улицу — фи, грубая проза! Нет, дурной копиист для них куда важнее господа бога. Где уж им заметить подлинную жизнь, которая каждую минуту рождается заново вокруг них и в них самих, как в горниле, как в реве прибоя! Они ходят в театр, читают стишки и романы, перенимают оттуда все ужимки. а люди, живые твари божьи для них — фи, какая пошлость! Нет, греки знали, что говорили, когда рассказывали про статую Пигмалиона — ожить-то она ожила, но детей ей боги не дали.

**Дантон.** А возьми художников — они обращаются с жизнью, как Давид: когда в сентябре из тюрем вышвыривали на улицу тела убитых, он хладнокровно делал с них эскизы и говорил: «Я хочу подстеречь последние конвульсии жизни в телах этих злодеев».

*Дантона зовут из-за сцены, он выходит.*

**Камилл.** А ты что скажешь, Люсиль?

**Люсиль.** Ничего. Я так люблю смотреть на тебя, когда ты говоришь.

**Камилл.** А ты хоть слушаешь?

**Люсиль.** Ну конечно!

**Камилл.** Так прав я? Ты поняла, о чем я говорил?

**Люсиль.** Нет, ну что я поняла...

*Дантон возвращается.*

**Камилл.** Что там?

**Дантон.** Комитет спасения издал указ о моем аресте. Меня предупредили и предложили убежище... Хотя, значит, моей головы; ну что ж, пускай берут. Все это шарлатанство мне надоело. Я сумею умереть достойно; это легче, чем жить.

**Камилл.** Дантон, но ведь еще не поздно!

**Дантон.** Поздно... Но я никак не мог подумать...

**Камилл.** Нельзя же быть таким безвольным!

Дантон. Это не безволие. Просто я устал. У меня горят подошвы.

Камилл. Куда ты собираешься идти?

Дантон. Куда! Если бы я знал!

Камилл. Нет, серьезно — куда ты?

Дантон. Прогуляться, мой мальчик. Прогуляться. *(Уходит.)*

Люсиль. О, Камилл!

Камилл. Ну успокойся, малышка!

Люсиль. Когда я подумаю, что они и эту голову... Камилл, но это же безумие! Или я схожу с ума?

Камилл. Успокойся. Дантон и я — не одно и то же.

Люсиль. Земля такая огромная, и на ней столько всего — почему именно эту голову? Почему у меня хотят ее отнять? Я этого не перенесу. Да и что они с ней будут делать?

Камилл. Я же говорю тебе — не беспокойся. Вчера я разговаривал с Робеспьером: он очень приветлив. Между нами есть несогласия, это правда; но ведь это всего лишь расхождения во взглядах.

Люсиль. Сходи к нему еще!

Камилл. Мы сидели с ним за одной партией. Он всегда был угрюмым и замкнутым. Я один бывал у него и даже иногда его смешил. Оп в те годы любил меня. Я пойду.

Люсиль. Прямо сейчас, милый? Иди! И возвращайся скорей! Нет, погоди! *(Целует его.)* Еще раз! Ну вот. Теперь иди! Иди...

*Камилл уходит.*

Какое ужасное время! Вот случится такое — и что делать? Надо взять себя в руки. *(Поет.)*

«И кто это слово придумал,  
Постылое слово — «прощай»?»

Ой, что это я пою? Не к добру эта песня пришла мне в голову... Когда он уходил, мне вдруг показалось, что он уже никогда не оглянется и так и пойдет все дальше от меня, все дальше.

Как пусто в комнате; и окна распахнуты, как после покояника. Я здесь одна не вынесу. (*Уходит.*)

#### ПУСТЫННАЯ МЕСТНОСТЬ НА ОКРАИНЕ ГОРОДА

*Дантон один.*

Дантон. Не пойду дальше. Не хочу осквернять тишины своей одышкой и шарканьем своих башмаков. (*Садится. После паузы.*) Говорят, есть такая болезнь, от которой человек теряет память. Наверное, смерть — это что-то похожее. А иногда мне вдруг кажется, что смерть действует еще сильнее и убивает *все*. Если б это было так!.. Но тогда, значит, я бежал, как истый христианин, чтобы спасти своего врага — свою память.

Место надежное — но для моей памяти, а не для меня; мне надежней могила — она по крайней мере даст забвение. Она убьет мою память. А здесь моя память останется жить и убьет меня. Я или она? Ответ ясен. (*Встает и поворачивается лицом к городу.*) Я заигрываю со смертью. Так приятно флиртовать с ней издали, наводя на нее лорнет.

Собственно говоря, вся эта история просто смешна. Есть во мне какое-то ощущение устойчивости, которое говорит мне: завтра все будет так же, как сегодня, и послезавтра, и всегда будет так, как сейчас, и весь этот шум — попусту. Меня хотят запугать. Они не посмеют. (*Уходит.*)

#### КОМНАТА В ДОМЕ ДАНТОНА

*Ночь.*

*Дантон стоит у окна.*

Дантон. Неужели это никогда не кончится? Не догорит этот свет, не заглохнет этот звук? Неужели никогда не станет

темно и тихо, чтобы мы не читали в глазах друг друга, не видели, не слышали гнусных наших деяний? Сентябрь!..

Г о л о с Ж ю л и (*снизу*). Дантон! Дантон!

Д а н т о н. Да?

Ж ю л и (*входя в комнату*). Что ты кричал?

Д а н т о н. Я кричал?

Ж ю л и. Ты говорил про какие-то гнусные деяния, а потом застонал и выкрикнул: «Сентябрь!»

Д а н т о н. Я? Я.. Нет, я ничего не говорил; я даже и подумать-то едва осмелился; это были еле слышные, запретные мысли.

Ж ю л и. Ты весь дрожишь, Дантон!

Д а н т о н. Еще бы не задрожать, когда на всю улицу орут стены! Когда мое тело так разбито, что безумные, пуганые мысли уже не подчиняются ему и говорят устами этих камней! Как это все странно...

Ж ю л и. Жорж, бедный мой Жорж!

Д а н т о н. Да, Жюли, все это очень странно. Я просто боюсь теперь думать, раз каждая мысль тут же высказывается вслух... Есть такие мысли, Жюли, — их никому нельзя слушать! Это плохо, что они, не успев родиться, уже кричат, как младенцы. Это плохо.

Ж ю л и. Да сохранит господь твой разум... Жорж! Жорж, ты узнаешь меня?

Д а н т о н. Ах, оставь! Узнаю прекрасно... Ты человек, и еще женщина, и, наконец, моя жена, и на земле пять частей света — Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, и дважды два — четыре. Видишь, я абсолютно в своем уме... Так я кричал про сентябрь? Ты ведь сказала?

Ж ю л и. Да, Дантон. Я услышала это через все комнаты.

Д а н т о н. Я подошел к окну (*выглядывает наружу*) — город спит, огни потухли...

Ж ю л и. Ребенок где-то плачет...

Д а н т о н. Я подошел к окну — и вдруг слышу рев, грем на весь город: «Сентябрь!»

Жюли. Тебе это просто пригрезилось, Дантон. Успокойся.

Дантон. Пригрезилось? О да, я грезил! Но это не то, что ты думаешь... Сейчас я тебе скажу — о, моя бедная голова совсем раскалывается, — сейчас, погоди! Вот!.. Земной шар подо мной начал задыхаться от бега; я пришпорил его, как бешеного коня, вцепился громадными ручищами в его гриву, впился коленями ему в ребра, откинул голову, волосы мои развевались над пропастью, — и он меня понес! Я закричал от страха — и проснулся. Подошел к окну — и вот тут-то все и услышал, Жюли.

Чего оно хочет, это слово? Почему именно оно? Какое мне до него дело? Почему оно тянет ко мне свои кровавые лапы? Чем я досадил ему?.. О, помоги мне, Жюли, под-скажи, я не могу вспомнить! Это было в сентябре, да, Жюли?

Жюли. Войскам интервентов оставалось сорок часов марша до Парижа...

Дантон. Крепости все пали, в городе аристократы...

Жюли. Республика погибала.

Дантон. Да, погибала. Мы не могли оставлять врага у себя в тылу, мы были бы просто идиотами. Два врага на одной доске; мы или они — сильный сталкивает слабого. Это же яснее ясного!

Жюли. Да, да!

Дантон. Мы их перебили... Это не было убийством — это была война в тылу!

Жюли. Ты спас отечество.

Дантон. О да, конечно. Это была самооборона. Мы не могли иначе... Тот, на кресте, нашел удобный выход! Ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит!..

Надобно! Вот и у нас было это «надобно»! Кто осмелится проклясть руку, на которую уже пало проклятие этого долга? А кто сказал это «надобно»! — кто? Что это такое в нас прелюбодействует, убивает, крадет и лжет?

Марионетки... Марионетки, подвешенные на веревках неведомых сил... Нигде, ни в чем мы не бываем самими собой! Мечи, которыми рубятся призраки, — только рук не видно, как в сказках... Ну вот, я успокоился.

Жюли. Совсем успокоился, родной?

Дантон. Да, Жюли. Пойдем. Пойдем спать!

#### УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ДАНТОНА

*Симон. Солдаты гражданского патруля.*

Симон. Который пробил час в ночи?

Первый солдат. Чего в ночи?

Симон. Час в ночи!

Первый солдат. Да много их от захода до восхода.

Симон. Болван, времени сколько?

Первый солдат. А ты на свой будильник погляди. Сейчас как раз под одеялами дубки подымаются.

Симон. Нам пора наверх! Вперед, граждане солдаты! Мы отвечаем за него головами. Живым или мертвым! Рука у него тяжелая. Я пойду вперед, граждане солдаты! Дорогу свободе!.. Позаботьтесь о моей жене. Ей не придется меня стыдиться!

Первый солдат. Позаботимся, позаботимся. Опа, я слышал, и так не больно тебя стыдит.

Симон. Вперед, граждане солдаты, отечество зовет на подвиг!

Второй солдат. Лучше бы отечество на обед нас позвало! Сколько дырок в людских головах понаделали, а в собственных штанах не заделали ни одной.

Первый солдат. Может, ты ширинку свою хочешь заделать? Ха-ха-ха!

Другие солдаты. Ха-ха-ха!

Симон. Вперед, вперед!

*Врываются в дом Дантона.*

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ

### *Группа депутатов.*

Лежандр. До каких пор будет продолжаться это избивание депутатов? Уж если Дантон под угрозой, то что же говорить об остальных?

Первый депутат. Но что можно сделать?

Второй депутат. Пусть ему дадут выступить перед Конвентом. Тогда успех обеспечен. Что они могут противопоставить его голосу?

Третий депутат. Это невозможно. Ведь уже есть специальный декрет.

Лежандр. Отменить его или сделать исключение!.. Я подам запрос. Надеюсь, вы меня поддержите.

Председатель Конвента. Объявляю заседание открытым.

Лежандр (*поднимается на трибуну*). Истекшей ночью были арестованы четыре депутата Национального Конвента. Я знаю, что среди них — Дантон. Имена других мне неизвестны. Но кто бы они ни были — я требую, чтобы им было дано право выступить перед Конвентом.

Граждане депутаты! Я торжественно заявляю, что Дантон так же чист перед вами, как я, а я не думаю, что вы можете меня в чем-нибудь упрекнуть. Я не хочу обвинять никого из членов Комитета спасения или Комитета общественной безопасности, но у меня есть серьезные основания подозревать, что здесь замешаны личные страсти и личная ненависть, и они хотят отнять у свободы ее самых достойных сынов. Человек, единственно своей энергией спасший Францию в тысяча семьсот девяносто втором году, заслуживает того, чтобы его выслушали. Он вправе требовать этого, если его обвиняют в государственной измене.

*Волнение в Конвенте, возгласы одобрения.*

Несколько голосов. Мы поддерживаем предложение Лежандра

Один из депутатов. Нас избрал народ. Без согласия избирателей никто не может изгонять нас отсюда!

Другой депутат. От ваших слов несет мертвечиной; вашими устами говорят жирондисты! Вы хотите привилегий? Перед мечом закона все головы равны!

Третий депутат. Мы не позволим, чтобы Комитеты вырвали законодателей из убежища закона и швыряли их под нож гильотины!

Четвертый депутат. Для преступления нет убежищ! Это для коронованных преступников убежище — трон!

Пятый депутат. Только паразиты апеллируют к праву убежища!

Шестой депутат. Только убийцы его не признают!

Робеспьер. Небывалое возбуждение, которое царит на нашем собрании, свидетельствует о том, что речь идет об очень серьезных вещах. Удастся ли некоторым людям одержать ныне верх над отечеством — вот как стоит вопрос... Как вы могли настолько отойти от своих принципов, что готовы сегодня предоставить отдельным лицам то, в чем вчера отказали Шабо, Делоне и Фабру? Почему такое предпочтение? Мне нет дела до похвал, которые кое-кто расточает здесь себе и своим друзьям! Мы слишком хорошо знаем цену этим похвалам! Нас не интересует, совершил ли данный человек тот или иной патриотический поступок; нас интересует весь его политический облик... Лежандр уверяет, что не знает имен арестованных. Но их знает весь Конвент. Его друг Лакруа — среди них. Почему вдруг Лежандр этого не знает? Да потому что он, наверное, понимает, что защищать Лакруа было бы уж вовсе откровенным бесстыдством! Он назвал только Дантона, полагая, очевидно, что это имя дает какие-то привилегии. Нет! Мы не признаем никаких привилегий, никаких кумиров!

*Аплодисменты.*

Робеспьер. Чем Дантон лучше Лафайета и Дюмурье, чем он лучше Бриссо, Фабра, Шабо, Эбера? Чего такого нельзя сказать о нем из того, что говорят о них? Разве их выщадили? Чем он заслужил преимущества перед другими согражданами? Тем, что некоторые обманутые и те, кто потом распознал обман, сплотились когда-то вокруг него, чтобы под его началом ринуться к удаче и власти?.. Чем больше он обманывал патриотов, доверявших ему, тем немумолимей он должен испытать на себе всю строгость истинных друзей свободы!

Вас хотят запугать злоупотреблением властью, заключенной в ваших руках. Они кричат о деспотизме Комитетов, как будто доверие, оказанное вам народом и вами этим Комитетам, не является лучшей гарантией их патриотизма. Они делают вид, что безвинно дрожат. Но я говорю вам: кто в эту минуту дрожит, тот сам виноват, ибо никогда не дрожит невинность перед оком общественной бдительности!

*Бурные аплодисменты.*

Меня тоже хотели запугать; мне намекали, что если опасность приближается к Дантону, ей недалеко и до меня. Мне писали письма, друзья Дантона осаждали меня, надеясь на то, что память о старой дружбе и слепая вера в несуществующие добродетели умерят мою беззаветную преданность делу свободы... Этим людям я заявляю: никто не в силах остановить меня, даже если опасность, угрожающая Дантону, угрожает и мне. Нам всем не помешает пемюжко больше мужества и душевного величия. Только преступники и трусы со страхом взирают на смерть ближних, потому что боятся беспощадного света истины, от которого их раньше заслоняла толпа соучастников. Но если такие души и есть на сегодняшнем собрании, то есть среди вас и герои. Предателей не так уж много; нам

нужно снять всего несколько голов, и отечество будет спасено.

*Аплодисменты.*

Я призываю вас отклонить предложение Лежандра.

*Все депутаты встают в знак единодушного одобрения.*

Сен - Жю ст. Среди присутствующих, кажется, есть слишком чувствительные натуры, которым становится не по себе от слова «кровь». Постараемся с помощью некоторых общих наблюдений убедить их в том, что мы не более безжалостны, чем сама природа и наше время. Природа бесстрастно и неотвратимо следует своим законам; вступив с ними в конфликт, человек погибает. Внезапные изменения в атмосфере, в расплавленной земной магне, нарушение равновесия водных масс, эпидемии, извержения вулканов, наводнения уничтожают людей тысячами. А что остается в результате? Незначительные, едва ощутимые перемены в физической природе, которые прошли бы почти незамеченными, не будь трупов на их пути.

Так неужели же революции духа должны быть щепетильней катаклизмов природы? Разве идея, как и физический закон, не имеет такого же права уничтожать все, что встает на ее пути? Разве событие, меняющее всю моральную природу человечества, не имеет права прокладывать себе дорогу по трупам? Абсолютная идея пользуется в духовной сфере нашими руками так же, как в сфере физической она пользуется вулканами и потопами. Какая разница — умирают люди от эпидемии или от революции? Прогресс человечества медленен — отсчет здесь ведется столетиями; и каждый шаг его оставляет за собой могилы целых поколений. Открытие простейших законов и принципов стоило жизни миллионам людей на этом пути. Не ясно ли, что в эпоху, когда ускоряется поступь истории, выдыхается больше людей?

Вывод краток и прост: поскольку все мы созданы в равных условиях, мы все равны, если не считать различий, идущих от самой природы; поэтому каждый может обладать преимуществами, но никто не может обладать преимущественными правами — ни отдельный человек, ни группа индивидов.

Каждое звено этого принципа, примененного к действительности, отмечено своими жертвами; четырнадцатое июля, десятое августа, тридцать первое мая — вехи на его пути. Этот принцип был осуществлен за четыре года, в то время как в обычных условиях для этого понадобилось бы столетие, и вехи отмечались бы уже целыми поколениями. Что ж тут удивительного, если могучий поток с каждым новым разливом, после каждого нового поворота выбрасывает на берег трупы?

Нам предстоит сделать еще несколько логических выводов из этого принципа; неужели лишняя сотня трупов должна нас остановить?.. Моисей повел свой народ через Красное море в пустыню и лишь тогда основал новое царство, когда выродившееся поколение стариков перемерло в пути. Законодатели! У нас нет ни Красного моря, ни пустыни, но у нас есть война и гильотина.

Революция подобна дочерям Пелия: она разрушает человечество на куски, чтобы омолодить его. Из этого кровавого котла человечество, как земля из пучины потопа, восстановит во всей своей первозданной мощи.

*Пескончаемый гул аплодисментов. Некоторые депутаты встают в порыве энтузиазма.*

Мы призываем всех тайных врагов тирании в Европе и на земном шаре, всех, кто носит кинжал Брута в складках плаща, — разделить с нами этот торжественный миг.

*Зрители на галерее и депутаты в зале запевают «Марсельезу».*

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ОДНА ИЗ ЗАЛ ЛЮКСЕМБУРГСКОГО ДВОРЦА,  
ПРЕВРАЩЕННОГО В ТЮРЬМУ

*Шометт, Пейн, Мерсье, Эро-Сешель и другие заключенные.*

**Шометт** (*трогая Пейна за рукав*). Послушайте, Пейн, — надо же было такому со мной случиться! Голова раскалывается. Развлеките меня своими выкладками. Уж больно мерзко на душе.

**Пейн**. Ну что ж, иди сюда, Анаксагор, и внимай моему Катехизису... Бога не существует, потому что либо бог создал мир, либо нет. Если он его не создал, то мир имеет причину в самом себе и никакого бога нет, потому что бог только в силу того становится богом, что он содержит в себе причину всего бытия. Но он и не мог создать мир, потому что либо мир вечен, как бог, либо у него есть начало. Если справедливо последнее, то, стало быть, бог создал мир в какой-то определенный момент, а это значит, что бог после целой вечности покоя однажды обратился к действию, то есть претерпел в себе изменение, которое позволяет применить к нему категорию времени. Но и то и другое противоречит сущности божества. Следовательно, бог не мог создать мир. С другой стороны, все мы прекрасно знаем, что мир — или по крайней мере наше «я» — существует и, следовательно, не может не иметь причины в себе самом или в чем-то другом, что не есть бог. Следовательно, бога не может быть, что и требовалось доказать.

**Шометт**. Благодарю вас, Пейн, вы меня поистине просветили!  
**Мерсье**. Нет, постойте, Пейн!.. А если мир вечен?

Пейн. Тогда он уже не творение бога, а одно целое с ним или атрибут его, как говорит Спиноза; тогда бог присутствует во всем — в вас, дражайший, в нашем Анаксагоре и во мне. Это было бы совсем неплохо, но в таком случае вы должны признать, что немногого стоит господь, который в каждом из нас мог бы простужаться, подхватывать триппер, оказываться замураванным заживо или по крайней мере рисовать себе эти безотрадные картины.

Мерсье. Но причина должна же быть!

Пейн. А этого никто и не отрицает. Но кто вам сказал, что эта причина есть бог, то есть, в нашем представлении, совершенство? Вы считаете мир совершенным?

Мерсье. Нет.

Пейн. Так как же вы хотите из несовершенного следствия вывести совершенную причину? Вольтер это сделал потому, что боялся испортить отношения с богом и с королями. Уж если всего-то у тебя есть один разум и даже с его помощью ты не умеешь или не отваживаешься додумывать мысли до конца — ты просто шарлатан.

Мерсье. Тогда я спрошу вас: может ли вообще совершенная причина иметь совершенное следствие, то есть может ли совершенство создать что-либо совершенное? Вот вы сказали, что совершенство заключается в том, чтобы иметь причину в самом себе, а все созданное никогда не может иметь причину в самом себе, — стало быть, совершенство невозможно!

Шометт. Да замолчите вы наконец! Замолчите!

Пейн. Успокойся, философ!.. Вы правы. Но надо ли богу вообще что-то создавать? Раз он может создавать только несовершенное — не лучше ли ему совсем за это не браться? Слишком уж это по-человечески — мыслить себе бога только как создателя. Если мы сами всю жизнь мечемся и суетимся, только чтобы убедить себя в том, что мы существуем, — значит, надо и богу приписывать эту жалкую нужду? Когда дух наш пытается постичь суть этого

вечного, покоящегося в себе блаженства — неужели сразу надо воображать, что вот сейчас оно протянет руку к столу и начнет лепить на нем человеческие фигурки? От неизбежной потребности любить, как мы многозначительно шепчем на ухо друг другу. К чему это все? Только чтобы внушить себе, что мы чада господни? Мне бы отца попроще, не столь высокопоставленного, тогда мне по крайней мере не придется попрекать его тем, что я, как беспризорный подкидыш, рос в конюшне или на галерах

Устраните несовершенство мира, и только тогда вы явите людям бога. Спиноза попытался это сделать. Можно отрицать зло, но не страдания; только разум может доказать существование бога — чувство против этого восстает. Заменить себе, Анаксагор: почему я страдаю? — на этом вопросе зиждется атеизм. Малейшая судорога страдания — пронзи она всего один какой-нибудь атом — раскалывает космос пополам.

Мерсье. А как же тогда быть с моралью?

Пейн. Сначала вы выводите бога из морали, а потом мораль из бога!.. Что вы всё поситесь со своей моралью? Я вот не знаю, существуют ли зло и добро вообще, и тем не менее не вижу необходимости менять свое поведение. Я действую так, как того требует моя природа: что ей подходит, то для меня хорошо, и я это делаю; что ей претит, то для меня плохо, и я этого не делаю и возмущаюсь, когда оно встает мне поперек пути. Вы можете, как говорится, блюсти добродетель и бороться с так называемым пороком, но презирать из-за этого своих противников — жалкая роль!

Шометт. Да, да, вот это верно!

Эро. О мудрый Анаксагор, можно ведь сказать и так: если бог — это все, то он должен быть в то же время и своей противоположностью, то есть совершенством и несовершенством, злом и добром, блаженством и страданием; правда, сумма тогда получится равной нулю, все взаимно сокра-

тится, и в итоге будет — *ничто*. Впрочем, тебе-то хорошо: ты можешь спокойно боготворить свою мадам Моморо, при рода создала в ней шедевр, а у тебя в панталонах — четки для почных бдений.

Шометт. Благодарю вас, господа! (*Уходит.*)

Пейн. Он еще не решился, но подождите — кончится тем, что он попросит сразу и соборовать его, и положить ногами к Мекке, и совершить над ним обряд обрезания. Он очень уж боится, что не испробует всех путей к спасению.

*Стража вводит Дантона, Лакруа, Камилла и Филиппо.*

Эро (*подбегает к Дантону и обнимает его*). Доброе утро! То есть доброй ночи! Я уж не спрашиваю, как ты спал, — как ты будешь спать?

Дантон. Ко сну надо отходить с улыбкой.

Мерсье (*Пейну*). О, этот дог с крыльями голубки! Он злой гений революции; он дерзнул посягнуть на родную мать, но она оказалась сильнее его.

Пейн. Его жизнь и его смерть — равно большое несчастье. Лакруа (*Дантону*). Я не думал, что они придут так скоро.

Дантон. Я-то знал. Меня предупредили.

Лакруа. И ничего не сказал?

Дантон. А зачем? Умереть от удара — лучшая смерть. Или ты хотел бы сначала поболеть? А потом — я не думал, что они посмеют. (*Эро.*) Лучше лечь в землю, чем натирать мозоли, таскаясь по ней. Приятней использовать ее как подушку, а не как табуретку.

Эро. По крайней мере мы хоть не мозолистыми руками будем ласкать истлевшие ланиты красавицы Смерти.

Камилл. Напрасно стараешься, Дантон! Высунь ты язык хоть до шеи — все равно тебе не слизать им смертный пот со лба... О Люсиль, Люсиль! Господи, что же это такое!

*Заключенные окружают вновь прибывших.*

Дантон (*Шейну*). То, что вы сделали для блага своего отечества, я пытался сделать для своего. Мне повезло меньше — вот иду на эшафот. Ну что ж, спотыкаться не буду.

Мерсье (*Дантону*). Это тебе за кровь двадцати двух депутатов. Ты захлебнешься ею.

Один из заключенных (*Эро*). Власть народа и власть разума — это же одно!

Другой заключенный (*Камиллу*). Ну что, фонарный прокурор? Твои реформы в области уличного освещения не сделали жизнь во Франции светлее!

Третий заключенный. Оставьте его! Эти губы первыми произнесли слово «помилование». (*Обнимает Камилла*.)

*Многие заключенные следуют его примеру.*

Филиппо. Мы — священники, молившиеся вместе с умирающими; мы заразились от них и умираем от той же чумы. Несколько голосов. Удар, нанесенный вам, поразит и всех нас.

Камилл. Господа, я глубоко сожалею, что все наши усилия были напрасны. Я иду на эшафот, потому что не сдержал слез над участью стольких несчастных.

#### КОМНАТА

*Фукье-Тенвиль, Эрман.*

Фукье. Все готово?

Эрман. Трудновато нам придется; если бы не Дантон, все было бы легче.

Фукье. Пустим его первым.

Эрман. Он загибнотизирует присяжных; он ведь пугало революции.

Фукье. Главное — чтобы присяжные захотели.

Эрман. Средство-то у меня есть, но оно нарушит юридические нормы.

Фукье. Давайте его!

Эрман. Надо не выбирать присяжных по жребии, а подыскать надежных людей.

Фукье. Сойдет!.. Разделаемся со всеми сразу. Подсудимых — девятнадцать. Мы ловко их перемешали — подбавили четырех спекулянтов, нескольких банкиров и иностранцев. Пикантное получилось меню. Народу только того и надо... И так, надежные люди! Кто, например?

Эрман. Леруа. Он глух и потому ничего не услышит из того, что обвиняемые будут говорить. Уж с ним-то Дантон может орать до хрипоты.

Фукье. Очень хорошо. Дальше!

Эрман. Вилат и Люмьер. Первый не вылезает из пивной, второй спит на ходу; оба открывают рот только для того, чтобы сказать «виновен»... У Жирара принцип — раз человек предстал перед трибуналом, он уже не должен ускользнуть. Ренодеш...

Фукье. И этот тоже? Он же однажды помог выпутаться каким-то священникам...

Эрман. Не беспокойся! На днях он явился ко мне и потребовал, чтобы всем осужденным перед казнью делали небольшое кровопускание — для остратки. Его раздражает, что они так вызывающе держатся.

Фукье. Ах так! Прекрасно. Стало быть, я на тебя надеюсь.

Эрман. Все будет сделано.

#### КОРИДОР В ТЮРЬМЕ КОНСЬЕРЖЕРИ

*Лакруа, Дантон, Мерсье и другие заключенные.*

Лакруа (*одному из заключенных*). Неужели этих несчастных так много и все в таком жалком состоянии?

Заключенный. А вы до сих пор не догадывались по количеству гильотинных повозок, что Париж превращен в бойню?

М е р с ь е. Ну что, Лакруа? Равенство косит все головы подряд, лавина революции неукротима, гильотина гарантирует нам республику! Галерка аплодирует, римляне потирают руки от удовольствия и не слышат, что каждая из этих фраз сопровождается предсмертным хрипом убиенных. Последуйте за своими лозунгами до конца, до того момента, когда они воплощаются в жизнь. Оглянитесь кругом — все это вы говорили. Все это — мимическое воплощение ваших слов. Эти несчастные, их палачи и гильотина — все это ваши ожившие речи. Вы построили свои системы, как Баязет свои пирамиды, — из человеческих голов.

Д а н т о н. Ты прав — человеческая плоть нынче самый ходовой материал для строительства. В этом проклятие нашего века. Мою плоть тоже скоро пустят в дело... Ровно год, как я создал Революционный трибунал. Я прошу за это прощения у бога и у людей; я не хотел допустить повторения сентябрьских убийств, я надеялся спасти невинных, но эти медленные убийства со всеми их формальностями еще ужаснее, и они так же неотвратимы. Господа, я надеялся выпустить вас всех отсюда.

М е р с ь е. О, выйди-то мы выйдем.

Д а н т о н. Теперь я с вами; один бог знает, чем все это кончится.

#### РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ

Э р м а н (*Дантону*). Ваше имя гражданин?

Д а н т о н. Мое имя вам назовет революция. Я скоро обрету себе пристанище в небытии, а имя мое — в пантеоне истории.

Э р м а н. Дантон, Конвент обвиняет вас в заговоре с Мирабо, Дюмурье, герцогом Орлеанским, жирондистами, интервентами и сторонниками Людовика Семнадцатого.

Д а н т о н. Мой голос, который я так часто поднимал в защиту народа, легко опровергнет эту клевету. Пусть появятся

здесь ничтожные люди, обвиняющие меня, и я покрою их позором. Пусть придут сюда члены Комитетов, я буду отвечать только перед ними. Они нужны мне как обвинители и как свидетели. Пускай они покажутся. Впрочем, какое мне дело до вас и до вашего приговора? Я уже сказал: я найду себе скоро приют в небытии. Жизнь надоела мне, и пусть ее забирают. Я жажду избавиться от нее.

Эрман. Дантон, дерзость — свидетельство вины. Невинность хранит спокойствие.

Дантон. Личная дерзость достойна порицания, по гражданское мужество, которое я так часто проявлял в сражениях за свободу, — высочайшая из добродетелей. Вот моя дерзость и мое мужество, и ими я пользуюсь здесь во благо республики и против моих жалких обвинителей. Как я могу сдержаться, когда на меня возводят низкую клевету?.. От такого революционера, как я, нельзя ждать хладнокровной защиты. Такие люди — надежда революции, и чело их осеняет гений свободы.

*Аплодисменты в зале.*

Меня обвиняют в том, что я состоял в заговоре с Мирабо, с Дюмурье, с герцогом Орлеанским, что я ползал у ног ничтожных тиранов; меня заставляют держать ответ перед непреклонной и неумолимой справедливостью... О жалкий Сен-Жюст, ты ответишь перед потомками за это преступление!

Эрман. Я требую, чтобы вы отвечали спокойно! Вспомните Марата — он почтительно разговаривал со своими судьями.

Дантон. Вы осмелились поднять руку на Дантона — так не удивляйтесь, что он поднялся перед вами во весь рост! Я задавлю вас весомостью своих деяний... Я этим не горжусь. Нами управляет рок, но только великие натуры способны быть его исполнителями.

Это я объявил на Марсовом поле войну монархии; это я панес ей поражение десятого августа; я уничтожил ее два-

дцать первого января и бросил в лицо европейским монархам королевскую голову, как перчатку.

*Снова аплодисменты.*

*(Берет обвинительный акт.)* Когда я смотрю на этот позорный документ, я весь дрожу от гнева. Где они, те люди, которые якобы силой заставили Дантона в тот памятный день, десятого августа, выйти к народу? Кто эти необыкновенные люди, вдохнувшие в него энергию? Пусть покажутся мои обвинители! Я отвечаю за свои слова! Я разоблачу этих презренных негодяев и отшвырну их назад, в пустоту, из которой лучше бы они никогда не выползали!

Эрман *(звонит)*. Вы что, не слышите колокольчика?

Дантон. Голос человека, защищающего свою честь и свою жизнь, перекричит твой колокольчик!.. Это я раззадорил в сентябре юную поросль нашей революции трупами умерщвленных аристократов. Это мой голос ковал оружие для народа из золота аристократов и богачей. Это мой голос гремел, как ураган, и погребал клеветов деспотизма под лавиной ружейных штыков!

*Бурные аплодисменты.*

Эрман. Дантон, вы охрипли, вы слишком волнуетесь. Вам надо отдохнуть, свою речь вы закончите в следующий раз... Заседание переносится.

Дантон. Теперь вы знаете Дантона. Еще несколько часов — и вы сможете сказать: он почил в объятиях славы.

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ДВОРЕЦ. КАМЕРА В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

*Диллон, Лафлотт, надзиратель.*

Диллон. Болван, убери свой красный нос, светишь им мне прямо в глаза. Ха-ха-ха-ха!

Лафлотт. Молчал бы ты. Посмотри лучше на свою лыспну — чистый фонарь. Ослепнуть можно. Ха-ха-ха!

Надзиратель. Ха-ха-ха-ха! Вы, господин, наверное, и прочесть при таком фонаре можете? *(Показывает записку, которую держит в руке.)*

Диллон. Дай сюда!

Надзиратель. Господин, у меня в карманах пусто.

Лафлотт. А по штанам не видно — они прямо лопаются.

Надзиратель. То-то и оно — одни дырки сверкают. *(Диллону.)* Стыдно перед вашим сиятельством. Вы их подмажьте. А то при их тусклом свете вы ничего не разглядите.

Диллон. На, грабитель! И убирайся! *(Дает ему деньги.)*

*Надзиратель уходит.*

*(Читает.)* «Дантон запугал трибунал, присяжные растерялись, публика начала роптать. Зал ломился от наплыва народа. Вокруг Дворца правосудия собралась толпа и запрудила всю улицу. Достаточно было бы пригоршни денег, одной руки...». Гм! Гм! *(Принимается шагать взад и вперед по камере, отпывая время от времени из бутылки.)* Только бы выбраться на улицу хоть на секунду! Я не дам себя зарезать как барана. Выбраться бы на улицу!

Лафлотт. Вот и выберемся скоро — на повозку.

Диллон. Ты думаешь? Нет, до повозки еще останется несколько шагов. Этого достаточно, чтобы отметить каждый из них трупами децемвиров... Пора наконец честным людям поднять голову.

Лафлотт *(про себя)*. Тем лучше — легче будет ее снять. Давай, давай, старый осел, еще глоточка два — и я с тобой управлюсь.

Диллон. Мерзавцы! Кончится тем, что эти идиоты сами себя гильотинируют. *(Начинает почти бегать по камере.)*

Лафлотт *(в сторону)*. Нет, когда своими руками вернешь себе жизнь, ее можно прямо-таки снова полюбить, как собственное чадо. Не часто так бывает — вступишь со случа-

- ем в кровесмесительную связь и станешь сам себе отцом.  
И отец и сын сразу. Везучий Эдип!
- Д и л л о н. Трусами народ не накормишь. Женам Дантона и Камилла надо бросать в толпу банкноты. Они ей нужней, чем отрубленные головы.
- Л а ф л о т т *(в сторону)*. Глаза я себе не вырву. Они мне еще пригодятся, чтобы оплакать остолопа генерала.
- Д и л л о н. Поднять руку на Дантона! Кто же тогда в безопасности? Нет, страх должен их объединить.
- Л а ф л о т т *(в сторону)*. Все равно ему крышка. Так почему бы мне не паступить на труп, чтобы выкарабкаться из могилы?
- Д и л л о н. Только бы выйти на улицу! Людей я найду — старых солдат, жирондистов, аристократов. Мы взломаем тюрьмы. Договориться с заключенными мы сумеем.
- Л а ф л о т т *(в сторону)*. Ну да, конечно, подлостью пахивает. Ну и что? Мне даже интересно и это попробовать! Осточертело все одно и то же. А тут — угрызения совести, разнообразие! Свое дерьмо не пахнет. И к гильотине готовиться надоело — слишком долго ждать! В уме я раз двадцать к ней примерялся. Даже уже не щекотно — самый обыкновенный каюк.
- Д и л л о н. Надо передать записку жене Дантона.
- Л а ф л о т т *(в сторону)*. И потом — смерти я не боюсь, а вот боль... Ведь это может быть больно, кто знает? Говорят, правда, что это — секунда какая-нибудь. Но у боли счет времени иной — она и секунду делит на шестьдесят частей. Нет! Боль — единственный грех, и страдание — единственный порок; останусь-ка я добродетельным.
- Д и л л о н. Послушай, Лафлотт, куда запропастился этот болван? У меня есть деньги. Мы все сделаем. Надо ковать железо, пока горячо. Я уже все продумал.
- Л а ф л о т т. Конечно, конечно. Я сторожа знаю, я с ним поговорю. Положись на меня, генерал. Выберемся мы из этой дыры... *(отходя, в сторону)* чтобы попасть в другую: я в самую широкую — в мир, он в самую узкую — в могилу.

## КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

*Сен-Жюст, Барэр, Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенн.*

Барэр. Что пишет Фукье?

Сен-Жюст. Проведен второй допрос. Арестованные требуют вызова на процесс депутатов Конвента и членов Комитета спасения; они апеллируют к народу, жалуясь на то, что трибунал не выслушивает свидетелей. Страсти на площадях накалены до предела. Дантон изображал из себя Юпитера и потрясал гривой.

Колло. Тем легче будет Сансону ухватиться за нее!

Барэр. Но на улице нам показываться нельзя — торговки и всякие оборванцы могут нас изрядно потрепать.

Бийо. Народ только и ждет, кто бы его отхлестал — плетью или взглядом, все равно. Наглые физиономии, вроде дантоновской, ему нравятся. Такие лбы опаснее наследственных гербов — на них написано презрение к людям, аристократизм еще более утонченный. И разбивать эти лбы — долг каждого, кого раздражают взгляды свысока.

Барэр. Он как роговой Зигфрид — кровь казненных в сентябре сделала его неуязвимым... Что говорит Робеспьер?

Сен-Жюст. Делает вид, будто у него есть что сказать... Присяжные должны заявить, что они во всем разобрались, и закрыть судебное разбирательство.

Барэр. Невозможно. Это не выйдет.

Сен-Жюст. Их надо убрать любой ценой, даже если нам придется задушить их собственными руками. Дерзайте! Зря, что ли, Дантон учил нас этому? Революция не споткнется об их трупы; если же Дантон останется жив, он схватит ее за полу и, вот увидите, в конце концов изнасилует вашу свободу!

*Сен-Жюста зовут из-за сцены. Он уходит. Входит надзиратель.*

Надзиратель. В Сент-Пелажи умирают заключенные и требуют врача.

Бийо. Вот это уж ни к чему. Меньше работы судьям.

Надзиратель. Среди них есть беременные женщины.

Бийо. Тем лучше — не понадобится гробов для детей.

Барэр. Чахотка аристократа избавляет трибунал от лишнего заседания. Тут всякое лекарство — контрреволюция.

Колло (*берет бумагу из рук надзирателя*). Петиция. Подписана женским именем.

Барэр. Наверное, одна из тех, которые жаждут, что им предложат выбор между доской гильотины и постелью якобинца. Потом помрет, как Лукреция, только попозже: при родах, от рака или от старости... А не так уж и плохо было бы заменить Тарквиния такой вот добродетельной республиканке.

Колло. Эта стара. Мадам изволит требовать казни. Выражается изысканно: пишет, что стены тюрьмы давят на нее, как крышка гроба. А сидит при этом всего месяц. Не будем ломать голову над ответом. (*Пишет и читает.*) «Гражданка, тебе далеко еще не подошла пора желать смерти».

*Надзиратель уходит.*

Барэр. Сказано хорошо. Только знаешь, Колло, плохо, что гильотина начинает острословить. Люди бояться перестанут. Ни к чему такой фривольный тон...

*Сен-Жюст возвращается.*

Сен-Жюст. Только что поступил донос. В тюрьмах зреет заговор. Сообщил некий молодой человек по имени Лафлотт. Он сидел в одной камере с Диллоном. Диллон напился и проболтался.

Барэр. Этот перережет себе горло бутылкой. Такие случаи уже бывали.

Сен-Жюст. Диллон подбивает жеп Дантона и Камилла бросать деньги в толпу, сам собирается убежать, потом они

замышляют освободить арестованных и разогнать Конвент.

Барэр. Сказки.

Сен-Жюст. Вот мы их и убаюкаем этими сказками. Донос у меня в руках, обвиняемые дерзят, народ волнуется, — присяжных это припугнет... Я выступлю с заявлением в трибунале.

Барэр. Иди, иди, Сен-Жюст. Закатывай свои периоды, в которых каждая запятая — удар мечом, а каждая точка — отрубленная голова.

Сен-Жюст. Надо провести в Конвенте декрет, чтобы трибунал вел процесс без перерывов и удалял из зала суда любого обвиняемого, если тот не проявляет должного уважения к суду или мешает своим поведением его работе.

Барэр. У тебя революционный нюх; это звучит вполне умеренно, но действие свое окажет. Молчать ведь они не могут — Дантон обязательно должен орать.

Сен-Жюст. Я рассчитываю на вашу поддержку. В Конвенте есть люди, которые заражены той же болезнью, что и Дантон, и боятся такого же лечения. Они опять оживились и наверняка будут кричать о нарушении юридических норм...

Барэр (*прерывая его*). А я им скажу: римского консула, раскрывшего заговор Катилины и тут же наказавшего преступников смертью, тоже обвиняли в нарушении юридических норм. А кто были обвинители?

Колло (*с пафосом*). Иди, Сен-Жюст! Лавина революции неудержима. Свобода задушит в своих железных объятиях всех пигмеев, дерзнувших оплодотворить ее могучее чрево. Его величество Народ явится им, как Юпитер Семеле, в сверкании молний и превратит их в пепел. Иди, Сен-Жюст, мы поможем тебе обрушить карающую секиру на голову этих трусов!

*Сен-Жюст уходит.*

Барэр. Ты слышал про лечение? Они еще сделают из гильотины лекарство против сифилиса. Ведь они борются вовсе не с умеренными — они борются с пороком!

Бийо. Пока еще нам с ними по пути.

Барэр. Робеспьер хочет сделать из революции школу морали, а из гильотины кафедру.

Бийо. Или исповедальню.

Колло. Только ему придется там не сидеть, а лежать.

Барэр. Я надеюсь. Мир совсем перевернется, если так называемые честные люди будут вешать так называемых щеголей.

Колло (*Барэру*). Когда ты снова будешь в Клиши?

Барэр. Когда отвяжусь от врача.

Колло. Над этим святым местом сияет волосатая звезда, верно, Барэр? Ее игучие лучи иссушают твой костный мозг.

Бийо. Подождите, нежные пальчики несравненной Демайи еще извлекут у него этот мозг из оболочки и повесят на спину, как косичку.

Барэр (*пожимает плечами*). Тссс! Неподкупный не должен об этом знать.

Бийо. Ох уж этот импотент, возомнивший себя Магометом!

*Бийо и Колло выходят.*

Барэр. Звери! «Гражданка, тебе далеко еще не подошла пора желать смерти!» И как не отсохнет язык у того, кто произносит такие слова. А я что? Когда в сентябре толпа ворвалась в тюрьму, один из заключенных схватил нож, смешался с оравой убийц и вонзил его в грудь священника — и так спасся! Кто посмеет осудить его? Смешаюсь ли я с толпой убийц или сяду в Комитет спасения, воспользуюсь ли гильотинным или карманным пожаром — все едино, только обстоятельства несколько запутанны; принцип в обоих случаях одинаковый... А если он мог убить одного — мог ли он убить двух, трех, сотню? Где конец? Как с ячменным зерном — получается ли куча из двух, трех

или сотни зерен? Иди сюда, моя совесть, иди сюда, цыпленочек, цып-цып-цып, вот тебе зернышки!  
И все-таки я ведь не был заключенным? Я был под подозрением — это одно и то же. И меня ждала верная смерть. (*Уходит.*)

#### КОНСЬЕРЖЕРИ

*Лакруа, Дантон, Филиппо, Камилл.*

**Лакруа.** Ты здорово защищался, Дантон; пораньше бы тебе начать хлопотать о своей жизни — сейчас все бы выглядело иначе. Что, неприятно, когда смерть подходит вот так вплотную, и смердит, и становится все наглее?

**Камилл.** О, если б она хоть терзала и силой вырывала жизнь из теплых, еще трепещущих членов! Но чтобы вот так, с соблюдением всех формальностей — как в брачную постель со старухой! Подписываются документы, приглашаются свидетели, раздаются «аминь!», одеяло поднимается — и она медленно заползает к тебе и прижимается холодными телесами!

**Дантон.** Да, если бы это хоть была драка, когда вцепляются друг в друга когтями и зубами! А тут такое чувство, будто ты попал под мельничные жернова и грубая механическая сила медленно, хладнокровно выворачивает все твои конечности! Тебя умерщвляют механически!

**Камилл.** А потом лежать одному во влажных испарениях гнили, холодному, застывшему, а смерть будет медленно высасывать из тебя жизнь... Может быть, ты будешь гнить еще в полном сознании!

**Филиппо.** Успокойтесь, друзья! Мы как безвременники, семена которых высевают только к весне. И отличаемся мы от цветов только тем, что при пересадке будем несколько припахивать. Так ли уж это грустно?

**Дантон.** А так ли уж это приятно? С одной навозной кучи

на другую! О божественные линнеевские классы! Из одного класса в другой, из другого в третий и так далее? Мне надоели парты; я, как обезьяна, насидел из-за них мозоли на заднице.

Филиппо. Ну а чего ты хочешь?

Дантон. Покоя.

Филиппо. Покой ты найдешь только в раю.

Дантон. В небытии. Что может быть безмятежнее небытия? И если безмятежный покой есть рай, то, может быть, небытие и есть рай? Впрочем, я атеист. Проклятый закон: материя не может обратиться в ничто! А я и есть эта самая несчастная материя!.. Творец не поленился все заполнить, нигде не оставил пустого места, всюду толкотня. Небытие убило себя, творение — его разверстая рана, мы — капли его крови, мир — могила, в которой оно гниет... Я спятил, да? Но, согласитесь, разве я так уж неправ?

Камилл. Мир — Вечный Жид, небытие — смерть, но смерть невозможна. Как это там говорится?.. «О, почему умереть не могу я!»

Дантон. Мы все погребены заживо, похоронены, как короли, в двойных, тройных саркофагах: под небесами, в наших домах, в наших камзолах и наших рубахах... В течение пятидесяти лет мы царапаем крышку гроба. Да, поверить бы в небытие — стало бы намного легче! Но па смерть нет надежды. Смерть — только более простая, а жизнь — более сложная, более организованная форма гниения — вот и вся разница! И вся беда, что к этому способу гнить я привык; дьявол знает, привыкну ли я к другому.

О Жюли! Если б я мог уйти один! Если б ты отпустила меня одного!.. И тогда распался я совсем, превратился в горстку ничтожного праха — каждый мой атом все равно нашел бы у тебя отдохновение. Нет, я не могу, не могу умереть! Мы должны кричать; пускай они силой вытягивают из нас каждую каплю жизни.

## КОМНАТА ВО ДВОРЦЕ ПРАВОСУДИЯ

*Фукье-Тенвиль, Амар, Вулан.*

Фукье. Я уже просто не знаю, что им отвечать; они требуют создания комиссии.

Амар. Эти мерзавцы у нас в руках. Вот то, что ты хотел. *(Передаёт Фукье бумагу.)*

Вулан. Это их сразу успокоит.

Фукье. Да, это то, что нам нужно.

Амар. Ну, теперь давай. Поскорей развяжемся — и нам и им будет легче.

## РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ

Дантон. Республика в опасности, а у него нет инструкции! Мы обращаемся к народу. Мой голос еще достаточно силен, чтобы прочесть надгробную речь децемвирам... Я повторяю — мы требуем создания комиссии; в нашем распоряжении есть важные факты, и мы хотим их обнародовать. Я отступаю в цитадель благоразумия, но оттуда я уничтожу своих врагов сокрушительным залпом истины.

*Аплодисменты. Входят Фукье-Тенвиль, Амар и Вулан.*

Фукье. Именем Республики — тише! Мы требуем уважения к закону! Конвент постановляет: «Ввиду того что в тюрьмах обнаружены приготовления к бунту; ввиду того что жены Дантона и Камилла пытаются подкупить народ деньгами, а генерал Диллон собирается бежать из тюрьмы и возглавить бунтовщиков, чтобы освободить обвиняемых; ввиду того, наконец, что последние сами пытались спровоцировать волнения и оскорбляли судей, — трибуналу дается право вести процесс без перерывов и удалять из зала суда любого обвиняемого, не проявляющего должного уважения к закону».

Дантон. Я спрашиваю присутствующих: оскорблял ли хоть кто-нибудь из нас трибунал, парод или Национальный Конвент? Голоса из зала. Нет! Нет!

Камилл. Изуверы! Они хотят убить мою Люсиль!

Дантон. Когда-нибудь истина откроется. Я уже вижу, как на Францию надвигается огромная беда — диктатура; она сорвала с себя маску и подняла голову, она шагает по нашим трупам. (*Указывая на Амара и Вулана.*) Вот они, трусливые убийцы, черные вороны из Комитета спасения!

Я обвиняю Робеспьера, Сен-Жюста и их приспешников в государственной измене... Они хотят задушить Республику в крови. Колес гильотинных повозок — это маршруты, по которым интервенты рвутся к сердцу отечества.

Долго ли еще свобода будет шагать по трупам? Вы хотите хлеба, а вам швыряют головы! Вы умираете от жажды, а вас заставляют слизывать кровь со ступеней гильотины!

*Волнение в зале, гул одобрения.*

Голоса из зала. Да здравствует Дантон!

— Долой децемвиров!

*Заключенных силой выводят из зала.*

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДВОРЦОМ ПРАВОСУДИЯ

*Толпа народа.*

Голоса. Да здравствует Дантон!

— Долой децемвиров!

Первый гражданин. Верно он говорил! Головы вместо хлеба, кровь вместо вина!

Несколько женщин. Гильотина муки не намелет!

— Сансон не годится в пекари!

— Мы хотим хлеба!

— Хлеба!

Второй гражданин. А куда делся ваш хлеб? Дантон и сожрал! Его голова опять даст вам хлеб, что верно, то верно.

Первый гражданин. Дантон был с нами десятого августа. Дантон был с нами в сентябре. А где были те, кто его обвиняет?

Второй гражданин. Ну и что? Лафайет был с вами в Версале и все равно оказался предателем.

Первый гражданин. Кто сказал, что Дантон предатель?

Второй гражданин. Робеспьер!

Первый гражданин. Твой Робеспьер сам предатель!

Второй гражданин. Кто это тебе сказал?

Первый гражданин. Дантон!

Второй гражданин. У Дантона роскошные наряды, у Дантона роскошный дом, у Дантона красавица жена, он купается в бургундском, ест дичь с серебряных тарелок и спит с вашими женами и дочерьми, когда напьется... Дантон был такая же голытьба, как и вы. Откуда у него все взялось? Король подарил — чтобы он спас его корону. Герцог Орлеанский подарил — чтобы он украл для него корону. Интервенты подарили — чтобы он всех вас предал.. А что есть у Робеспьера? У добродетельного Робеспьера! Вы же все его знаете.

Все. Да здравствует Робеспьер!

— Долой Дантона!

— Смерть предателю!

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КОМНАТА В ДОМЕ ДАНТОНА

*Жюли, мальчик.*

Жюли. Все кончено. Они перед ним дрожали. Они убьют его — из страха. Иди! Я видела его в последний раз; скажи ему, что другим я не смогу его видеть. (*Дает мальчику локон.*) На, отнеси ему и скажи, что он пойдет не один — он поймет. И сразу возвращайся, я хочу прочесть в твоих глазах его последний взгляд.

УЛИЦА

*Дюма и один из граждан.*

Гражданин. Как же можно было после такого допроса приговорить к смерти стольких певиновных?

Дюма. Действительно, это случай необычный. Но вожди революции обладают чутьем, которого нет у других людей. Оно никогда их не обманывает.

Гражданин. Чутье тигра! У тебя ведь тоже есть жена!

Дюма. Скоро я скажу: была.

Гражданин. Ты это серьезно?

Дюма. Революционный трибунал разведет нас. Гильотина разрубит пополам наше ложе.

Гражданин. Ты... ты просто зверь!

Дюма. Глупец! Ты ведь восхищаешься Брутом?

Гражданин. От всего сердца.

Дюма. Неужели непременно надо быть римским консулом и накинуть тогу на голову, если хочешь принести в жертву

отечеству самое дорогое, что у тебя есть? Разница лишь в том, что я осушу слезы рукавом своего красного сюртука — и все.

Гражданин. Но это же ужасно!  
Дюма. Ах, тебе этого не понять!

*Уходят.*

#### КОНСЬЕРЖЕРИ

*Лакруа и Эро-Сешель — на одной кровати, Дантон и Камилл — на другой.*

Лакруа. Как тут быстро отрастают волосы и ногти — смотреть стыдно!

Эро. Кстати, будьте, пожалуйста, осторожней, а то вы как чихнете, так прямо пыль в лицо!

Лакруа. А вы не наступайте мне на ноги, любезный, у меня мозоли!

Эро. У вас к тому же, кажется, есть насекомые!

Лакруа. Не до насекомых, мне бы от глистов отделаться!

Эро. Ну, спокойной ночи! Постараемся ужиться, хоть места у нас мало... Только вы не царапайтесь во сне своими ногтями! И не стаскивайте с меня одеяло — снизу дует!

Дантон. Да, Камилл, завтра мы будем всего лишь стоптанными башмаками и нас швырнут в подол нищенке земле.

Камилл. Платон говорил, что ангелы делают себе сандалии из воловьей кожи и гуляют в них по земле. Вот на это мы и годимся... О Люсиль!

Дантон. Успокойся, мой мальчик!

Камилл. Ты думаешь, я могу, Дантон? Думаешь, могу? Нет, они не дерзнут ее тронуть! Свет красоты, излучаемый ее божественным телом, неугасим. Дантон, сама земля не дерзнет ее засыпать; она изогнется над ней сводом, могильные испарения будут сверкать на ее ресницах, как роса,

и вокруг нее, как цветы, образуются кристаллы. и прозрачные родники будут убаюкивать ее.

Дантон. Спи, мой мальчик, постарайся заснуть!

Камилл. Послушай, Дантон, надо признать, что умирать — это так мерзко! И толку никакого! Нет, я еще хочу поймать украдкой несколько взглядов из прекрасных глаз жизни, не хочу спать, пускай мои глаза будут открыты.

Дантон. Ты их и так не закроешь — Сансон убивает людей зрячими. Сон милосерден. Спи, мой мальчик, спи!

Камилл. Люсиль, мои губы грезят о твоих поцелуях! Каждый поцелуй — это сон, и мои ресницы смыкаются и держат его крепко-крепко.

Дантон. Неужели часам не хочется отдохнуть? С каждым тиканьем они как будто сдвигают стены вокруг, пока не станет тесно, как в гробу... Когда-то в детстве я читал такую сказку — у меня волосы вставали дыбом.

Да-а, в детстве... Стоило ли отъедаться до таких размеров, остерегаться простуды? Чтобы только доставить лишние хлопоты гробовщику!

Мне кажется, я уже начал смердеть. Дорогое мое тело, я зажму себе нос и воображу, что ты — вспотевшая от танца женщина, и буду говорить тебе комплименты. Мы так весело проводили с тобой время.

Завтра ты будешь всего лишь сломанной волынкой: песня сыграна до конца. Завтра ты будешь порожней бутылкой: вино выпито до дна, но я совсем не пьян и улягусь спать трезвым... Блажен, кто еще может пьянеть... Завтра ты будешь изношенной парой штанов — тебя швырнут в гардероб на съедение моли, и тогда воняй чем хочешь.

Ах, от болтовни не легче! Да, ты прав: умирать — мерзко! Смерть кривляется, передразнивая рождение; в смерти мы так же наги и незащищены, как новорожденные дети. Только вместо пеленок — саван. Ничем не лучше. Что в колыбели, что в могиле — все мы скулим.

Камилл!.. Заснул... *(Наклоняется к нему.)* Сладкий сон

приютился у ресниц. Не бойся — я не смахну с них эту золотую росу. *(Встает и подходит к окну.)* Я уйду не один. Спасибо тебе, Жюли! И все-таки я хотел бы умереть иначе — легко и бесшумно, как падает звезда, как ~~замы~~рает звук, сам себя зацеловывая до смерти, как тонет солнечный луч в прозрачном потоке... Звезды рассеяны в ночи, как блестящие слезинки; какая же боль должна быть в глазах, их обронивших!

*Камилл выпрямляется и судорожно ощупывает одеяло.*

Что ты, Камилл?

Камилл. О, о!

Дантон *(трясет его)*. Ты что, хочешь разодрать одеяло?

Камилл. Ах, это ты... ты... Не отпускай меня! Скажи что-нибудь!

Дантон. Ты весь дрожишь, на лбу пот.

Камилл. Это ты, а это я... ах да! Вот моя рука! Да, да... Кажется, я понемногу прихожу в себя. О Дантон, как это было ужасно!

Дантон. Что ужасно?

Камилл. Я уже почти стал засыпать... И вдруг потолок исчез, и в комнату спустился месяц, совсем низко, и я схватил его рукой. Тогда опустился небосвод со всеми светилами, я чувствовал его повсюду, ощупывал звезды и, как утопающий, барахтался под ледяной кромкой. Это было так ужасно, Дантон!

Дантон. Просто ты увидел круг от лампы на потолке.

Камилл. Может, и круг! Много ли надо, чтобы потерять рассудок, — его уж и так почти не осталось. Это само безумие подкралось ко мне! *(Приподнимается.)* Не хочу больше спать! Не хочу сходить с ума! *(Хватает книгу.)*

Дантон. Что это?

Камилл. «Ночные думы».

Дантон. Ты, верно, хочешь помереть еще до смерти? Нет, я лучше возьму «Орлеанскую девственницу». Уж если упол-

зять из жизни, то не как из исповедальни, а как из постели монахини. Жизнь — шлюха: она блудит со всем миром.

#### ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД КОНСЬЕРЖЕРИ

*Надзиратель, два возчика с упряжками, женщины.*

Надзиратель. Вас звали обоих?

Первый возчик. Никто меня «Обоих» не звал, что это за имя такое чудное?

Надзиратель. Болван, вам обоим дали распоряжение?

Первый возчик. Да уж, дадут тебе снаряжение! Хоть бы по десять су за каждую голову дали, и то хорошо.

Второй возчик. Этот проныра жрет мой хлеб.

Первый возчик. Это там-то твой хлеб? *(Показывает на тюремные окна.)* Там пожива для червей.

Второй возчик. Мои дети тоже черви и тоже требуют свою долю. Да, плохо иметь такую работу, хоть мы и лучшие возчики.

Первый возчик. Почему это лучшие?

Второй возчик. Ну, кто считается лучшим возчиком?

Первый возчик. Кто едет быстрее всех и дальше всех.

Второй возчик. Ну так поразмысли, осел,— куда уж дальше ехать, как с бела света долой, и куда уж быстрее, как за четверть часа? Ведь отсюда до площади Революции ехать ровно четверть часа.

Надзиратель. Ну, поживей, бездельники! Ближе к воротам! Расступись, девицы! Дайте дорогу!

Первый возчик. Да, пошире дорожку! А то ведь мы девиц не привыкли объезжать — мы прямо сразу в середку!

Второй возчик. Ишь, бойкий какой. Ну попробуй, попробуй — дорога там еженная, прямо с повозкой и с кобылой влезешь; только как вылезешь, как бы карантин на тебя

не наложили. (*Подъезжает к воротам тюрьмы. Женщинам.*)  
Ну, что устались?

Одна из женщин. Поджидаем старых клиентов.

Второй возчик. Вы что, думаете, моя повозка вам бордель?

У меня приличная повозка, я на ней самого короля и всех благородных господ на последнюю пирушку отвозил.

*Появляется Люсиль. Она садится на камень под тюремными окнами.*

Люсиль. Камилл! Камилл!

*Камилл показывается в окне.*

Ой, Камилл, какой ты смешной в этом каменном камзоле и с железной маской на лице! Ты разве не можешь ко мне нагнуться? Где твои руки?.. А вот, птичка, я тебя сейчас заманю! (*Поет.*)

«Зажглись две звездочки на небе,  
Сверкают месяца светлей.  
Одна — перед окошком милой,  
Другая — перед дверью к ней».

Иди сюда, милый, иди! Тихонечко по лестнице — все уже спят. А я тут все жду и жду; спасибо, хоть месяц помогает. Ах, но тебе же нельзя за ворота, ты так смешно одет! Ну пошутил, и хватит, сколько можно! Почему ты не двигаешься? Почему ничего не говоришь? Мне страшно! Послушай, что люди-то говорят! Говорят, что ты должен умереть, и такие лица серьезные делают. Умереть! Ну глянь, какие лица-то смешные! Умереть! Что это за слово такое? Ты можешь мне сказать, Камилл? Умереть! Подожди, подожди, я подумаю. Да-да, конечно. Я сейчас его догоню; иди, дружок, помоги мне его поймать. Иди, иди! (*Убегает.*)

Камилл (*кричит ей вслед*). Люсиль! Люсиль!

## КОНСЬЕРЖЕРИ

*Дантон у окошка, выходящего в соседнюю камеру. Камилл, Филиппо, Лакруа, Эро-Сешель.*

Дантон. Вот ты и успокоился, Фабр.

Голос (*из другой камеры*). Умираю, Дантон.

Дантон. А ты понял, что мы будем делать?

Голос. Что?

Дантон. Что ты делал всю свою жизнь — разыгрывать представление. Только не на подмостках, а на помосте.

Камилл (*про себя*). В ее глазах было безумие! Много людей уже сходило с ума — такова жизнь. Что с этим можно поделать? Мы умываем руки. Так даже лучше.

Дантон. Я оставляю все дела в ужасном запустении. Управлять никто не умеет. Если б я еще оставил Робеспьеру своих девок, а Кутону — свои ляжки, может, у них бы что-нибудь и вышло.

Лакруа. Тогда бы мы самую Свободу превратили в шлюху!

Дантон. Ну и что из того? Свобода и шлюха — космополитки. Теперь наша Свобода будет предаваться добродетельной проституции в супружеской постели с аррасским адвокатом. Только я думаю, она обернется для него Клитемнестрой. Я не дам ему и полгода срока — я еще раньше утяну его за собой.

Камилл (*про себя*). Да писношлет ей пебо безумие полегче! Обычное безумие, называемое здравым смыслом, невыносимо скучно. Счастливейшим человеком был тот, кто вообразил себя Отцом, Сыном и Святым Духом сразу!

Лакруа. Эти ослы будут кричать «Да здравствует Республика», когда нас повезут.

Дантон. Ну и что такого? Всемирный потоп революции может выбросить наши трупы где захочет, — все равно нашими окаменелыми костями еще можно будет размозжить головы королям.

Эро. Да, если отыщется Самсон на наши челюсти.

Дантон. Каиново отродье!

Лакруа. Ну разве Робеспьер не Нерон? Уже одно то, что он никогда не был с Камиллом ласковой, чем за два дня до ареста! Правда ведь, Камилл?

Камилл. Может, и правда — что мне за дело? *(Про себя.)* Какое трогательное безумие родилось в ее головке! И почему я именно теперь должен уйти? Мы бы забавлялись с ним, ласкали и баюкали его, как ребенка.

Дантон. Если когда-нибудь история откроет свои склепы, деспотизм все еще сможет задохнуться от благоволия наших трусов.

Эро. Ах, мы уже изрядно смердим при жизни... Это все громкие фразы для потомков, Дантон. Нас они, собственно говоря, уже не касаются.

Камилл. Он делает такое лицо, будто сейчас окаменеет, чтобы потомки раскопали его, как античную статую. Можно, конечно, напустить на себя важный вид, нарумяниться и говорить хорошо поставленным голосом. Но если бы мы вздумали хоть раз снять с себя маски, мы бы, как в комнате с зеркалами, увидели повсюду одних только бесчисленных, нестремимых, бессмертных барапов — ни больше ни меньше. Различия ничтожны — все мы мерзавцы и ангелы, болвапы и гении, и, главное, все это в одном человеке: для четырех этих качеств вполне хватает одного тела, они не так велики, как принято думать. Спать, переваривать пищу, делать детей — все этим занимаются; остальное — только вариации в разных тональностях на одну и ту же тему. Чего уж тут тянуться на цыпочки и важничать, чего уж ломаться друг перед другом! Мы все обожрались за одним и тем же столом и получили расстройство желудка; так к чему салфетки? Рыгайте, скулите сколько хотите! Только не стройте добродетельных, остроумных, героических или гениальных физиономий — мы же так хорошо знаем друг друга, зачем стараться!

Эро. Да, да, Камилл. Сядем рядом и будем орать; самое глу-

пое — стискивать зубы, когда тебе больно. Греки и боги кричали, римляне и стойки корчили героические рожи.

Дантон. И те и другие были эпикурейцами. Создавали сами себе приятное самочувствие. Разве не приятно задрапироваться в тогу и, оглянувшись, убедиться, что отбрасываешь длинную тень? А чего нам грызться друг с другом? Какая разница, прикроем ли мы срамное место лавром, четками, виноградным листом или будем носить этот мерзкий отросток неприкрытым, чтобы собаки лизали его?

Филиппо. Друзья мои, вовсе не обязательно воспарять над землей, чтобы уйти от всей этой сутолоки и суеты и сохранить во взоре своем лишь несколько стройных, божественных линий! И ведь существует где-то там, наверху, слух, для которого весь наш гам, вся эта свара, оглушающая нас, — одно великое море гармонии.

Дантон. Но мы-то всего лишь жалкие шарманщики, а наши тела — инструменты. Неужели все эти визгливые звуки выпиливаются на нас только для того, чтобы где-то там, в вышине, тихим, сладостным дуновением дойти до божественного слуха и, отзвучав, умереть?

Эро. Неужели мы просто поросята, которых забивают палками до смерти, чтобы было вкуснее мясо для царских пиров?

Дантон. Неужели мы дети, которых сжигает этот огненный Молох — мир и щекочет своими лучами, чтобы от их смеха было веселее богам?

Камилл. А эфир с его солнцем и звездами — неужели он всего лишь миска с зеркальными карпами, стоящая на столе у бессмертных богов?.. Вечно смеются бессмертные боги, и вечно умирают рыбы, и вечно наслаждаются боги красочными переливами их предсмертных судорог.

Дантон. Мир — хаос. Он в муках рождает бога — Пресвятое Ничто.

*Входит надзиратель.*

Надзиратель. Господа, можете выезжать, повозки у ворот.

Ф и л и п п о. Спокойной ночи, друзья! Накроемся великим пологом, останавливающим все сердца и закрывающим все глаза.

*Обнимаются.*

Э р о (*берет Камилла за руку*). Радуйся, Камилл, нас ждет такая прекрасная ночь. Облака висят в тихом вечернем небе, как догоревший Олимп с тускнеющими, тающими богами!

*Уходят.*

#### КОМНАТА В ДОМЕ ДАНТОНА

Жю л и. Народ валил по улице, а сейчас все тихо. Не хочу, чтобы он ждал хоть секунду. (*Берет кубок.*) Вот и ты, мой пресвятой отче... Скажи мне «аминь» перед отходом ко сну. (*Встает у окна.*) Как приятно прощаться. Осталось только затворить за собой дверь. (*Пьет.*) Так бы и стояла вечно... Солнце зашло, очертания земли были такими резкими в его лучах, а сейчас ее лик тих и серьезен, как у умирающего... Как красиво играет вечерний свет у нее на лбу, на ланитах... Она становится все бледней и бледней, и, как труп, уплывает вдаль в потоках эфира. Какая рука ухватит ее за золотые локоны, вытащит из воды и похоронит? Я уйду тихо-тихо. И не буду целовать ее, чтобы случайный вздох не нарушил ее покоя... Усни, усни! (*Умирает.*)

#### ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

*Подъезжают повозки и останавливаются около гильотины. Мужчины и женщины поют и пляшут «Карманьо-лу». Осужденные запевают «Марсельезу».*

Ж е н щ и н а с д е т ь м и. Дайте пройти! Дайте пройти! Ребятишки, орут, есть хотят. Пусть они посмотрят — может, успокоятся. Дайте пройти!

Д р у г а я ж е н щ и н а. Эй, Дантон, теперь ты можешь там блудить с червями!

Третья женщина. Эро, я сделаю себе парик из твоих кра-  
сивых кудрей.

Эро. У меня не хватает растительности для такой облысело-  
вершинной горы.

Камилл. Будьте прокляты, колдуньи! Вы еще взмолитесь:  
«Падите на нас, горы!»

Одна из женщин. А гора-то пала на вас! Или вы с нее  
упали.

Дантон. Успокойся, мой мальчик. Ты совсем охрип.

Камилл (*дает деньги возчику*). На, старый Харон, твоя по-  
возка сойдет за пиршественный поднос. Господа, я хочу  
себя сервировать по всем правилам вкуса. Это — классиче-  
ская трапеза; каждый возлежит на своем ложе и пускает  
немножко крови в жертву богам. Прощай, Дантон! (*Подни-  
мается на помост, за ним — другие осужденные.*)

*Дантон всходит последним.*

Лакруа (*народу*). Вы убиваете нас в день, когда вы утратили  
разум; вы убьете их в день, когда обретете его снова.

Голоса из толпы. Это мы уже слышали! — Довольно!

Лакруа. Тираны сломают себе шеи на наших могилах.

Эро (*Дантону*). Он, кажется, считает свой труп удобрением для  
нив Свободы.

Филиппо (*с эшафота*). Я прощаю вас; да будет ваш смерт-  
ный час не горше моего.

Эро. Так я и думал! Сейчас сорвет с себя рубаху и покажет  
людям, что у него чистое белье.

Фабр. Прощай, Дантон! Я умираю вдвойне.

Дантон. Прощай, друг! Гильотина — лучший лекарь.

Эро (*бросается в объятия к Дантону*). Ах, Дантон, мне уже  
больше не приходит в голову ни одна острота. Пора.

*Один из палачей отгаскивает его.*

Дантон (*палачу*). Ты что, хочешь быть бессердечнее смерти?  
Да можешь ли ты помешать тому, чтобы наши головы  
слились в поцелуе на дне корзины?

## УЛИЦА

Люсиль. А может, это и вправду серьезно? Ах, я должна подумать. Кажется, я начинаю что-то понимать. Умереть... Умереть!.. Все может жить дальше, все — вот эта маленькая мошка, вон та птичка. А почему ему нельзя? Поток жизни должен остановиться, если прольется хоть одна капля. Земле нанесут рану этим ударом. Все живет — идут часы, звонят колокола, бегут люди, течет вода, все течет, все уплывает... Нет, как же так можно? Нет! Я сяду на землю и крикну, и все остановится в ужасе, все остановится и не сможет двигаться дальше. *(Садится на землю, закрывает глаза руками и кричит. Через секунду встает.)* Не помогает... Все — как было: дома, улицы, ветер дует, облака бегут... Значит, надо терпеть?

*По улице проходят несколько женщин.*

Первая женщина. А красивый этот Эро!

Вторая женщина. А вспомни, — когда он стоял у Триумфальной арки на празднике Конституции, я тогда сразу подумала: вот ему пойдет стоять на гильотине. Прямо как предчувствие какое было.

Третья женщина. Да, людей надо видеть во всяких условиях. Хорошо, что казнить стали публично.

*Проходят.*

Люсиль. Мой Камилл! Где мне теперь тебя искать?

## ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

*Два палача, орудующих у гильотины.*

Первый палач *(стоит на гильотине и поет)*.

«А когда иду домой,  
Светит месяц золотой...»

Второй палач. Эй, скоро ты там?

Первый палач. Сейчас, сейчас!

«Светит прямо к матушке в окошко —

Ах, еще бы погулять немножко...»

Так. Давай сюда куртку!

*Уходят и поют вместе:*

«А когда иду домой,

Светит месяц золотой».

*Появляется Люсиль и садится на ступени гильотины.*

Люсиль. Я сяду к тебе на колени, тихий ангел смерти. *(Поет.)*

«Смертью зовется этот косец,

Дал ему силу бог, наш отец».

Милая колыбель, ты убаюкала моего Камилла, задушила его своими розами. Колокол смерти, ты спел ему сладкую отходную. *(Поет.)*

«Сотнями, сотнями косит людей,

Косит людей косою своей».

*Входит патруль.*

Гражданин. Эй, кто тут?

Люсиль *(напряженно думает и вдруг, как бы приняв решение, кричит)*. Да здравствует король!

Гражданин. Именем Республики!

*Стража окружает ее и уводит.*

# ЛЕОНС И ЛЕНА

КОМЕДИЯ

Альфьери. Е la Fama? <sup>1</sup>

Гоцци. Е la Fame? <sup>2</sup>

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ПЕТЕР — король страны Попо.

ПРИНЦ ЛЕОНС — его сын, обручен с Леной.

ЛЕНА — принцесса страны Пипи.

ВАЛЕРИО.

ГУВЕРНАНТКА.

ГОФМЕЙСТЕР.

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР.

ПРЕЗИДЕНТ Государственного совета.

ПРИДВОРНЫЙ СВЯЩЕННИК.

СОВЕТНИК.

УЧИТЕЛЬ.

РОЗЕТТА.

СЛУГИ, ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА,

КРЕСТЬЯНЕ И Т. Д.

---

<sup>1</sup> А слава? (*итал.*).

<sup>2</sup> А голод? (*итал.*).

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

*О, стать бы мне шутом!  
Тщеславию моему так мил колпак дурацкий!  
Шекспир, «Как вам это понравится».*

### СЦЕНА ПЕРВАЯ

*Сад.*

*Леонс полулежит на скамье. Гофмейстер.*

Леонс. Что вам угодно, любезный? Приготовить меня к моей профессии? Увы, я страшно занят — не знаю, куда деваться от дел... Для начала мне надобно триста шестьдесят пять раз подряд плюнуть на этот камень. Вы никогда не пробовали? Займитесь, очень приятное времяпрепровождение. Дальше — видите эту горсть песка? *(Берет песок, подбрасывает вверх и ловит тыльной стороной ладони.)* Вот я ее подбрасываю. Хотите пари? Сколько песчинок на руке? Чет или нечет?.. Как? Вы не принимаете пари? Вы что, язычник? В бога веруете? Я привык заключать пари с самим собой и могу заниматься этим с утра до ночи. Но вы меня весьма обяжете, если отыщете человека, который был бы не прочь составить мне компанию, и пришлете его сюда. Далее — стоит поразмыслить над тем, как бы взглянуть на собственную голову. Увы, пикому не дано видеть свою голову! Это один из моих идеалов. Мне стало бы легче. Ну-с, затем... затем... ужасно много всяких дел в том же роде. Какой же я бездельник? Разве мне нечем заняться?.. Печально, конечно...

Гофмейстер. Очень печально, ваше высочество.

Леонс. ...что облака уже три недели плывут с запада на восток. Это повергает меня в меланхолию.

Гофмейстер. Вполне обоснованную меланхолию.

Леонс. Черт возьми, почему вы мне не возражаете? Вас ведь ждут срочные дела? Сожалею, что задержал вас.

*Гофмейстер с глубоким поклоном удаляется.*

Любезный, примите мои поздравления по поводу изящных скобок, которые образуют при поклоне ваши ноги. (*Оставшись один, растягивается на скамье.*) Пчелы так ослобило сидят на цветах, а солнечный свет так лениво разлегся на земле... Вопиющий пример праздности. Праздность — мать всех пороков... Чего только люди не вытворяют со скуки! Со скуки учатся, со скуки молятся, со скуки влюбляются, женятся, плодятся и размножаются и со скуки, наконец, умирают; и что забавно — все это с самым важным видом, не зная зачем и воображая о себе бог весть что. Все эти герои, эти гении, дураки, святые, грешники, отцы семейств — просто рафинированные бездельники... Но почему я должен ломать над этим голову? Почему я не могу, как все, напустить на себя важный вид, натянуть на эту несчастную куклу фрак, дать ей в руки зонтик, чтобы она стала очень благопристойным, очень высоко нравственным и в высшей степени полезным членом общества?.. Вот, например, господин, который сейчас вышел. Как я ему завидовал — мне хотелось высечь его от зависти. Ах, почему нельзя перестать быть самим собой! Хоть на мгновенье!

*Входит Валерио, он навеселе.*

Как он спешит! Увы, кажется, ничто на свете уже не заставит меня так спешить!

Валерио (*приближается к принцу и смотрит на него в упор, приложив к носу палец*). Да!

Леонс (*так же*). Верно!

Валерио. Вы меня поняли?

Леонс. Совершенно.

Валерио. Тогда поговорим о чем-нибудь еще. (*Ложится на траву.*) А пока я лягу в траву и высуну наружу нос, пусть он расцветает среди стеблей, а я буду испытывать романтические чувства, когда пчелы и бабочки примут его за розу.

Леонс. Только не сопи так, приятель, не то пчелы и бабочки помрут с голоду, ведь твой нос собирает с цветов чудовищную дань.

Валерио. Ах, сударь, как я люблю природу! Трава такая густая, что хочется стать бараном, чтобы есть эту траву, а потом снова человеком, чтобы съесть барана, который съел такую траву.

Леонс. Несчастный, ты, кажется, стремишься к идеалу!

Валерио. Увы! Горе мне! Нельзя спрыгнуть с колокольни, не сломав себе шеи. Нельзя съесть фунт вишен с косточками — и не заболеть животом. Сударь, я мог бы забиться в угол и петь с утра до ночи: «Сидит муха на стене! На стене! На стене!» — и так далее до конца дней моих.

Леонс. Заткни глотку! От твоей песни можно одуреть!

Валерио. Стать дураком — это уже кое-что. Дурак! Дурак! Меняю свой разум на его безумие... Ха. Я — Александр Македонский! Как сияет в моих кудрях солнечная корона! Как блестят доспехи! Эй, генералиссимус Кузнецик, прикажите войскам выступать! Господин министр финансов Паук, мне нужны деньги! Милая фрейлина Стрекоза, что подельвает моя любезная супруга Горошина? Ах, дорогой лейб-медик Шпанская Мушка, мне так не хватает наследного принца! И вдобавок к таким восхитительным фантазиям получаешь вкусный суп, хорошее мясо, свежий хлеб, мягкую постель, а волосы тебе стригут бесплатно — на то и сумасшедший дом! А я с моим здравым рассудком могу лишь наняться возделывать эту вишню, чтобы она поскорее созрела.

Леонс. То есть покраснела от стыда при виде дыр на твоих панталонах! Итак, почтенный, твое ремесло, твоя профессия, твое занятие, твое искусство?

Валерио (*с достоинством*). Сударь, я занимаюсь тем, что хожу без дела, у меня редкий дар — бить баклуши, я ленюсь без усталости. Ни одна мозоль не оскверняет моих рук, земля не выпила ни капли моего пота, я совершенно цело-

мудрен во всем, что касается труда, и, если б не лень, я не поленился бы подробнее расписать свои заслуги.

Леонс (*с комическим энтузиазмом*). Приди на грудь мою! Ты — один из тех, кто удостоен благодати, кто легко и беззаботно идет по жизненной стезе, не зная ни пыли, ни пота, и, подобный богам, вступает на Олимп, сверкая пятками во всем торжестве плоти. Приди! Приди!

Валерио (*поет, уходя*). «Сидит муха на стене! На стене! На стене!»

*Оба уходят, взявшись за руки.*

## СЦЕНА ВТОРАЯ

*Комната.*

*Король Петер. Его одевают два камердинера.*

Петер. Человек должен мыслить, а я еще должен мыслить за своих подданных, они совсем не мыслят, совсем не мыслят... Сущность есть вещь в себе, это я. (*Бегает по комнате почти голый.*) Понятно? Вещь в себе — она в себе, понимаете? Где мои атрибуты, модификации, аффектации и акциденции: где моя сорочка, мои панталоны?.. Стоп, фу! Свободная воля торчит наружу. Где мораль — где манжеты? Категории в страшном беспорядке: застегнуты две лишние пуговицы, табакерка в правом кармане — вся моя система нарушена. Гм. Что значит этот узел на носовом платке? Любезный, что значит этот узел, о чем я хотел вспомнить?

Первый камердинер. Когда ваше величество изволили завязать этот узел на платке вашего величества, вы хотели...

Петер. Ну?

Первый камердинер. О чем-то вспомнить.

Петер. Вы меня совсем запутали!.. Эй, а ты что думаешь?

Второй камердинер. Ваше величество хотели вспомнить о чем-то, когда благоволили завязать этот узел на платке вашего величества.

Петер (*бегает взад и вперед*). Что? Как? Они окончательно сбили меня с толку. Я в страшном смятении. Как же быть?

*Входит слуга.*

Слуга. Ваше величество, Государственный совет собрался.

Петер (*радостно*). Да, да, именно. Я хотел вспомнить о моем народе... Входите, господа. Располагайтесь симметрично. Здесь не слишком жарко? Возьмем носовые платки и утрем лбы! Я всегда так смущаюсь перед публичным выступлением.

*Слуга и камердинеры уходят.*

*Входят члены Государственного совета.*

Любезные мои подданные, настоящим уведомляю вас... уведомляю вас, что мой сын либо женится, либо не женится (*прикладывает палец к носу*): либо — либо. Вы ведь меня понимаете? Третьего не дано. Человек должен мыслить. (*Размышляет.*) Когда я говорю так громко, то уже не знаю, я это или не я, мне становится страшно. (*После продолжительного раздумья.*) Я — это я... А вы как считаете, президент?

Президент (*медленно и веско*). Ваше величество, возможно, это так, но, возможно, и не так.

Весь совет (*хором*). Да, возможно, это так, но, возможно, и не так.

Петер (*растроганно*). О мои мудрецы!.. Итак, о чем, собственно, мы говорили? Что я хотел сказать? Президент, почему у вас такая короткая память в столь торжественный момент? Заседание переносится. (*Величественно удаляется.*)

*Весь Государственный совет следует за ним.*

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

*Богато украшенный зал, горят свечи.*

*Леонс. Слуги.*

Леонс. Все ставни опущены? Зажгите свечи! Прочь этот день! Я жажду ночи, глубокой благоуханной ночи. Расставьте среди олеандров лампы с хрустальными колпаками. Пусть они мерцают в листве, будто женские глаза из-под ресниц. Придвиньте розы, чтобы вино, как роса, окропило их лепестки. Музыка! Где скрипки? Где Розетта?.. Прочь! Убирайтесь!

*Слуги уходят. Леонс растягивается на ложе. Входит Розетта, изящно одетая. Издалека слышна музыка.*

Розетта (*кокетливо приближаясь*). Леонс!

Леонс. Розетта!

Розетта. Леонс!

Леонс. Розетта!

Розетта. Как вялы твои губы! От поцелуев?

Леонс. От зевоты!

Розетта. О!

Леонс. Ах, Розетта, у меня ужасная работа...

Розетта. Ну?

Леонс. ...ничего не делать.

Розетта. Только любить?

Леонс. Это, конечно, тоже работа...

Розетта (*оскорблена*). Леонс!

Леонс. Ну, занятие.

Розетта. Или блаженство.

Леонс. Ты права, как всегда. Ты умница, Розетта, я высоко ценю твою проникательность.

Розетта. Значит, ты любишь меня от нечего делать?

Леонс. Нет, я погружаюсь в праздность, потому что люблю тебя. Но мою праздность я люблю, как тебя. Вы для меня

одно. *O dolce far niente!*<sup>1</sup> Твои глаза как глубокие волшебные источники, ласка твоих губ навевает дрему, словно журчанье ручья. (*Обнимает Розетту.*) Приди же, возлюбленная праздность, в твоих поцелуях — сладостная зевота, твоя мягкая поступь убаюкивает, словно гекзамер.

Розетта. Ты любишь меня, Леонс?

Леонс. Ах, ну конечно!

Розетта. И будешь любить всегда?

Леонс. Какое долгое слово: всегда! Если я буду любить тебя пять тысяч лет и семь месяцев, этого достаточно? Правда, это много меньше, чем всегда, но срок изрядный, и нам хватит времени, чтобы любить друг друга.

Розетта. Или потерять любовь.

Леонс. Или потерять время на любовь. Танцуй, Розетта, пусть время уходит под стук твоих каблучков.

Розетта. Лучше мне самой уйти навсегда. (*Танцует и поет.*)

Пляшите, пляшите, усталые ножки,  
Так хочет милый.  
А вам бы больше хотелось  
Сойти в могилу.

Пылайте, пылайте, горячие щечки,  
От ласки нежной —  
Увянете вы, как розы,  
Зимю снежной.

Сияйте, сияйте, бедные глазки,  
При свете свечек —  
Закроетесь вы от боли  
В холодный вечер.

Леонс (*мечтательно, про себя*). О, умирающая любовь прекрасней зарождающейся. Я римлянин; на роскошном пиру всеми предсмертными красками играют золотые рыбки, по-

---

<sup>1</sup> О прекрасное ничегонеделанье! (*итал.*).

данные на десерт... Прощай, любовь! Как незаметно сходит пурпур с твоих ланит, как тихо потухают глаза, как медленно угасает дыхание! Прощай, любовь моя, я буду любить твой мертвый образ.

*Розетта снова приближается к нему.*

Ты плачешь, Розетта? Уметь плакать — какое тонкое наслаждение, достойное Эпикура! Повернись к свету, чтобы драгоценные капли застыли, будто алмазные кристаллы. Можешь сделать себе из них ожерелье.

Розетта. Эти алмазы режут мне глаза. Ах, Леонс! *(Хочет обнять его.)*

Леонс. Осторожно! Моя голова! Там похоронена наша любовь. Загляни в окна моих глаз! Видишь, она совсем мертва, бедняжка! Видишь две белые розы на ее щеках и две красные на груди? Не тронь меня — у нее отломится пальчик, будет жаль. Моя голова — гроб, где лежит мертвое дитя, осторожно, не урони его.

Розетта *(шутливо)*. Глупый!

Леонс. Розетта!

*Розетта строит ему гримасу.*

Слава богу! *(Закрывает рукой глаза.)*

Розетта *(испуганно)*. Леонс, посмотри на меня!

Леонс. Ни за что!

Розетта. Хоть раз!

Леонс. Ни разу. Ты только подумай: еще немного — и моя любимая любовь снова явилась бы на свет. Я рад, что похоронил ее. Мне останется воспоминание.

Розетта *(медленно и печально удаляется, напевая)*.

Одна я на свете,

Мне страшно одной.

Сестра моя, грусть,

Пойдем вместе со мной.

*(Уходит.)*

Леонс (*один*). Странная вещь — любовь. Целый год грезить наяву, а в одно прекрасное утро просыпаешься, выпиваешь стакан воды, одеваешься, проводишь рукой по лбу — и наваждение исчезает... исчезает... Боже, сколько же нужно женщин, чтобы пропеть всю гамму любви? Едва ли на каждую женщину придется по одной поте. Почему воздух нашей земли, как призма, преломляет в радугу белый пылающий луч любви?.. (*Пьет.*) В какой бутылке хранится вино, что сегодня опьянит меня? Неужели я уж даже и на это не способен? Я задыхалось, как под стеклянным колпаком. Воздух такой разреженный и колкий, что меня знобит, будто я пробежался на коньках в нанковых панталонах. Господа, господа, известно ли вам, кто были Калигула и Нерон?.. А вот мне известно... Иди сюда, Леонс, произнеси монолог, я тебя послушаю. Жизнь нагоняет на меня зевоту, словно большой белый лист бумаги, который надо исписать до конца, а я не могу выжать из себя ни строчки. Моя голова — опустевшая бальная зала, на полу валяются увядшие розы и смятые ленты, в углу — сломанные скрипки, последние танцоры сняли маски и смотрят друг на друга смертельно уставшими глазами. Я двадцать четыре раза на дню выпорачиваю себя наизнанку, как перчатку. О, я себя знаю — я знаю, что подумаю через полчаса, через неделю, через год, знаю, что увижу во сне. Господи, чем я прегрешил, что ты так часто заставляешь меня, как школьника, повторять урок?.. Bravo, Леонс, bravo! (*Хлопает в ладоши.*) Приятно слышать собственные аплодисменты... Бис, Леонс! Бис!

Валерио (*вылезая из-под стола*). Ваше высочество, вы и впрямь скоро станете пугтом.

Леонс. Да, при ближайшем рассмотрении я прихожу к тому же выводу.

Валерио. Погодите, мы обсудим это во всех подробностях. Вот только доем кусок жаркого, который стащил на кухне. и допью вино с вашего стола. Я сейчас.

Леонс. До чего смачно! Этот паренёк вызывает у меня идиллические ощущения, я мог бы снова начать с самого простого: есть сыр, пить пиво, курить табак. Убирайся прочь, нечего ухмыляться во всю пасть и щелкать зубами.

Валерио. Дражайший Адонис, вы опасаетесь за свои худые ляжки? Напрасно. Зачем мне эта моченая лоза? Что я, корзинщик? Или школьный учитель?

Леонс. Похоже, ты в долгу не останешься.

Валерио. Хотел бы я о вас сказать то же самое.

Леонс. Значит, я должен вздуть тебя немедленно? Ты так озабочен своим воспитанием?

Валерио. Скорее, пропитанием. Кто-то строит куры — а ты живи курам на смех. Мое положение совсем незавидно с тех пор, как моя мать оказалась в интересном положении. Ничего хорошего не случилось со мной после того, как случились мои родители.

Леонс. Сразу видно — тяжелый случай! Не раздражай меня, не то я войду в роль и научу тебя выбирать выражения.

Валерио. Когда моя матушка стала тяжелой...

Леонс. Ну, твоему отцу, должно быть, тоже не легко пришлось.

Валерио. Верно, он ведь служил ночным сторожем и изрядно пил, что, конечно, мало его красило. Зато у него не было украшений на лбу, как у папаш некоторых благородных сыновей.

Леонс. Черт возьми, твое бесстыдство неподражаемо! У меня появилась потребность попробовать его на ощупь. Я испытываю страстное желание высечь тебя.

Валерио. Вот меткий ответ и сильный аргумент. Бьет не в бровь, а в глаз.

Леонс (*подходя к нему*). Сейчас получишь и в бровь и в глаз.

*Валерио убегает, Леонс спотыкается и падает.*

Валерио. Нет, ваш аргумент не так уж сплен — он едва держится на ногах, существование каковых, впрочем, тоже еще требует аргументированного доказательства. Это в выс-

шей степени маловероятные икры и весьма проблематичные ляжки.

*Входят члены Государственного совета. Леонс остается сидеть на полу.*

Президент. Простите, ваше высочество...

Леонс. Прощаю! Прощаю! Прощаю себе, что имею глупость выслушивать вас. Господа, не угодно ли занять места?.. Какие у них становятся рожи, когда они слышат слово «места». Садитесь прямо на землю и не стесняйтесь. Это как раз то самое место, которое все вы займете в свое время, но оно никому не принесет дохода — разве что могильщикам.

Президент *(от застенчивости щелкает пальцами)*. Ваше высочество, соблаговолите...

Леонс. Перестаньте же щелкать пальцами, если не хотите сделать из меня убийцу.

Президент *(щелкает все сильнее)*. Будьте столь великодушны, приняв в соображение...

Леонс. Господи, да спрячьте вы руки в карманы или сядьте на них. Ну вот, теперь он совсем расклеился. Успокойтесь же!

Валерио. Нельзя мешать детям, когда они писают, а то у них будет задержка.

Леонс. Любезный, придите в себя! Подумайте о вашем семействе, об интересах государства. Если ваша речь застрянет, вас хватит удар.

Президент *(вынимает из кармана бумагу)*. Позвольте, ваше высочество...

Леонс. Ну, валяйте... Как? Вы уже научились читать?

Президент. Его королевское величество изволит уведомлять ваше высочество о том, что ожидаемое прибытие нареченной невесты вашего высочества ее светлости принцессы Лены фон Пипи назначается на завтра.

Леонс. Если моя невеста ожидает меня, то я послушно согласно ее воле, предоставив ей возможность подождать меня. Вчера ночью я видел во сне, что у нее есть пара огром-

ных глаз, к которым бальные туфли моей Розетты подошли бы вместо бровей. А на щеках вместо ямочек — пара отводных канав для смеха. Я верю снам. А вы видите сны, господин президент? И предчувствия у вас бывают? Валерио. Еще бы! Каждую ночь перед тем, как подгорит жаркое, подохнет каплун или его королевское величество почувствует резь в желудке.

Леонс. У вас, кажется, еще что-то вертится на языке. Выкладывайте все.

Президент. В день бракосочетания некая высочайшая воля намеревается сложить свои всевысочайшие волеизъявления в руки вашего высочества.

Леонс. Передайте некоей высочайшей воле, что я сделаю все, за исключением того, чего я предпочту не делать, а это, во всяком случае, будет меньше, чем если бы этого было вдвое больше. Господа, позвольте не провожать вас. Мне как раз сейчас приспичило посидеть, но моя милость столь велика, что едва ли я смогу измерить ее ногами. *(Расставляет ноги.)* Господин президент, снимите все же мерку, а потом напомните мне. Валерио, господам угодно выйти вон.

Валерио. Звон? Может, повесить господину президенту колокольчик? Чтобы он тренькал? А они пойдут на четвереньках?

Леонс. Приятель, ты просто дурной каламбур. У тебя не было ни отца, ни матери, ты произошел на свет от совокупления ассонансов.

Валерио. А вы, принц, вы — книга без букв, в которой одни многоточия. Ходу, господа! Что за грустное слово — «ход». Расходы такие — хоть вешайся. Чтобы иметь твердый доход — надо воровать. Сделать карьеру можно только с черного хода. Где же выход из положения? Для меня — только в находчивости. Ну что ж, ваш приход сюда был не напрасным, а теперь я укажу вам, где выход. *(Выводит членов Государственного совета.)*

Леонс (*один*). Фу, мерзость! Разыграл героя перед такими жалкими глузцами. Есть, однако же, определенное наслаждение в известного рода подлости. Гм! Жениться! Легче вышить колодезь до дна. О Шенди, старина Шенди, кто подарит мне твои часы!

*Валерио возвращается.*

Ах, Валерио, ты слышал?

Валерио. Ну что ж, становитесь королем. Это очень весело. Будете целыми днями разъезжать в карете, а у подданных изнасятся шляпы от частого снятия и надевания; из порядочных людей можно наделать порядочное число солдат — нет ничего проще; можно назначить черные фраки и белые галстуки на государственные посты, а когда вы померете, все блестящие пуговицы потускнеют с горя, а колокольные веревки, как нитки, лопнут от звона. Разве не весело?

Леонс. Валерио! Валерио! Займемся чем-нибудь еще... Придумай!

Валерио. Наука, сударь, наука! Давайте станем учеными! А priori<sup>1</sup>? Или а posteriori<sup>2</sup>?

Леонс. А priori — это по части моего батюшки, но и а posteriori тоже надоело — все как в сказке: жили-были...

Валерио. Тогда станемте героями! (*Марширует взад-вперед, делая вид, что барабанит и дует в трубу.*) Трам-там, там-там!

Леонс. Но от героизма столько шуму и грохота: палит что есть мочи, а потом валяется на койке в лазарете, и для него нужны лейтенанты и рекруты. Нет, уволь! К черту романтику! Мы не Александры и не Наполеоны!

Валерио. Ну... будем гениями!

Леонс. Соловей поэзии целый день поет у нас над головой, но самая лучшая трель летит ко всем чертям, когда мы

---

<sup>1</sup> Заранее, до опыта (*латин.*).

<sup>2</sup> По опыту (*латин.*).

выдираем соловьиные перья, чтобы окунуть их в чернила или краску.

Валерио. Тогда начнем служить на пользу человечеству!

Леонс. Нет-нет. Скорее, я подам в отставку с должности человека.

Валерио. Может, просто пойдем к дьяволу?

Леонс. Увы, дьявол существует лишь для контраста, дабы мы постигли, что и в небесах есть нечто. *(Вскакивает.)* Валерио, Валерио, я придумал! Ты чувствуешь ветер с юга? Ты слышишь, как колеблется синий раскаленный эфир, ты видишь, какой свет излучают солнечная земля, соленое море, белоснежные колонны и торсы? Великий Пан спит, мраморные статуи грезят в тени под журчанье струй о старом волшебнике Вергилии, о тарантеллах и тамбуринах, о томных безумных ночах, полных масок, факелов и гитар. Лаццарони! Валерио, лаццарони! Мы отправляемся в Италию!

#### СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

*Сад.*

*Принцесса Лена в свадебном уборе. Гувернантка.*

Лена. Вот! Вот оно! До сих пор я не думала ни о чем. Все шло само собой, и вдруг этот день встал передо мною. В моих волосах — венок. И колокола, колокола! *(Откидывается назад и закрывает глаза.)* Знаешь, мне хотелось бы, чтобы надо мной росла трава и жужжали пчелы, о этот наряд, этот розмарин в волосах... Помнишь старую песню? *(Поет.)*

«Как младенец в колыбели,

Я хочу лежать в могиле».

Гувернантка. Бедное дитя, как вы бледны в этом уборе из сверкающих камней!

Лена. О боже, а ведь я могла бы любить! Человек так одинок,

он бредет в потемках и ищет руку, на которую можно опереться, пока смерть не разомкнет объятий и не сложит руки любящих на груди. Но зачем пронзать одним острием две руки, которые не ищут друг друга? Чем виновата моя бедная рука? *(Снимает с пальца кольцо.)* Это кольцо жалит меня, как змея.

Гувернантка. Но говорят, он настоящий Дон Карлос!

Лена. Однако же его...

Гувернантка. Ну?..

Лена. ...не любят. *(Поднимается.)* Фу! Знаешь, мне стыдно... Завтра исчезнет весь мой блеск, весь аромат. Неужели я всего лишь бедный бессловесный родник, чья тихая глупина должна отражать всякий образ, случайно склонившийся над ним? Цветы раскрываются и закрываются, когда хотят, поворачивают свои чашечки к утреннему солнцу и вечернему ветру. Неужели дочь короля меньше какому-нибудь цветка?

Гувернантка *(плачет)*. Дитя мое, ты просто жертвенный агнец.

Лена. О да, и священник — как жрец, уже занесший нож... Боже мой, боже мой, неужели все мы осуждены страдать во искупление? Неужели правда, что мир — распятый спаситель, солнце — его терновый венец, а звезды — острия, пронзившие его плоть?

Гувернантка. Дитя мое, дитя мое! Я не могу видеть, как ты страдаешь. Так нельзя, это убьет тебя... Быть может, кто знает?.. Я кое-что придумала. Посмотрим. Идем! *(Уводит Лену.)*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

*И вдруг раздался дивный глас  
Во тьме сознания,  
И все унес он в тот же час  
Воспоминанья.*

Адельберт фон Шамиссо

### СЦЕНА ПЕРВАЯ

*Открытая местность. На заднем плане — постоянный двор.  
Входят Леонс и Валерио с мешком.*

Валерио (*кряхтит*). Честное слово, принц, этот мир все же чересчур велик.

Леонс. Напротив! Напротив! Я едва осмеливаюсь протянуть руки, словно в тесной зеркальной комнате, где страшно задеть и разбить вдребезги прекрасные образы и остаться одному среди холодных голых стен.

Валерио. Я пропал.

Леонс. Невелика потеря. И для того, кто тебя найдет, не находка.

Валерио. А я спрячусь в тень моей тепы.

Леонс. Так ты совсем испаришься на солнце. Видишь вон то красивое облако? Оно меньше тебя почти вчетверо. Как благосклонно оно взирает на твою грубую материальную оболочку!

Валерио. Вашей голове оно не принесло бы ни малейшего вреда, даже если бы выплослось на нее капля за каплей... Блестящая мысль! Мы уже миновали дюжину княжеств, полдюжины великих герцогств и парочку королевств — все это за полдня, в страшной спешке, а чего ради? Что бы не становиться королем и не жениться на прекрасной принцессе. И вы еще живы — в вашем-то положении? Не понимаю вашего малодушия. Почему вы не приняли мышьяк, не бросились с колокольни, не пустили себе пулю в лоб — у вас было столько возможностей!

Леонс. Но идеалы, Валерио! Я создал себе идеал женщины, я должен искать и найти его. Она бесконечно красива и бесконечно глупа. Красота в таких случаях беспомощна и трогательна, как новорожденное дитя. Какой изысканный контраст: эти восхитительно пустые глаза, этот божественно бессмысленный рот, этот греческий профиль с овечьим носом, эта смерть духа и торжества бездушной плоти!

Валерио. Дьявол! Опять граница. Эта страна похожа на луковницу — одна шелуха, или на коробки, вставленные одна в другую, — в самой большой нет ничего, кроме коробок, а в самой маленькой вообще ничего нет. *(Бросает мешок на землю.)* Неужели этому мешку суждено стать моим надгробьем? Принц, меня одолевает философия. Вы видите перед собой символ человеческой жизни: стирая в кровь ноги, я тащу этот мешок в жару и стужу, чтобы вечером надеть чистую рубашку, а когда наконец наступает вечер — мой лоб уже в морщинах, щеки впали, глаза потухли и рубашка служит мне саваном. Не умнее ли сбросить узел, пропить в первом попавшемся кабаке, лечь в тени да проспать до вечера, а не потеть и не натирать кровавых мозолей? А засим, принц, перейдем от теории к практике. Просто из стыдливости и чувства любви к ближнему прикроем наготу нашего внутреннего человека — пожертвуем ему папалоны и шюртук. *(Подходит к гостинице.)* Ах, мешок мой, мешок! Слышишь, какие топкие ароматы, какие пьянящие благоухания, какие запахи жаркого! Ах, дорогие мои панталоны, как легко вы пустили здесь корни, вы зазеленели и расцвели, и вот тяжелые крупные виноградные гроздья уже сами просятся в рот, а молодое вино бродит в давяльне. *(Уходит вместе с Леонсом.)*

*Входят принцесса Лена и гувернантка.*

Гувернантка. Какой-то заколдованный день: солнце и не думает садиться, а ведь с тех пор, как мы убежали, прошло ужасно много времени.

Лена. Ну что ты, дорогая, даже цветы, что я сорвала на прощанье в нашем саду, еще не завяли.

Гувернантка. Но когда же мы отдохнем? Мы никого не встретили в пути. Где монастырь? Где отшельник? Где одинокий пастух?

Лена. Кажется, мы совсем иначе воображали себе мир, когда читали книги за оградой нашего сада, среди олеандров и мирт.

Гувернантка. Ах, мир ужасен. О странствующем принце нечего и думать.

Лена. Нет, мир прекрасен и велик, бесконечно велик! Мне хотелось бы идти так вечно — днем и ночью. Все недвижно, над полянами — красное марево цветов, и далекие горы покоятся на земле, как спящие облака.

Гувернантка. Господи, что люди скажут? И все же это так мило, так по-женски! Это самоотречение, это бегство святой Оттилии. Но нам надо найти кров, вечереет!

Лена. Растения складывают на ночь свои лепестки, и солнечные лучи качаются на стеблях, как усталые стрекозы.

## СЦЕНА ВТОРАЯ

*Постоялый двор на холме у реки. Широкая панорама. Перед входом в сад — Валерио и Леонс.*

Валерио. Ну, принц, разве мы не славно покутили за счет ваших панталон? А ваши сапоги — разве они не проскочили в живот с величайшей легкостью?

Леонс. Ты видишь эти цветы, эти старые деревья, эти кусты? У каждого есть своя история, своя прелестная таинственная сказка. Ты видишь этих приветливых седых стариков, сидящих у входа под виноградными лозами? Как они держатся за руки, как им страшно, что они уже стары, а мир еще молод. О, Валерио, а я так молод, а мир так стар!

Иногда мне становится жутко, хочется забиться в угол и плакать от жалости к себе.

Валерио (*подает ему стакан*). Возьми этот сосуд, эту кропильницу, и погрузись в море вина, чтобы оно захлестнуло тебя жемчужной пеной. Смотри, как эльфы в золотых башмачках, ударяя в димбалы, порхают над чашечками винных цветов.

Леонс (*вскакивает*). Идем, Валерио, мы должны что-то делать, что-то делать! Предадимся размышлениям, начнем исследовать, почему стул стоит на трех ногах, а не на двух. Давай расчленить муравьев, считать тычинки! Я сделаю это своей королевской причудой! Я еще найду себе погремушку, которая выпадет у меня из рук лишь в тот час, когда я начну заговариваться от старости и цепляться за одеяло. У меня еще остался нерастраченный запас энтузиазма, но, когда я состряпаю все по рецепту, мне понадобится вечность, чтобы найти ложку для такого блюда, а до той поры оно испортится.

Валерио. Ergo bibamus!<sup>1</sup> Бутылка — не возлюбленная, не идея, она не рождается в муках, не надоедает, не изменяет, она остается верной до последней капли. Распечатай ее — и все дремлющие в ней грезы брызнут тебе в лицо.

Леонс. Я отдал бы полжизни за любую соломинку, которую мог бы оседлать, как великолепного коня, и скакать на ней до тех пор, пока сам не лягу на соломе... Какой жуткий вечер! Внизу все тихо, наверху плывут изменчивые облака, солнечный свет уходит и возвращается! Смотри, какие причудливо странные формы! Как бегут на чудовищно тонких ногах длинные белые тени с крыльями нетопыря! И все так стремительно, так хаотично, а внизу не шелохнется ни один лист, ни одна травинка. Земля съежилась в страхе, как испуганный ребенок, а над ее колыбелью шествуют привидения.

---

<sup>1</sup> Итак, выпьем! (*латин.*).

Валерио. Не знаю, право, о чем вы. Мне здесь очень уютно. Солнце похоже на круглую трактирную вывеску, а огненные облака над ним словно надпись: «Трактир «Под Золотым Солнцем». Земля и вода внизу — как стол, залитый вином, и мы на этом столе — игральные карты, которыми со скуки перекидываются бог и дьявол. Вы карточный король, а я валет, не хватает только дамы, прекрасной дамы червей с большим пряничным сердцем на груди и огромным тюльпаном, в котором сентиментально утопал бы ее длинный нос.

*Входит гувернантка, за ней — принцесса Лена.*

Господи, да вот она! Правда, не с тюльпаном, а с понюшкой табаку, а вместо носа у нее настоящий хобот. *(Гувернантке.)* Дражайшая, куда вы так торопитесь? Ваши бывшие икры видны до самых ваших почтенных подвздож!

Гувернантка *(останавливается с оскорбленным видом)*. Любезный, зачем вы так широко открываете пасть — она заслоняет ландшафт.

Валерио. Чтобы вы, почтеннейшая, не раскровянили свой нос о горизонт. Такой нос похож на Ливанскую башню, обращенную к Дамаску.

Лена *(гувернантке)*. Дорогая, разве путь так далек?

Леонс *(мечтательно, про себя)*. О, каждый путь далек. Смерть отсчитывает секунды в нашей груди, каждая капля крови отмеряет время, и вся жизнь — медленная агония. Для усталых ног каждый путь слишком долог.

Лена. И для усталых глаз каждый свет слишком резок, и для усталых губ каждый вздох слишком тяжел *(улыбаясь)*, и для усталого слуха каждое слово — лишнее. *(Уходит в дом вместе с гувернанткой.)*

Леонс. О дорогой Валерио! Я мог бы сказать, как Гамлет: «Неужто с этим, сударь мой, и с лесом перьев, да с парой прованских роз на прорезных башмаках...» Кажется, я ска-

зал это очень меланхолично. Слава богу, я начинаю разрешаться от бремени меланхолией! Воздух уже не так прозрачен и холоден, раскаленное небо смыкается надо мной, и падают тяжелые капли... Но этот голос: «Разве путь так далек?» Столько голосов звучит над землей, и смысл речей — непостижим, но этот голос я понял. Он сошел на меня, как дух, витавший над водами прежде, чем стал свет. О это пробуждение, это глубокое смятение в моей душе... как наполняет пространство ее голос... «Разве путь так далек?» (*Уходит.*)

В а л е р и о. Нет, путь в сумасшедший дом вовсе не так далек, туда попасть легко — известны все тропы, все окольные пути, все прямые дороги. Я прямо вижу, как он шагает туда по самой широкой аллее в морозный зимний день, держит шляпу под мышкой, обмахивается платком и ищет тени под голыми деревьями. Вот шут гороховый! (*Уходит вслед за ним.*)

### СЦЕНА ТРЕТЬЯ

*Комната.*

*Принцесса Лена. Гувернантка.*

Гувернантка. Не думайте об этом человеке!

Лена. Он казался таким старым, несмотря на белокурые локоны. Весна на ланитах и зима в сердце! Это грустно. Усталое тело отдыхает на любом ложе, но где обретет покой утомленный дух? Мне пришла в голову ужасная мысль: я подумала, что есть люди, которые несчастны, неизмеримо несчастны уже тем, что они живут на свете. (*Поднимается.*)

Гувернантка. Куда ты, дитя мое?

Лена. Хочу спуститься в сад.

Гувернантка. Но...

Лена. Что «но», дорогая матушка? Ты ведь знаешь, меня хотели упрятать в темницу. А мне нужна роса и ночная прохлада — как цветам. Вечер полон гармонии. Слышишь, как цикады поют колыбельную уходящему дню, а ночные филилки усыпляют его своим ароматом! Я не могу оставаться в доме. Стены давят меня.

#### СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

*Сад. Ночь и лунный свет. Видна принцесса Лена, сидящая на траве. В некотором отдалении — Валерио.*

Валерио. Прекрасная вещь — природа, но она была бы еще прекрасней, если бы не было комаров, гостиницы содержались бы почище, а древесные жуки не копошились бы так во всех стенах. В доме храпят люди, а на дворе квакают лягушки, в доме трещат сверчки, а на дворе — кузнечики. Ах, травка-травка, ты одна не отравляешь мне существование. *(Ложится на траву.)*

Леопс *(входя)*. О ночь, благоухающая бальзамом, будто первая ночь в раю! *(Замечает Лену и тихо приближается к ней.)*

Лена *(про себя)*. Кузнечик затрещал во сне. Ночь засыпает, ее щеки бледнеют, дыхание замирает. Луна как спящий ребенок, золотые локоны упали на ее милое лицо... О, ее сон — это смерть. Как безмятежен мертвый ангел на своем темном ложе, а вокруг, словно свечи, сияют звезды. Бедное дитя. оно печально, мертво и так одиноко!

Леонс. Поднимись, надень свой белый наряд, иди сквозь почь вслед за мертвым ангелом, пой ему песнь смерти!

Лена. Кто это?

Леонс. Сон.

Лена. Сны благословенны.

Леонс. О, погрузись в счастливый сон, и пусть я буду блаженством твоих грез.

Лена. Смерть — самый блаженный сон.

Леонс. Так позволь мне быть твоим ангелом смерти. Пусть мой поцелуй, подобно его крылам, закроет твои уста. *(Целует ее.)* Ты так прекрасна и так трогательно возлежишь на черном саване ночи, что природа возненавидела жизнь и полюбила смерть.

Лена. Нет, оставь меня! *(Вскакивает и быстро удаляется.)*

Леонс. Довольно, довольно! Вся моя жизнь в этом мгновении. Теперь умереть! Большого достичь невозможно. Мир освобождается из хаоса и встает мне навстречу, сияя красотой, дыша свежестью. Земля — чаша, полная темного золота: как пенится в ней свет, и льется через край, и рассыпает вокруг жемчужины звезд! Капля блаженства превращает меня в драгоценный сосуд. Пролейся же, священный кубок! *(Хочет броситься в реку.)*

Валерио *(вскакивает и удерживает его)*. Стойте, ваше высочество!

Леонс. Оставь меня в покое!

Валерио. Оставляю, если будете слушаться и оставите в покое воду.

Леонс. Дурак!

Валерио. Неужто вы, ваше высочество, еще не покончили с лейтенантской романтикой: выбрасывать в окошко стакан, из которого пили здоровье возлюбленной?

Леонс. Отчасти ты прав.

Валерио. Утешьтесь! Если уж нынче ночью вы не спите под травой, то извольте спать хотя бы на траве. Спать в здешней кровати — тоже самоубийство. Лежишь на соломе, как покойник, а блохи кусают тебя, как живого.

Леонс. Ну, ладно. *(Ложится на траву.)* Несчастный, ты лишил меня прекраснейшего самоубийства! Никогда в жизни мне не представится другой столь удачный момент — да еще при такой отличной погоде. А теперь у меня уже пропла охота. Этот болван все опошил своим желтым жилетом

и небесно-голубыми штанами... О небо, пошли мне здоровый, вульгарный сон!

Валерио. Аминь!.. Я спас человека от смерти, и моя чистая совесть да согреет меня нынче ночью.

Леонс. Спокойной ночи, Валерио!

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### СЦЕНА ПЕРВАЯ

*Леонс. Валерио.*

Валерио. Опять жениться? Неужели, ваше высочество, вы собираетесь ежедневно справлять свадьбу?

Леонс. А знаешь ли ты, Валерио, что даже ничтожнейший из людей так велик, что всей жизни не хватит, чтобы успеть полюбить его? И кроме того, женившись, я осчастливорю определенный сорт людей, которые воображают, будто их долг — украшать и освящать то, что само по себе священно и прекрасно. Они находят известное наслаждение в этой своей очаровательной наглости. Пусть себе наслаждаются!

Валерио. Сие весьма гуманно и свидетельствует о любви к животным. А она-то знает, кто вы такой?

Леонс. Она знает лишь, что любит меня.

Валерио. А ваше-то высочество знает, кто она такая?

Леонс. Дурак! Кто спрашивает об имени гвоздику или каплю жемчужной росы?

Валерио. Иными словами, она вообще этакое нечто — хотя и это звучит слишком грубо и уже смахивает на объявление о поимке... Но как вы это устроите? Гм. Принц, стану я министром, ежели сегодня на глазах вашего папаши вы будете скованы цепями брака с этим невыразимым безымянным нечто? Даете слово?

Леонс. Да.

Валерио. Бездомный пес Валерио имеет честь представиться его сиятельству господину государственному министру Валерио фон Валеренталю. «Что надо этому субъекту? Я его не знаю! Убирайся вон, мошенник!» *(Убегает.)*

*Леонс следует за ним.*

## СЦЕНА ВТОРАЯ

*Площадь перед замком короля Петера. Советник, учитель, крестьяне в воскресном платье, с еловыми ветками в руках.*

Советник. Дражайший учитель, как держатся ваши люди?

Учитель. Они так хорошо держатся на ногах, что еще и друг друга поддерживают. Они здорово хватили спиртного, а то бы им не выдержать на такой жаре. Веселей, ребята! Протяните вперед свои ветки, будто вы — еловый лес, а ваши носы — ягоды земляники, а ваши треуголки — оленьи рога, а ваши кожаные штаны — лунный свет в лесу. И не забудьте: самый последний все время забегает вперед первого, чтобы казалось, будто вас возвели в квадрат.

Советник. А вы, господин учитель, отвечаете за трезвость?

Учитель. Конечно, конечно. Я едва на ногах стою от трезвости.

Советник. Слушайте, ребята, в программе сказано: «Все верноподданные, чисто одетые на собственный счет, сытые, с довольными лицами, выстраиваются вдоль дороги». Не осрамите нас!

Учитель. Будьте стойкими! Когда появятся молодые — перестаньте чесать за ухом и ковырять в носу, изобразите на лицах почтительные чувства, не то будут приняты чувствительные меры. Вы только поймите, что для вас сделали: выстроили перед кухней, так что раз в жизни вы можете услышать запах жаркого. Урок свой помните? Давайте повторим! Ви!

Крестьяне. Ви!

Учитель. Ват!

Крестьяне. Ват!

Учитель. Виват!

Крестьяне. Виват!

Учитель. Вот так, господин советник. Видите, как растет наша интеллигенция. Вы только подумайте — латынь! А се-

годня вечером мы закатым бал, где блеснем всеми дырами на наших штанах и всеми фонарями на лбах.

### СЦЕНА ТРЕТЬЯ

*Большой зал. Нарядные дамы и господа, тщательно сгруппированные.*

*На переднем плане церемониймейстер и несколько слуг.*

Церемониймейстер. Какой ужас! Все насмарку. Жаркое подгорает. Поздравления скисают. Крахмальные воротнички обвисли, как свиные уши. У крестьян снова отрастают бороды и ногти. У солдат развилась локоны. Из двенадцати девственниц не осталось ни одной, которая не предпочла бы горизонтальное положение вертикальному.

Первый слуга. В своих белых шелковых платьях они похожи на дохлых кроликов, а придворный поэт хрюкает вокруг них, как озабоченный поросенок. Господа офицеры потеряли всякую осанку, а придворные дамы стоят как соляные столбы, и соль выпадает на их ожерелья.

Второй слуга. Они показывают товар лицом, их нельзя называть чистосердечными, но все — вплоть до сердца — у них наружу.

Церемониймейстер. Они прямо будто карта Турецкой империи: видны и Дарданеллы и Мраморное море. Убирайтесь, негодня! Встать у окон! Его королевское величество!

*Входят король Петер и члены Государственного совета.*

Петер. Итак, принцесса тоже исчезла. Нет никаких следов нашего дорогого наследного принца? Исполнены ли мои приказы? Находятся ли границы под наблюдением?

Церемониймейстер. Да, ваше величество. Обзор из этого зала позволяет нам осуществлять строжайший надзор за границами. *(Первому слуге.)* Что ты видишь?

Первый слуга. Собаку, которая ищет своего хозяина по всему королевству.

Церемониймейстер (*второму слуге*). А ты?

Второй слуга. Кто-то разгуливает вдоль северной границы, но это не принц, я бы его узнал.

Церемониймейстер. А ты?

Третий слуга. Прошу прощения — ничего.

Церемониймейстер. Это не много. А ты?

Четвертый слуга. Тоже ничего.

Церемониймейстер. Этого также недостаточно.

Петер. Но, советник, разве я не принял постановления о том, что мое королевское величество должно сегодня ликовать и праздновать свадьбу? Разве не такова была моя воля?

Президент. Да, ваше величество, именно так записано в протоколе и скреплено печатью.

Петер. И разве я не скомпрометирую себя, если не выполню своего решения?

Президент. Если бы вашему величеству было возможно себя скомпрометировать, то это подходящий случай для компрометации.

Петер. Разве я не дал своего королевского слова?.. Да, я немедленно осуществляю свое решение. Я буду ликовать. (*Потирает руки.*) О, как я ликую!

Президент. Мы все здесь разделяем чувства вашего величества, насколько это возможно и подобает верноподданным.

Петер. О, я не знаю, куда деваться от радости! Я прикажу спать моим камергерам красные сюртуки, произведу несколько кадетов в лейтенанты, позволю своим полканным... но... но свадьба? Разве во второй части постановления не сказано, что должна быть свадьба?

Президент. Да, ваше величество.

Петер. А если принц не придет и принцесса тоже?

Президент. Да, если принц не придет и принцесса тоже не придет...

Петер. То? То?

Президент. ...то они не смогут пожениться.

Петер. Стоп! Логичен ли вывод? Если... то... Верно! Но мое слово, мое королевское слово!

Президент. Пусть ваше величество утешится по примеру других величеств! Королевское слово — значит... значит... ничего не значит!

Петер (*слугам*). Все еще ничего не видно?

Слуги. Ничего, ваше величество, ровным счетом ничего.

Петер. А я постановил, что будет ликование! Я хотел начать ликование ровно в двенадцать с первым ударом колокола и собирался ликовать ровно двенадцать часов. Мне становится совсем грустно.

Президент. Всем подданным предписано разделять чувства вашего величества.

Церемониймейстер. Однако тем, кто не имеет носовых платков, плакать воспрещено из соображений благопристойности.

Первый слуга. Стоп! Что я вижу? Похоже на какой-то выступ вроде носа, все остальное — пока по ту сторону границы, за ним я вижу еще одного человека и дальше еще двух особ противоположного пола.

Церемониймейстер. В каком направлении?

Первый слуга. Они приближаются. Они подходят к замку. Вот они!

*Входят Валерио, Леонс, гувернантка и принцесса Лена, все в масках.*

Петер. Кто вы?

Валерио. Если б я знал. (*Медленно снимает с себя несколько масок, надетых одна на другую.*) Это я? Или это? Или это? Право, я опасаясь, что могу разоблачиться или распелушиться таким образом до конца.

Петер (*смущенно*). Но кто-то такой вы все-таки есть?

Валерио. Если ваше величество прикажет. Но, господа, развесьте кругом зеркала и прикройте немного ваши блестя-

щие пуговицы, и не смотрите на меня так, что я отражаюсь во всех глазах, не то я вправду забуду, кто я такой.

Петер. Этот человек смущает меня, приводит в отчаяние! Я в величайшем затруднении!

Валерио. Но я как раз собирался сообщить высокому и уважаемому обществу, что в настоящий момент сюда прибыли два всемирно известных автомата и что, возможно, я сам являюсь третьим и самым замечательным из них, если бы, собственно говоря, мне самому было точно известно, кто я такой, чему, впрочем, не следовало бы удивляться, ибо я сам совершенно не знаю, что говорю, и даже не знаю, что я этого не знаю, так что весьма вероятно, что все это говорится самой собой благодаря валикам и роликам. *(Скрипучим голосом.)* Дамы и господа, вы видите перед собой двух особ противоположного пола, самца и самку, даму и господина! Здесь нет ничего, кроме искусства и механики, ничего, кроме картонной упаковки и часовых пружинок! У каждого из них на правой ноге под ногтем мизинца находится крошечная рубиновая пружинка. Стоит на нее слегка нажать — и механизм будет работать пятьдесят лет подряд. Эти существа сделаны столь совершенно, что их совершенно не отличишь от других людей. Если не знать, что они простые картонки, их, собственно говоря, можно было бы сделать членами человеческого общества. Они очень благородны, ибо говорят литературно. Они высоко нравственны, ибо по звонку встают, по звонку обедают и по звонку ложатся спать, у них прекрасное пищеварение, что доказывает их чистую совесть. Они глубоко порядочны, ибо дама не знает слова «штаны», а господин не позволит себе идти за дамой вверх по лестнице и впереди дамы вниз по лестнице. Они весьма образованны, ибо она поет все новые арии из опер, а он носит манжеты. Обратите внимание, дамы и господа, они находятся теперь в интересной стадии своего развития: начинает действовать

механизм любви. Он уже несколько раз носил за ней паль, а она несколько раз закатывала глаза и глядела в небо. Оба уже много раз шептали: вера, надежда, любовь! Оба выглядят весьма согласованно, не хватает лишь словечка «аминь!»

Петер (*приложив палец к носу*). Фигурально? Фигурально? Президент, если человека вешают фигурально, разве это не все равно, что повесить его буквально?

Президент. Прошу прощения, ваше величество, это даже гораздо лучше, ибо при этом ему не больно и тем не менее он повешен.

Петер. Придумал. Мы отпразднуем свадьбу фигурально! (*Указывая на Леонса и Лену*.) Вот принцесса, а вот принц... Я осуществлю свое решение, я буду ликовать... Прикажите ударить в колокола! Приготовьте поздравления! Где придворный священник?

*Священник выступает вперед, откашливается, несколько раз смотрит на небо.*

Валерио. Перестань корчить рожи и начинай! Ну, с богом! Священник (*в большом смятении*). Но если мы... или нет...

Тем не менее... однако...

Валерио. Понеже и поелику...

Священник. Ибо...

Валерио. Некогда еще до сотворения мира...

Священник. Что...

Валерио. Господь захандрил...

Петер. Поторапливайтесь, милейший.

Священник (*собравшись с духом*). Если ваше высочество, принц Леонс из королевства Попо, и ваше высочество, принцесса Лена из королевства Пипи, если оба ваши высочества взаимно и обоюдно хотят стать мужем и женой, произнесите громкое и отчетливое «да».

Лена и Леонс. Да!

Священник. Тогда я говорю: аминь.

Валерио. Хорошо сказано, раз-два — и готово, так были созданы Адам и Ева, и все твари в раю стояли вокруг них.

*Леонс снимает маску.*

Все. Принц!

Петер. Принц! Сын мой! Я погиб, я обманут! *(Идет к Лене.)*

Кто эта особа? Я прикажу объявить все недействительным!

Гувернантка *(снимает маску с Лены, торжествуя)*. Принцесса!

Леонс. Лена?

Лена. Леонс?

Леонс. Ах, Лена, я думал, это было бегство в рай.

Лена. Я обманута!

Леонс. Я обманут!

Лена. О случай!

Леонс. О провиденье!

Валерио. Ах, как смешно, как смешно! Ваши высочества в самом деле обязаны своим счастьем счастливому случаю. Надеюсь, из любезности к случаю вы будете любить друг друга.

Гувернантка. Наконец-то мои старые глаза увидели это! Странствующий принц! Теперь я умру спокойно.

Петер. Дети мои, я тронут, я едва могу стронуться с места. Я счастливейший человек! Настоящим, сын мой, я торжественно передаю тебе управление государством и начинаю мыслить без помех. Сын мой, ты предоставишь в мое распоряжение этих мудрецов *(указывает на членов Государственного совета)*, дабы они поддерживали меня в моих усилиях. Идемте, господа, мы должны мыслить, мыслить без помех! *(Удаляясь вместе с членами Государственного совета.)* Этот человек меня совсем запутал. Мне снова нужно выпутываться.

Леонс *(присутствующим)*. Господа! Моя супруга и я, мы бесконечно сожалеем, что сегодня столь долго злоупотребля-

ли вашими услугами. Вы так устали стоять, что мы отнюдь не желали бы испытывать дольше вашу стойкость. Идите домой, но не забудьте ваших речей, проповедей и стихов, ибо завтра мы — спокойно и на досуге — разыграем эту шутку сначала. До свидания!

*Все, кроме Леонса, Лены, Валерио и гувернантки, удаляются.*

Вот видишь, Лена, мы доотказа набили карманы куклами и игрушками. Что мы теперь с ними будем делать? Подрисуем им усы и привесим сабли? Иди наденем фраки и прикажем этим инфузориям заняться политикой и дипломатией, а сами сядем рядом и станем наблюдать за ними в микроскоп? А может быть, ты хочешь шарманку, на которой сновали бы прелестные белые мыши? Хочешь, построим театр?

*Лена прислоняется к нему и качает головой.*

Я знаю, чего ты хочешь: мы разобьем все часы, запретим все календари и будем считать дни и месяцы только по цветочным часам, только по соцветиям и плодам. Мы устали все наше маленькое королевство зеркалами, чтобы зимы не было вовсе, а летом стояла бы жара, как на Искье и Капри, и целый год будем проводить среди роз и фиалок, среди апельсиновых деревьев и лавров.

Валерио. А я стану министром и издам декрет, что каждый, у кого на руках мозоли, обязан находиться под опекой; что тот, кто работает до упаду, является уголовным преступником; что всякий, кто похваляется тем, что в поте лица своего ест хлеб свой, объявляется безумным и социально опасным; и потом все мы будем лежать в холодке и молить бога ниспослать нам макароны, арбузы и фиги, а также музыкальные глотки, классические тела и комфортабельную религию.

# ВОЙЦЕК

---

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ВОЙЦЕК,  
МАРИЯ,  
КАПИТАН,  
ДОКТОР,  
ТАМБУРМАЖОР,  
УНТЕР-ОФИЦЕР,  
АНДРЕС,  
МАРГАРИТА,  
ХОЗЯИН БАЛАГАНА,  
ЯРМАРОЧНЫЙ ЗАЗЫВАЛА,  
СТАРИК ШАРМАНИЦК,  
ЕВРЕЙ,  
ТРАКТИРЩИК,  
ПЕРВЫЙ ПОДМАСТЕРЬЕ,  
ВТОРОЙ ПОДМАСТЕРЬЕ,  
КЭТЕ,  
ДУРАЧОК КАРЛ,  
СТАРУХА,  
ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК,  
ВТОРОЙ РЕБЕНОК,  
ТРЕТИЙ РЕБЕНОК,  
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН,  
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН,  
ПОЛИЦЕЙСКИЙ,  
СОЛДАТЫ, СТУДЕНТЫ, ПАРНИ И ДЕВУШКИ, ДЕТИ,  
НАРОД.

## У КАПИТАНА

*Капитан сидит на стуле; Войцек бреет его.*

**Капитан.** Не спеши, Войцек, не спеши; помаленьку да полегоньку. А то у меня уж голова кругом идет. На что мне те лишние десять минут, которые ты сэкономишь? Ты только подумай, Войцек: тебе еще жить да жить, целых тридцать лет, три десятка лет! Значит, триста шестьдесят месяцев! А сколько дней! Часов! Минут! На что тебе такая уйма времени? Распредели его с толком!

**Войцек.** Так точно, господин капитан.

**Капитан.** Страх берет за наш мир, как подумаешь о вечности. Все суета сует, Войцек, все суета! А что такое вечность? Вечность — то, что вечно, это всякому понятно; а на поверку выходит — нет, и вечное не вечно, а миг один, да, один лишь миг. Меня дрожь пробирает, Войцек, как подумаю, что земля наша за сутки делает оборот вокруг себя. Пустая трата времени! К чему все это? Видеть не могу мельничного колеса, на меня от этого меланхолия находит.

**Войцек.** Так точно, господин капитан.

**Капитан.** Что ты вечно суетишься? Порядочные люди так себя не ведут, у порядочных людей совесть чиста... Ну, скажи же что-нибудь, Войцек! Какая нынче погода?

**Войцек.** Плохая, господин капитан, плохая: ветрено!

**Капитан.** То-то я чувствую, на дворе все шебуршит что-то; сильный ветер — все равно что мышь. *(С хитрой усмешкой.)* Мне кажется, ветер-то северо-южный?

**Войцек.** Так точно, господин капитан.

Капитан. Ха-ха-ха! Северо-южный! Ха-ха-ха! Ну и глуп ты, братец, ужас как глуп!.. (*Расстроганно.*) Добрый ты человек, Войцек, но (*с достоинством*) нет в тебе никакой морали! Мораль — это когда ведешь себя морально, понял? Мораль — очень хорошее слово. А ты произвел на свет ребенка без церковного благословения, да, без церковного благословения — это не мои слова, так сказал высокочтимый господин капеллан.

Войцек. Господу богу не важно, с его ли согласия сделали бедного малыша, господин капитан. Господь ведь сказал: «Пустите детей приходиться ко мне».

Капитан. Что ты мелешь? Что это еще за ответ? Лишь бы меня с толку сбить. Раз я говорю «ты произвел», значит, твоя и вина.

Войцек. Мы люди бедные, сами понимаете, господин капитан: деньги, кругом одни деньги! А у кого денег нет — попробуй-ка, произведи на свет себе подобных, да чтоб по всем правилам морали! А ведь и мы из плоти и крови сделаны. Похоже, не видать нашему брату счастья — ни на этом, ни на том свете. Я так располагаю, что и на небе нас поставят при громе подсоблять.

Капитан. Нет в тебе добродетели ни на грош, Войцек! Грешный ты человек! Ты из плоти и крови? Ну а мне каково бывает? Лежишь после дождика у открытого окошка и глядишь, как белые чулочки перепрыгивают через лужицы, — черт меня побери, Войцек, так всего от любви и распирает! Я тоже из плоти и крови. Но — добродетель! Добродетель, Войцек, превыше всего. А то разве бы я так проводил время? Я себе всегда твержу: помни, ты человек добродетельный (*расстроганно*), порядочный.

Войцек. Да, господин капитан, добродетель — мне пока не до нее. Видите ли, мы люди простые, у нас этой добродетели нету, такие уж мы уродились — от природы, значит; но будь я барин — при шляпе, при часах да при сюртуке, да умей я разговор вести по-благородному, тут бы и я от

добродетели не отказался. Она, добродетель-то, видать, очень даже прекрасная вещь, господин капитан. Да только куда нам при нашей бедности!

Капитан. Ну ладно, Войцек. Я вижу, ты человек хороший, вполне хороший. Только думаешь слишком много, это тебе не впрок; оттого и вид у тебя такой загнанный.. Устал я с тобой спорить. А теперь иди себе, да не беги что есть мочи, а ступай медленно, не спеша, помалечку да полегонечку.

ПОЛЕ, ВДАЛИ ГОРОД

*В кустах Войцек и Андрес рубят прутья. Андрес нависывает.*

Войцек. Говорю тебе, Андрес, проклятое это место, нечистое. Глянь, вон в траве светлая полоса. Там всегда густо растут грибы-дождевики. Вечером по ней катится голова. Один парень возьми да и схвати ее — думал, ежик. А через трое суток вынесли того парня ногами вперед. *(Тихо.)* Андрес, не иначе это все франкмасоны! Уж я знаю, это они!

Андрес *(поет)*.

«Зайцы там сидели,  
Травушку-муравушку...»

Войцек. Тихе! Слышишь, Андрес? Слышишь? Кто-то копошится!

Андрес.

«Травушку-муравушку  
До корней объели!»

Войцек. Кто-то шевелится — за мной, подо мной! *(Топает ногой.)* Пусто, чувствуешь? Внизу-то пусто все! Это они, франкмасоны!

Андрес. Мне боязно!

Войцек. Чудно как-то, тихо все. Даже дышать боязно...  
Андрес!

А н д р е с. Чего тебе?

В о й ц е к. Говори что-нибудь! (*Напряженно всматривается в даль.*) Андрес! Как светло-то стало! Над городом зарево! Все небо горит! И словно трубный глас сверху. Как полыхает-то!.. Бежим! И не оглядывайся! (*Тянет его за собой в кусты.*)

А н д р е с (*после паузы*). Войдек, все еще гремит?

В о й ц е к. Нет, тихо все, вроде как белый свет вымер.

А н д р е с. Слышишь? В барабаны бьют. Пошли отсюда!

#### ГОРОД

*Мария с ребенком у окна. Маргарита. Музыканты во главе с тамбурмажором, трубя зарю, проходят мимо.*

М а р и я (*подбрасывает ребенка на руках*). Гоп-ля, малыш!

Трам-та-та-там! Слышишь? Вон они идут!

М а р г а р и т а. Вот это мужчина! Богатырь, да и только!

М а р и я. А выступает-то — как лев!

*Тамбурмажор отдает честь.*

М а р г а р и т а. Ай-яй-яй! Соседушка, глазки-то как заблестели!

Никогда я тебя такой не видывала.

М а р и я (*поет*).

«Солдаты, солдаты,  
Красавцы молодцы...».

М а р г а р и т а. А глазки-то все блестят...

М а р и я. Ну и что из того? Снеси свои к жиду, пускай почистит; может, и твои так заблестят, что их вместо пуговиц купят.

М а р г а р и т а. Что?! Это ты, да на меня? Ах ты сударыня девушка! Я женщина честная, а про тебя каждая собака знает, что ты через семь шар кожаных штанов насквозь видишь.

М а р и я. У, стерва! (*Залопывает окно.*) Ты со мной, мой сыночек. И что люди суют свой нос! Бедный ты мой, потаскушкин ты сын! Радость ты моя незаконная! Трам-та-татам! (*Поет.*)

«У красавицы девицы  
Мужа нет, а сын родится.  
Что тут делать, как тут быть?  
Надо жить и не тужить.  
Эх, сыночек, мы в ответе,  
Все равно одни на свете».

\* \* \*

«Распрягай свою шестерку,  
Корму нового задай.  
Но не сыпь овса в кормушку  
И водою не пои.  
Дай прохладного винца, Ганс,  
Дай прохладного винца!»

*В окошко стучат.*

Кто там? Это ты, Франц? Заходи.

В о й ц е к (*появляясь*). Не могу. Мне на перекличку надо.

М а р и я. Ты что, прутья, что ли, для капитана рубил?

В о й ц е к. Да.

М а р и я. Что с тобой, Франц? Ты такой испуганный.

В о й ц е к (*таинственно*). Мария, что со мной опять было, ну просто... Разве не сказано: смотри, поднялся дым из земли, как дым из печи?

М а р и я. Да будет тебе!

В о й ц е к. Так и шло за мной по пятам до самого города. Чудное что-то творится, непонятное... Прямо ум за разум заходит. Что только с нами со всеми будет?

М а р и я. Франц!

В о й ц е к. Мне пора. А сегодня вечером сходим с тобой в балаганы. Я тут кое-что скопил. (*Уходит.*)

Мария. Ну что ты скажешь! Все ему что-то чудится. А на дите и не взглянул даже! Еще спятит от этих мыслей!.. Что притих, малыш? Испугался? Как темно-то сразу стало, будто уж и глаза не видят. А то всегда словно фонарик у нас светится. Ой, не могу, страшно здесь! (*Уходит.*)

#### БАЛАГАНЫ

*Огни. Народ. Старик поет и играет на шарманке, мальчик пляшет.*

Старик.

Знают взрослые и дети —  
Вечных нет на этом свете,  
Все в могилу мы сойдем.

Войцек. Эх, да ох, да гоп-ля-ля! Бедный старик! Бедное дитя! Кому праздник, кому будни. Знаешь что, Мария? Надо, видать, самому дурачком прикидываться, чтобы тебя не одуррачили. Ну и чудная наша жизнь!

*Подходят к зазывале, который стоит перед балаганом, рядом его жена в мужском платье и ряженая обезьяна.*

Зазывала. Почтеннейший публикум! Прошу посмотреть это существо, как его создал господь бог: ничего ни в нем, ни на нем. А теперь посмотрите, что из него сделал наш искусство: ходит на двух ногах, сам в мундире и с сабля. Обезьяна теперь солдат: это не есть высоко, только нижняя ступенька человека. А ну! Поклонись публике! Вот так — теперь ты есть молодец! Сделай воздушный поцелуй! (*Играет на трубе.*) У этой каналья музыкальный слух... Господа, у нас вам покажут астрономический лошадь и канальский птичка. Любимцы всех коронованных особ Европы, разгадывают все: сколько лет, сколько детей, какие болезни. Представление начинается! Сей минут начало всех начал!

Войцек. Хочешь?

Мария. Давай поглядим. Может, интересно. Какие у него кисточки красивые! А женщина-то, глянь,— в штанах!

*Входят в балаган.*

Тамбурмажор. Постой-ка! Вон она, видишь? Что за красотка!  
Унтер-офицер. Тысяча чертей! Этой бы девице кирасирами плодиться!

Тамбурмажор. Для тамбурмажоров тоже согдится.

Унтер-офицер. А осанка какова! Черные косы короной, ни дать ни взять — королева! А глаза-то, глаза!

Тамбурмажор. Как будто в колодец глядишь или в печную трубу. Вперед, за ней!

#### ВНУТРИ ЯРКО ОСВЕЩЕННОГО БАЛАГАНА

Мария. Светло-то как!

Войцек. Да уж известно: у черных кошек завсегда глаза светятся. Ай да вечер сегодня!

Хозяин балагана (*выводит лошадь*). Ну-ка, покажи свой талант! Покажи, какой у скотины разум! Посрами человеческое общество! Почтеннейшая публика! Эта животная тварь, что перед вами, с хвостом и четырьмя копытами, состоит членом всех ученых обществ, она — профессор нашего университета, учит там студентов верховой езде и фехтованию... Все это делается простым разумением. А теперь подумай-ка с двойным смыслом. Ну-ка покажи, как ты думаешь с двойным смыслом!.. Есть ли ослы в вашем ученом обществе?

*Лошадь отрицательно мотает головой.*

Видите теперь, что такое двойной смысл? Это вам не мистика, а физиогномстика. Да, это не скотина безмозглая, это — личность, это — человек, это — животный человек, — и все же скотина, тварь.

*Лошадь ведет себя непристойно.*

Так, позорь всю честную компанию! Вы видите, животное еще дитя природы, несовершенной природы! Учитесь у него! Спросите у врача — терпеть крайне вредно! Ибо сказано: человек, помни о своем естестве! Сотворен еси из праха, песка и грязи. Зачем тщиться стать больше, чем прахом, песком и грязью?.. Видите, что значит разум: она умеет считать в уме, но не может считать на пальцах. А все почему? Не дано ей, чем выразить свои мысли, только этим от человека и отличается. А ну-ка, скажи господам, который час! У кого из дам или господ имеются часы? У кого есть часы?

Унтер-офицер. Часы? *(Величественно и неторопливо вынимает часы из кармана.)* Вот, прошу вас!

Мария. Ой, поближе бы поглядеть! *(Пробирается вперед.)*

*Унтер-офицер помогает ей.*

Гамбургор. Смачная бабенка!

#### КОМНАТА МАРИИ

*Мария сидит с ребенком на коленях и осколком зеркала в руке.*

Мария. Тот, другой, приказал — он и ушел!.. *(Смотрится в зеркало.)* Как камушки сверкают! Как они называются-то? Вспомнить бы, как он про них сказал!.. Спи, малыш! Закрой глазки, да покрепче!

*Мальчик закрывает глаза ладошками.*

Еще крепче! Вот, так и лежи — тихо-тихо, а то бука придет и тебя заберет! *(Поет.)*

«Лавку, девка, закрывай  
И цыгана не пускай,  
А то за руку возьмет,  
На чужбину уведет».

*(Снова смотрится в зеркало.)* Ведь уж наверняка золотые. А как к лицу мне будут на танцах! У нашей сестры только и есть добра, что крыша над головой да осколочек зеркала; а все же губы у меня алые — ничуть не хуже, чем у важных дам с ихними зеркалами от пола до потолка и благородными господами, что целуют им ручки. А что я? Нищая, да и только...

*Мальчик приподнимается.*

Спи, малыш, закрой глазки! А вот и сонный ангел прилетел! Видишь, вон он, вон! *(Пускает зайчика по стене.)* Скорей закрой глазки, а то ангел в них заглянет, ты и ослепнешь!

*За ее спиной в комнату входит Войцек. Она вскакивает, закрывая руками уши.*

Войцек. Что это у тебя?

Мария. Ничего.

Войцек. У тебя между пальцами что-то блестит.

Мария. Сережка. Нашла.

Войцек. Сроду со мной такого не бывало: найти да еще две зараз!

Мария. Что ж я, продажная, что ли?

Войцек. Ну ладно, ладно, Мария... Как малыш-то сладко спит! Положи его поудобнее, а то ему стул режет. Вишь, лобик-то весь в капельках от пота. Ох, труды наши тяжкие — во сне и то потеем! Вот она, бедность-то наша!.. На тебе еще немного денег, Мария; тут жалованье и еще кое-что — от капитана перепало.

Мария. Спасибо, Франц!

Войцек. Мне пора. До вечера, Мария! Прощай! *(Уходит.)*

Мария *(помолчав)*. Все-таки какая же я тварь! Зарезаться впору! А, да и весь мир не лучше! Пошли все к чертям, что мужики, что бабы!

У ДОКТОРА

*Войцек. Доктор.*

Доктор. Войцек! Ты же человек чести! А что я вижу?

Войцек. Что такое, господин доктор?

Доктор. Своими глазами вижу: среди бела дня на улице Войцек мочится на стену, как пес паршивый!.. А ведь каждый божий день получаешь от меня три гроша и харч! Войцек, это гадко! Люди становятся день от дня всё гадже.

Войцек. Но как же быть, господин доктор, если природа требует?

Доктор. «Природа требует», «природа требует»! Природа! Разве я не доказал, что *musculus constrictor vesicae*<sup>1</sup> подчиняется нашей воле? Природа! Человек по природе своей свободен, Войцек, свобода и есть высшее выражение индивидуальности человека. Не может удержать мочу! (*Укоризненно качает головой и начинает ходить по комнате, заложив руки за спину.*) Ты уже съел свой горох, Войцек? Ничего, кроме гороха, заруби себе на носу, черт побери! Я произведу полнейший переворот в науке, все полетит вверх тормашками. Мочевины поль целых десять сотых, солянокислый аммоний, гипероксид... Войцек, не хочешь ли опять помочиться? Войди-ка в дом да попробуй!

Войцек. Сейчас уж не могу, господин доктор!

Доктор (*патетически*). А на стену можешь! У меня в руках твое письменное согласие, наш договор!.. Я видел, своими глазами видел — как раз высунул в окошко нос, чтоб в него попали солнечные лучи: изучаю процесс чихания. (*Наступает на Войцека.*) Нет, Войцек, я не сержусь: сердиться вредно и для здоровья и для науки. Я спокоен, совершенно спокоен; пульс у меня шестьдесят, как обычно, и я

---

<sup>1</sup> *Musculus constrictor vesicae* — мышца, сокращающая мочевой пузырь (*латин.*).

говорю с тобой вполне хладнокровно! Избави бог! Кто же станет волноваться из-за человека? Из-за человека! Другое дело, если б я залечил до смерти протей! И все же, Войцек, тебе не следовало мочиться на стену...

Войцек. Видите ли, господин доктор, характеры-то у людей разные — у одного так, у другого этак... Но природа — она и есть природа, она свое берет, видите, дело-то какое... (*щелкает пальцами*) тут все по-другому, как бы это выразить... ну, к примеру...

Доктор. Войцек, ты опять философствуешь.

Войцек (*доверительно*). Господин доктор, с вами случались видения? Иногда в полдень солнце так жжет, что кажется — вся земля пылает. И тогда страшный голос обращается к тебе с небес.

Доктор. Войцек, у тебя аберрация.

Войцек (*прикладывая палец к носу*). Это все гриб-дождевик, господин доктор, в нем, в нем все дело. Вы когда-нибудь видели, какими узорами растут дождевики? Вот бы их разгадать!

Доктор. Войцек, у тебя аберрация *mentalis partialis*<sup>1</sup> чистой воды, вид второй, четко выраженный. Войцек, ты получишь прибавку! Вид второй: навязчивая идея при общей вмняемости. У тебя все по-прежнему? Бреешь своего капитана?

Войцек. Так точно.

Доктор. Ешь свой горох?

Войцек. Каждый божий день, господин доктор. А деньги на кошт отдаю жене.

Доктор. И службу несешь?

Войцек. Так точно.

Доктор. Интересный ты случай, Войцек. Получишь прибавку, если и дальше будешь таким молодцом! Дай-ка мне твой пульс! Так-так.

---

<sup>1</sup> *Mentalis partialis* — умственная частичная (*латин.*).

КОМНАТА МАРИИ

*Мария. Тамбурмажор.*

Тамбурмажор. Мария!

Мария (*глядя на него, с чувством*). А ну пройдишь-ка!.. Грудь — как у быка, а борода-то — ну чисто львиная грива! Второго такого поискать. Любая позавидует!

Тамбурмажор. А как в воскресенье надену парадный султан да белые перчатки — эх, черт возьми! И принц всегда говорит: ничего не скажешь, парень ты — что надо!

Мария (*насмешливо*). Да что ты! (*Подходит к нему вплотную*.) Уж ты мужчина, так мужчина!

Тамбурмажор. Но и ты тоже — не баба, а загляденье! Тысяча чертей! А не произвести ли нам с тобой целый выводок тамбурмажоров, а? (*Обнимает ее*.)

Мария (*вдруг помрачнев*). Пустя!

Тамбурмажор. Ну и поровиста!

Мария (*яростно*). Только тронь!

Тамбурмажор. Да что в тебя, бес вселился, что ли?

Мария. А, пропади все пропадом! Один черт!

УЛИЦА

*Капитан. Доктор.*

Капитан (*пытая, шествует по улице; останавливается и оглядывается, отдуваясь*). Господин доктор, да не бегите вы! И не размахивайте так тростью! Словно за собственной смертью гонитесь. Порядочный человек, у которого совесть чиста, не торопится. Порядочный человек... (*Хватает доктора за рукав*.) Господин доктор, пожалейте свою жизнь!

Доктор. Некогда мне, дела, дела!

Капитан. Господин доктор, на меня такая тоска напала, такая меланхолия! Стоит посмотреть на свой мундир на вешалке — и уже слезы на глазах.

Доктор. Гм! Одутловатость, лишний жир, толстая шея — апоплексическая конституция. Да, господин капитан, у вас есть шанс получить арорлехиа сегебги<sup>1</sup>, быть может, и одно-стороннее, и тогда парализует половину тела, или же в лучшем случае вы лишитесь разума, а тело будет продолжать свое брренное существование; таковы в общих чертах ваши перспективы на ближайший месяц! Впрочем, могу вас заверить, что вы являете собой весьма интересный для медицины случай, и, если богу будет угодно и речь у вас отнимется лишь частично, нам удастся провести редчайший эксперимент.

Капитан. Господин доктор, не пугайте меня! Были случаи, когда умирали от испуга, от одного лишь испуга!.. Я уже вижу людей с лимонами в руках, но они скажут обо мне: он был человек порядочный, порядочный — вот что они скажут, господин доктор!

Доктор (*протягивает ему шляпу*). Что это такое, господин капитан? Это — шляпа без головы, высокочтимейший господин фрунт!

Капитан (*переворачивает шляпу*). А это что такое, господин доктор? Это — горшок вместо головы, дорогой господин коновал! Ха-ха-ха! Не обижайтесь! Я человек порядочный, но, если захочу, тоже могу, господин доктор, ха-ха-ха, если захочу...

*Появляется Войцек; он хочет пройти мимо.*

Эй, Войцек, куда это ты так торопишься? Постой-ка! Несешься сломя голову прямо на людей, того и гляди, насквозь проткнешь. Ты так спешишь, будто тебе не терпится скорее побрить целый полк кирасир, которые тебя же и повесят! Однако что я хотел сказать? А! Про длинные бороды. Войцек, длинные бороды...

---

<sup>1</sup> Арорлехиа сегебги — кровоизлияние в мозг (*латин.*).

Доктор. Еще Плиний говорил, что солдатам длинные бороды ни к чему...

Капитан (*продолжая*). Ха! Длинные бороды! Скажи-ка, Войцек, не случилось ли тебе найти в своей суновой миске волосок из чужой бороды? Ну, ты меня понял? Из бороды некоего... ну, скажем, сапера, или унтер-офицера, или... или тамбурмажора? А, Войцек? Но твоя женушка честная. Не шляется, как другие

Войцек. Так точно!.. Это вы о чем, господин капитан?

Капитан. Ишь, как его задело за живое! Ну, может быть, и не в суше... Но если ты сейчас поспешишь и завернешь за угол, то, может, еще успеешь найти волосок на губах. А каковы губки-то, — Войцек, я ведь тоже знавал, что такое любовь! Да что с тобой? Ты побелел как полотно!

Войцек. Господин капитан, я человек маленький, у меня никого больше нет на свете. Если вы просто шутите, господин капитан...

Капитан. Кто шутит? Это я-то шучу? Тебе бы так шутить, парень!

Доктор. Дай-ка пульс. Войцек, пульс!.. Слабый, четкий, прыгающий, неровный.

Войцек. Господин капитан, земля горяча, как пекло, а у меня душа леденеет. Готов поклясться, что в аду холодно. Этого быть не может! Послушайте! Послушайте! Не может этого быть!

Капитан. Парень, да ты что, ты что, пули в лоб захотел? Ишь, как уставился на меня — гляди, зарежет! А ведь я добра тебе желаю, потому как ты, Войцек, человек порядочный, да, порядочный.

Доктор. Мышцы лица напряжены, неподвижны, изредка сокращаются. Поза пастороженная, взволнованная.

Войцек. Я пойду. Все может быть. Человек — он человек и есть! Все может быть... Хорошая погода, господин капитан. Видите, небо-то какое — серое, плотное, просто красота; так и хочется вбить в него крюк да повеситься. И все толь-

ко из-за маленькой разницы между «да» с одной стороны и «да» — «нет» — с другой. Господин капитан, что такое «да» и что такое «нет»? И виновато ли «да» в «нет» или же «нет» в «да»? Мне надо обо всем этом подумать. *(Уходит большими шагами, сначала медленно, потом все быстрее.)*

Доктор *(бросается вслед)*. Войцек, ты феномен! Получишь прибавку!

Капитан. И что за люди? Даже голова кругом идет! Носятся как угорелые. Долговязый вышагивает, будто тень от паука, а коротышка трусит рысдой. Долговязый — это молния, а коротышка — гром. Ха-ха-ха! Умора, да и только!

КОМНАТА МАРИИ

*Мария. Войцек.*

Войцек *(неотрывно глядя на нее и качая головой)*. Гм! Ничего не вижу, ничего не вижу. А надо бы увидеть да пустить в дело кулаки!

Мария *(испуганно)*. Что с тобой, Франц?.. Ты не в себе, Франц!

Войцек. Как тут грехом пахнет! Да что там пахнет! Так смердит, что ни один ангел не выдержит. Губы-то у тебя какие алые, Мария. Нет ли на них мозолей? Ну что ж, Мария, ты хороша, как грех во плоти... Может ли грех быть так хорош?

Мария. Франц, ты бредишь!

Войцек. Дьявол!.. Где он стоял? Тут? Или тут?

Мария. Ну, знаешь, день долог, а мир стар. Много людей могли стоять на том же месте — сперва один, потом другой.

Войцек. Я его видел!

Мария. Мало ли что увидишь, коли не слеп и солнышко светит.

Войцек. Ах ты тварь! *(Бросается на нее.)*

Мария. Только тронь! Лучше зарежь, а бить не бей! Меня в десять лет отец родной и то не смел пальцем тронуть, стоило мне на него взглянуть.

Войцек. Мария!. Да нет, уж я бы заметил. Каждый человек — пропасть: глянешь — голова закружится... Не мог не заметить! На вид-то — святая! Говорят, черт шельму метит. А как? Разве я знаю? Да и кто знает? (*Уходит.*)

КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

*Войцек. Андрес.*

Андрес (*поет*).

«Служанка у хозяйки — клад,  
Да только не ухожен сад.  
С рассвета до захода  
Все ждет ее работа».

Войцек. Андрес!

Андрес. Да?

Войцек. Хорошо-то как на дворе.

Андрес. Воскресная погода! Музыка за городом играет. Девиц туда понабежало! Народ валом валит. Веселье!

Войцек (*тревожно*). Там гапцы, Андрес, там танцуют!

Андрес. Да, кабачки там — что надо!

Войцек. Танцуют, танцуют!

Андрес. И пусть себе. (*Поет.*)

«А в ту пору, как полночь бьет,  
Она солдата в гости ждет».

Войцек. Андрес, я места себе не нахожу!

Андрес. Ну и дурак!

Войцек. Пойду туда. Все плывет перед глазами. Танцуют, танцуют! Руки у нее небось горячие! Проклятье! Андрес, Андрес!

Андрес. Ну, чего тебе?

Войцек. Я пойду туда, я должен сам увидеть.

Андрес. Тьфу, совсем с ума спятил! Из-за какой-то там девки.

Войцек. Пойду, жарко здесь, не могу.

## КАБАЧОК

*Окна открыты, танцы. Скамьи перед домом. Подмастерья.*

Первый подмастерье.

«Хоть рубахой чужой прикрыта спина,  
А душе подавай зелена вина!»

Второй подмастерье. Братец, а не продырявить ли мне по дружбе твое естество? Вперед! Желая продырявить твое естество! Сам знаешь, я тоже парень хоть куда, так измолочу, что живой блохи на себе не найдешь.

Первый подмастерье. А душе, а душе подавай вина! Даже деньги и те прах! Незабудочка моя, как мир-то хорош! Братец, такая тоска берет, будто в нутре ведро слез скопилось. Нам бы с тобой заместо носа — да по бутылочке, мы бы знай наливали друг дружке в горлышко.

Гости (*поют*).

«Вот ловец из Пфальца юный  
По лесам зеленым скачет.  
Едет парень по полям.  
Лисий след — его забота,  
Люба молодцу охота».

*Войцек подходит к окну. Мария и тамбурмажор танцуют, не замечая его.*

Войцек. Он! Она! Дьявол!

Мария (*танцуя*). Шибче! Шибче!

Войцек (*задыхаясь*). Шибче! (*В бешенстве вскакивает и вновь опускается на скамью.*) Шибче! (*Стискивает руки.*) Вертитесь! Прижимайтесь! Почему господь не погасит солнце, чтоб все живое сплелось в непотребстве — мужчины и женщины, люди и скоты? Валяйте средь бела дня, валяйте у всех на глазах, как мошкара какая!.. Мария! Огнем горит! Огнем!.. Шибче! Шибче! (*Вскакивает.*) А он-то как облапил, как всю ее облапил! Она теперь его, его, а раньше была моя! (*Падает как подкошенный.*)

Первый подмастерье (*стоя на столе, держит речь*). Однако, если путник, дойдя до реки времени и задавшись вопросом — в чем мудрость господня? — сам себя спросит: а для чего живет человек? — то я ему отвечу: воистину, а чем бы жил крестьянин, маляр, сапожник и врач, если б господь не создал человека? Чем бы жил портной, если б господь не внушил человеку, что в наготе срам? На что бы жил солдат, если б господь не вдохнул в него жажду битвы? А потому — не смущайтесь, да-да, мир прекрасен, но все земное — тленно, даже деньги — и те прах. А в заключение, дорогие мои слушатели, помочимся крестнакрест, дабы жид сдох!

*Общее веселье; Войцек приходит в себя и убегает.*

#### ПОЛЕ

Войцек. Шибче! Шибче! Тра-ля-ля! Трам-та-та-там! Скрипки играют, флейты... Шибче!.. Замолкни, музыка! Что это? Я слышу голос из-под земли! (*Бросается ничком.*) Ха! Что, что, не разберу? Громче, громче! Зарежь, зарежь волчицу?.. Зарежь, зарежь... волчицу. Это мне? Это я должен?.. И еще откуда-то слышится... И ветер о том же?.. Все звучит и звучит в ушах: зарежь, зарежь!

#### КОМНАТА В КАЗАРМЕ

*Ночь. Андрес и Войцек на одной кровати.*

Войцек (*тихо*). Андрес!

*Андрес бормочет во сне.*

(*Расстлкивает Андреса.*) Эй, Андрес, Андрес!

Андрес. Ну чего тебе?

Войцек. Не могу заснуть! Как закрою глаза, все в голове начинает кружиться и скрипки играют, все шибче, все шибче. А потом из стены раздается голос. Ты ничего не слышишь?

Андрес. Ну и пускай себе танцуют! Устал я как собака. А теперь — храни нас господь, аминь.

Войцек. А он все твердит: зарежь, зарежь! И что-то острое как нож так и впивается промеж глаз.

Андрес. Да спи ты, дурень! *(Засыпает.)*

Войцек. Шибче! Шибче!

#### ДВОР ДОКТОРСКОГО ДОМА

*Студенты и Войцек стоят во дворе, доктор — у чердачного окна.*

Доктор. Господа, здесь, на крыше, я чувствую себя Давидом, узревшим Вирсавию; но зрю я лишь панталоны женского пансиона, развешанные на веревке в саду. Господа, мы остановились на важной проблеме отношения субъекта к объекту. Рассмотрим одно из тех существ, в которых органическое самоутверждение божественного начала проявляется в столь высокой степени, и его отношение к пространству, земле и планетам. Господа, если я сейчас выброшу эту кошку из окна, каково будет отношение этого существа к *centrum gravitationis*<sup>1</sup> в соответствии с его природным инстинктом?.. Эй, Войцек! *(Кричит.)* Войцек!

Войцек *(ловит кошку)*. Господин доктор, она кусается!

Доктор. А ты обращаешься с ней так нежно, словно это не тварь животная, а твоя родная бабушка. *(Спускается с чердака.)*

Войцек. Господин доктор, меня всего трясет.

---

<sup>1</sup> *Centrum gravitationis* — центр притяжения *(латин.)*.

Доктор (*обрадованно*). Ага! Прекрасно, Войцек! (*Потирает руки. Берет у Войцека кошку.*) Что я вижу, господа, совершенно новый вид блохи — и великолепный вид, надо сказать... (*Вынимает луну; кошка удирает.*) Господа, эта тварь начисто лишена научного инстинкта... Но зато я могу показать вам кое-что другое. Обратите внимание: этот человек в течение трех месяцев ест один горох; посмотрите, каков результат, пощупайте-ка пульс: очень неровный! А зрачки!

Войцек. Господин доктор, у меня темно перед глазами! (*Садится.*)

Доктор. Держись, Войцек! Еще несколько дней — и конец. Пощупайте, господа, пощупайте!

*Студенты прощупывают пульс, виски и грудь Войцека.*

Кстати, Войцек, покажи-ка господам, как ты двигаешь ушами!.. Я давно хотел вам показать — у него при этом сокращаются две мышцы. Ну давай, живо!

Войцек. Ах, господин доктор!

Доктор. Тварь ты этакая! Мне, что ли, двигать твоими ушами? Норовишь улизнуть по примеру кошки? Вот, полюбуйтесь, господа! Переходный тип от человека к ослу, часто в результате женского воспитания и незнания латыни. Сколько волос выдрала у тебя матушка на память о нежно любимом сыне? За последние дни они у тебя что-то сильно поредели. Итак, горох, господа!

#### ДВОР КАЗАРМЫ

Войцек. Ты ничего не слышал?

Андрес. Он тут, и с приятелем.

Войцек. Он что-то сказал!

Андрес. С чего ты взял? Ну сказал — и сказал. Сперва смеялся, а потом и говорит: «Смачная бабенка! А уж ляжки у нее! Да и вся — как огонь!»

Войцек (*с каменным лицом*). Так. Значит, он это сказал. А что мне нынче ночью снилось? Уж не нож ли? И что за ерунда снится, право слово!

Андрес. Ты куда, приятель?

Войцек. За вином для капитана... И все же, Андрес, другой такой не было.

Андрес. Ты о ком?

Войцек. Да так, ни о ком. Прощай! (*Уходит.*)

### КАБАЧОК

*Тамбурмажор. Войцек. Народ.*

Тамбурмажор. Я мужчина хоть куда! (*Бьет себя в грудь.*) Мужчина, и все тут! Попробуй сунься! Кто тут сам господь бог во хмелю? А нету — так и проваливайтесь! Не то так дам, что нос из зада выскочит! Как дам... (*Войцеку.*) Эй, парень, пей! Хочу, чтоб водка лилась рекой. Мужчина создан, чтобы пить!

*Войцек насвистывает.*

Кончай, а то вырву язык из горла и оберну вокруг туловища!

*Дерутся; тамбурмажор побеждает.*

Ну что, дать под вздох, чтобы вовсе сдох?

*Войцек, пошатываясь от изнеможения, садится на скамью.*

А то разошелся больно!

Вся жизнь — в вине,

И храбрость — на дне!

Женщина. Отделали беднягу!

Другая. Он в крови!

Войцек. Одно к одному.

## ЛАВКА СТАРЬЕВЩИКА

*Войцек. Еврей.*

Войцек. Дорого просишь за пистолетик.

Еврей. Так что же, берете или не берете? Ну так как?

Войцек. А ножик сколько стоит?

Еврей. Этот нож — всем ножам нож! Вы хотите зарезаться?

Ну так как? Пожалуйста, я отдам его по сходной цене.

Смерть будет стоить вам недорого, а все ж таки и не задаром. Будете иметь экономную смерть. Ну так как?

Войцек. Им можно резать не только хлеб.

Еврей. Два гроша.

Войцек. На! *(Уходит.)*

Еврей. «На!» Как будто два гроша не деньги!.. Собака!

## КОМНАТА МАРИИ

Дурачок Карл *(лежит и, перебирая пальцы, приговаривает)*.

У этого — золотая корона, он король... Завтра привезу королеве ее дитя... Кровяная колбаса говорит ливерной: иди ко мне...

Мария *(перелистывает Библию)*. «И не обрели ложь в устах его...». Боже правый, боже милостивый! Нет-нет, не гляди на меня так! *(Листает дальше.)* «Но фарисеи привели к нему жену, уличенную в прелюбодеянии, и поставили ее посередине... Иисус же сказал: так и я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши!» *(Молитвенно складывает руки.)* Господи боже! Господи боже! Нет, не могу!.. Господи, ничего у тебя не прошу, сделай только, чтобы я могла молиться!

*Сын прижимается к ней.*

Дитю в глаза смотреть совестно! *(Дурачку.)* Карл, поиграй с ним!

*Дурачок берет ребенка и умолкает.*

Мария. Франц не пришел ни вчера, ни сегодня. Ох, как здесь жарко стало! (*Распахивает окно.*) «И пала к ногам его, и плакала, и омывала ноги его слезами, и отирала их волосами головы своей, и целовала ноги его, и помазала их благовониями...». (*Бьет себя в грудь.*) Все умерло! Спаситель! Спаситель! Я хотела бы помазать ноги твои благовониями!

### КАЗАРМА

*Андрес. Войцек.*

Войцек (*разбирает свои вещи*). Андрес, а жилет у меня не казенный. Может тебе пригодиться.

Андрес (*сидит безучастно, отвечает неохотно*). Ладно.

Войцек. Крестик моей сестры и колечко тоже.

Андрес. Ладно.

Войцек. Есть у меня еще божественная картинка — два сердца по золоту и надпись:

«За муку, господи, твою  
Тебе я сердце отдаю».

Она лежала в Библии моей матушки. А матушка теперь давно уж света ясного не видит. Так что бери, ничего.

Андрес. Ладно.

Войцек (*вытаскивает бумагу, читает*). «Фридрих Иоганн Франц Войцек, рядовой четвертой роты второго батальона второго пехотного полка, родился двадцатого июля, в день Благовещения...». Мне сегодня тридцать лет семь месяцев и двенадцать дней.

Андрес. Франц, бедняга, тебя бы в лазарет. Выпьешь водки с порошком — и лихорадку как рукой снимет.

Войцек. Да, Андрес, когда гробовщик стругает доски, никто не знает, кому на них лежать.

## УЛИЦА

*Перед входом в дом — Мария, дети, старуха; позже — Войцек.*

Дети.

«Светило солнышко с небес,  
Цвели в полях хлеба.  
И по двое и по двое  
Пошли они в луга.  
Шагали флейты впереди,  
А скрипачи вослед.  
Чулочки красные на всех...».

Первая девочка. Мне эта песня не нравится.

Вторая девочка. Тебе никогда ничего не нравится.

Первая девочка. Мария, спой нам!

Мария. Не могу.

Первая девочка. Почему?

Мария. Потому.

Вторая девочка. А почему — потому?

Третья девочка. Бабушка, расскажи сказку!

Старуха. Ну ладно, слушайте, цыплятки!.. Жил-был на свете бедный мальчик, ни отца у него, ни матери, все померло, и никого на всем свете не осталось. Ну вот, померли, значит, все, а он ходит, все ищет, и днем ищет, и ночью. А не нашедши на земле, решил он поискать на небе — там месяц такой ласковый светит. А как пришел к месяцу, смотрит — ах это гнилушка. Пошел он тогда к солнцу, а как пришел, смотрит — ах это вялый подсолнечник. А как к звездам пришел, смотрит — это маленькие золотые жучки, насаженные на булавки. Захотелось ему обратно на землю — глянь, а вместо земли — горшок перевернутый. Так он и остался один-одинешенек. Сел он тогда и горько заплакал. Так и сидит до сих пор, и все один да один.

Войцек (*появляясь*). Мария!

М а р и я (*испуганно*). Что случилось?

В о й ц е к. Пойдем, Мария. Пора.

М а р и я. Куда?

В о й ц е к. Почему я знаю?

ОПУШКА ЛЕСА У ПРУДА

*М а р и я. В о й ц е к.*

М а р и я. Значит, город в той стороне. Как здесь страшно!

В о й ц е к. Еще не пора. Иди сюда, сядь!

М а р и я. Но мне надо домой.

В о й ц е к. Ничего, ноги в кровь не собьешь.

М а р и я. Что это ты какой странный!

В о й ц е к. Помнишь, Мария, когда это у нас с тобой началось?

М а р и я. На Троицу два года будет.

В о й ц е к. А знаешь, сколько еще осталось?

М а р и я. Мне пора домой, ужин готовить.

В о й ц е к. Ты дрожишь, тебе холодно? А сама теплая. Губы-то и вовсе горячие! Горяча, горяча шлюхина кровь! И все ж я отдал бы царство небесное, только бы тебя еще раз поцеловать!.. Тебе холодно? Как похолодеешь, не будешь больше мерзнуть. По утренней росе тебе уж не дрожать.

М а р и я. Что ты такое говоришь?

В о й ц е к. Ничего.

*Молчание.*

М а р и я. Месяц-то какой багровый всходит!

В о й ц е к. Словно серп в крови.

М а р и я. Что ты задумал? Франц, ты весь белый!

*Он замазывается ножом.*

Франц, опомнись! Ради бога! Караул, на помощь!

В о й ц е к (*наносит удары ножом*). Вот тебе, вот тебе! Никак не помрешь? Мало тебе? Мало?.. Ха, еще дергается. А те-

перь? А теперь? Все еще жива. (*Опять колет.*) Вот, теперь готова! Мертва! Мертва! (*Бросает нож и убегает.*)

#### КАБАЧОК

Войцек. Пляшите все! Шибче! Шибче! Пока пот из всех дыр не прошибет! Все равно всем дорога в ад! (*Поет.*)

«Ах, доченька родная,  
Пошла ты по рукам,  
Кидалась как чумная  
На шею кучерам!»

(*Пляшет.*) Вот мы как, Кете! Садись! Жарко мне, жарко! (*Сбрасывает мундир.*) Так уж устроен мир — одну дьявол поймает, а другая удерет. Что это ты такая горячая, Кете? погоди, тоже похолодеешь. Ну ладно, ладно, не обижайся. Лучше спой что-нибудь.

Кете (*поет*).

«Не люблю в швабской мне стороне,  
И длинное платье совсем не по мне.  
Ведь у простой девчонки  
Короткие юбочки».

Войцек. Да нет, зачем же юбочки, в ад и нагишом пускают.

Кете (*поет*).

«Так не годится, мой господин,  
Держи свой талер и спи один».

Войцек. Да, верно, зачем мне руки в крови пачкать?

Кете. А что это у тебя на руке?

Войцек. У меня? У меня?

Кете. Красное! Это кровь!

*Их обступают.*

Войцек. Кровь? Кровь?

Трактирщик. У-у, кровь!

Войцек. Наверно, порезался — вот тут, на правой ладони.

Трактирщик. А на локоть как кровь попала?

Войцек. А я ее вытер.

Трактирщик. Что? Правую ладонь о правый локоть? Ловок ты, однако!

Дурачок. И сказал великап: чую, чую запах человечины! Фу, как смердит!

Войцек. Дьявол, чего вам всем надо? Какое вам дело? Пустите, а то первого же... У, дьявол! Вы что, думаете, я убил кого? Похож я на убийцу? Чего уставились? Посмотрите на себя лучше! А ну пустите! *(Убегает.)*

#### У ПРУДА

*Войцек один.*

Войцек. Нож! Где нож? Помню, я его здесь обронил. Он меня выдаст! Вот тут, тут где-то, еще немного! Это ли место? Что это такое? Там кто-то шевелится! Нет, тихо... Вон там, близко. Мария? Ха, Мария! Тихо. Все тихо! Что это ты такая бледная, Мария? И что за красные бусы у тебя на шее? С кем согрешила за это ожерелье? У тебя грехов столько было, что клейма ставить негде. Удалось мне тебя очистить? Отчего волосы твои так растрепаны? Заплетала ли ты косы нынче?.. Нож, нож! Нашел! Туда его! *(Бежит к воде.)* Туда его, в глубь! *(Бросает нож в воду.)* Камнем ушел на дно... Нет, слишком близко от берега, будут купаться... *(Входит в пруд и забрасывает нож по-дальше.)* Вот так, а теперь... Но летом станут нырять за ракушками... Э, до тех пор он заржавеет, не узнают... Надо было мне разломать его на мелкие части!.. Есть на мне еще кровь? Отмыться надо! Отмыться... Вот пятно, а вот и еще... *(Исчезает.)*

*Появляются горожане.*

Первый горожанин. Стойте!

Второй горожанин. Слышишь? Тише! Вон там!

! Первый горожанин. Ага! Там! А звук-то — у-у! — жуть берет!

Второй горожанин. Это вода зовет: давно, мол, не тонул никто. Прочь отсюда! Не к добру это!

Первый горожанин. Ого! Опять! Похоже, будто человеку конец приходит.

Второй горожанин. Жуть берет! И туман сплошной, и мгла какая-то... И жуки звенят, как надтреснутый колокол. Прочь, прочь!

Первый горожанин. Нет, теперь уже явственно слышно! Туда! За мной!

#### ИЗ НЕОКОНЧЕННЫХ НАБРОСКОВ

*Дурачок. Ребенок. Войцек.*

Дурачок (*держит ребенка на коленях*). А этот в воду упал, в воду упал, в воду упал.

Войцек. Мальчик мой, Христиан!

Дурачок (*уставившись на Войцека*). В воду упал.

*Войцек хочет приласкать ребенка, тот отворачивается и плачет.*

Войцек. Господи помилуй!

Дурачок. В воду упал.

Войцек. Христиан, малыш, я подарю тебе лошадку, гоп, гоп.

*Ребенок упирается.*

*(Дурачку.)* На, возьми, купи ему лошадку!

*Дурачок уставился на него.*

Гоп, гоп! Лошадка!

Дурачок (*радостно*). Гоп, гоп! Лошадка! Лошадка! Лошадка! (*Убегает с ребенком.*)

*Дети.*

Первый ребенок. Бежим на Марию смотреть!

Второй ребенок. Что? Где?

Первый ребенок. Так ты ничего не знаешь? Все уже там.

Она лежит на опушке.

Второй ребенок. Где?

Первый ребенок. Слева от дороги, в лесу, подле красного креста.

Второй ребенок. Бежим скорее, а то и смотреть будет нечего. Унесут, и все.

*Служитель в суде. Войцек. Врач. Судья. Полицейский.*

Полицейский. Хорошее убийство, настоящее убийство, прекрасное убийство. Лучше и требовать нельзя. Давно уже у нас ничего такого не было.

# **ПРОЗА**

**КАТОН УТИЧЕСКИЙ  
ГЕССЕНСКИЙ  
СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК**



## КАТОН УТИЧЕСКИЙ

29 сентября 1830 г.

Величественное и возвышенное зрелище — борьба человека с природой, когда он мощно противится ярости разбушевавшихся стихий и, полагаясь на силу духа, обуздывает грубые силы природы и подчиняет их своей воле. Но еще более возвышенно зрелище борьбы человека с судьбой, когда он осмеливается вмешаться в ход мировой истории, отдавая все силы, все благородные помыслы достижению одной цели. Кто поставил себе *одну* цель и тот не желает ничего, кроме ее достижения, и никогда не перестанет сопротивляться: он победит или умрет. Когда весь мир покорно склонялся пред безжалостным ходом времени, такие люди отважно хватались за колесо истории и либо задерживали его движенье могучею рукою, либо раздавленные его мощью умирали славною смертью, приобретя *бессмертие* ценою жизни. Такие люди сияют метеорами во мраке людского ничтожества и порока, ибо осмелились восстать и завоевать непреходящую славу, тогда как миллионы детей матери-земли, вечно пресмыкающихся во прахе, исчезают, превратившись в прах и не заслужив ничего, кроме забвения. Такие личности несутся, как кометы, по орбите веков; политики не могут предусмотреть их влияние, как астрономы не в силах предугадать влияние комет. Кажется, они описывают лишь эксцентрические круги, но глубокие последствия этих явлений показывают нам, что путь их давно был исчислен и определен провидением, законы которого столь же неисповедимы, сколь неизменны.

Каждый век дает нам таких людей, но все они издавна подвергались различнейшим оценкам. Причина этого в том, что каждая эпоха прилагает *свой* масштаб к героям настоящего и прошедшего; суждение выносится не по истинному достоинству этих людей: понимание и оценка их всегда определяются и разли-

чаются в зависимости от ступени, на которой находятся *сами судьи*. Всякому ясно, сколь ошибочно такое суждение: гиганта не измеришь меркой карликов. Мелочное время не должно осмеливаться судить человека, ни *единой* мысли которого оно не в состоянии понять и принять. Кто укажет путь орлу, когда он взмахнет крылами и устремится к звездам? Кто станет считать поникшие цветы, когда над землей бушует буря и разгоняет густые туманы, которые заволкли жизнь? Кто станет спрашивать мнения ребенка, когда происходят огромные события, имеющие великое значение? Вывод из этих рассуждений таков: нельзя судить о событиях и их последствиях по *видимости*. Надо постараться исследовать их *глубокий внутренний смысл*, и тогда обнаружится *истина*.

Я счел необходимым изложить эти предварительные соображения, чтобы в дальнейшем, при рассмотрении весьма трудного вопроса, показать, с какой точки зрения следует оценивать такого человека, как Катон. Моя первая задача состояла в том, чтобы доказать, что к древнему римлянину нельзя подходить с меркой нашего времени и о его деяниях нельзя судить согласно принципам и воззрениям современности.

Ведь нередко приходится слышать: *субъективно* Катон прав, *объективно* он заслуживает осуждения; то есть с нашей, христианской точки зрения Катон — преступник, а со своей собственной — герой. Для меня всегда было загадкой, как можно здесь становиться на точку зрения христианина. Что за странная мысль — судить древнего римлянина по законам катехизиса! Поскольку о действиях человека можно судить, лишь сопоставляя их с его характером, его принципами и его временем, то справедливой следует признать лишь *одну* точку зрения, а именно *субъективную*, любую же другую, в особенности — в данном случае — христианскую, следует безусловно отвергнуть. Катон не был христианином, и к нему нельзя прилагать принципы христианства. Рассматривать его следует лишь как *римлянина* и *стоика*. В соответствии с этим я не принимаю во внимание возражений вроде следующих: «Недозволено лишать себя жизни, ибо она дана

человеку свыше» или «Самоубийство есть вмешательство в предначертания божи». Я попытаюсь опровергнуть лишь упреки, которые можно было бы сделать Катону с точки зрения римлянина. Но для этого необходимо дать краткое и точное описание его характера и принципов.

Катон был одним из самых безупречных людей, какие нам известны из истории. Он был суров, но не жесток. Он был готов простить другим недостатки, которых не прощал себе самому. Гордость и суровость были у него скорее результатом принципов, чем следствием темперамента. Полный несокрушимой добродетели, он предпочитал *быть* добродетельным, а не *казаться* им. Он был справедлив к чужестранцам, горячо любил родину, искал лишь *блага* своих сограждан, но не их *благоклонности* и заслужил большую славу именно потому, что мало к ней стремился. Эта великая душа была способна вместить великие идеи *отечества, чести и свободы*. Отчаянная борьба Катона против Цезаря — следствие строгих убеждений. Жизнь и смерть Катона соответствуют принципам стоиков, которые гласят: «Добродетель есть истинная гармония человека с самим собой, совершенно независимая от награды или наказания. Достигается она овладением страстями. Добродетель предполагает глубокий внутренний покой и свободу от пристрастий, от чувственного удовольствия или неудовольствия. Она делает мудрого не бесчувственным, а неуязвимым и дает ему такую власть над собственной жизнью, которая допускает и самоубийство». С такими мыслями и чувствами в груди Катон стоял среди римлян, как гигант среди пигмеев, как богатырь давно забытых героических времен, как огромное, непостижимо мощное строение, возвысившееся над своей эпохой, над всяким человеческим величием. Лишь *один* человек противостоял ему — *Юлий Цезарь*. Они были равны по духу, силе и авторитету, но совершенно различны по характеру. *Катон* был последним настоящим римлянином, *Цезарь* — всего лишь удачливым Катилиной. Величие *Катона* объясняется его личными качествами, величие *Цезаря* — лишь удачей. Он возвысился ценой великого преступления. Двум таким

людям на земле было тесно. Один из них должен был пасть, и Катон пал, но погубило его не превосходство Цезаря, а испорченность сограждан. Полутора веками раньше Цезарь не победил бы.

После победы Цезаря под Тансом Катон потерял всякую надежду. В сопровождении немногих друзей он отправился в Утику, где в последний раз попытался поднять граждан на защиту свободы. Но вокруг он увидел лишь рабские души, Рим предал его, и, не находя более нигде пристанища для свободы, которой поклонялся всю жизнь, он счел единственно достойным поступком спасти свою свободную душу путем разумно избранной смерти. С нежнейшей любовью позаботился он о своих друзьях, холодно и спокойно обдумал решение и, когда были порваны все нити, связывавшие его с жизнью, уверенной рукой нанес себе смертельный удар и умер, поставив смертью достойный памятник своей великой жизни. Только такой конец и подобает высокой добродетели в порочные времена.

Оценки этого поступка столь же различны, сколь и мотивы, которые в нем усматривают. Однако я не собираюсь опровергать здесь мнения тех, кто говорит о тщеславии, честолюбии, упрямстве и тому подобном: столь мелочным чувствам не было места в душе такого человека, как Катон. Не стану возражать и тем, кто пошло обвиняет Катона в трусости. Чтобы опровергнуть подобные обвинения, достаточно простого описания характера Катона, который, по единодушному свидетельству всех древних писателей, отличался таким величием, что даже Веллей Патеркул говорит о нем: «...homo virtuti simillimus et per omnia ingenio diis, quam hominibus, propior»<sup>1</sup>. По другому мнению, более близкому к истине и более распространенному, Катона побудила к самоубийству негибкая гордость, согласная признать победителем одну лишь смерть. Если даже это и было истинным мотивом самоубийства, то ведь есть нечто величественное уже в са-

---

<sup>1</sup> Человек, наиболее добродетели подобный и прежде всего по духу своему скорее к богам, чем к людям принадлежащий (латин.).

мой мысли — утвердить собственной смертью справедливость дела, за которое сражаешься. Надо иметь великую душу, чтобы возвыситься до такого решения. Но истинная причина была иная, еще более возвышенная. Душа Катона всю жизнь горела бесконечной любовью к *родине и свободе*. Вокруг них, как вокруг солнца, вращались все его мысли и дела. Катон мог бы пережить падение Рима, если бы нашлось пристанище для другого божества, которому он всю жизнь поклонялся, — для *свободы*. Но *прибежища не нашлось*. Весь мир был в руках Рима, все народы порабощены, свободны лишь римляне. Но и они не избежали своей судьбы. Священные законы были попраны, алтарь свободы разрушен. И тогда Катон оказался *единственным* человеком среди миллионов, *единственным* в целом мире, который не захотел жить среди рабов и вонзил меч себе в грудь. Ибо римляне оказались в цепях, — оттого, что цепь золотая, она не перестает быть *цепью*. Рим знал лишь *одну* свободу — закон, которому он по *свободному* убеждению подчинился как *необходимости*. Цезарь уничтожил эту свободу, и Катон превратился бы в раба, покорись он произволу. Пусть Рим не был достоин свободы; свобода была достойна того, чтобы жить и умереть за нее. Если предположить, что это и есть истинная причина самоубийства, то поступок Катона будет полностью оправдан. Не понимаю, почему многие стараются найти другие, низменные причины. Мне непонятно стремление запятнать конец столь безупречной жизни. Причина, которой я объясняю его действия, находится в полном согласии со всем характером, со всей достойной жизнью этого человека. Отсюда я делаю вывод, что эта причина истинна.

Однако поступок Катона можно рассматривать также с точки зрения *разумности и чувства долга*. Можно спросить: разумно ли действовал Катон? Разве он не должен был попытаться вновь завоевать отечеству свободу, утрата которой его убила? И даже в случае неудачи разве не был он *обязан* сохранить себя для сограждан, друзей и семьи?

Первый аргумент опровергает сама *история*. Зная ход историче-

ских событий, Катон понимал, что Риму уже не подняться, что ему необходим тиран. А для государства, которым правит деспот, единственное спасение — гибель. Даже если бы Катону удалось победить самого Цезаря, Рим все-таки остался бы рабом: у гидры выросли бы новые головы. История подтверждает эту мысль. Деяние *Брута* оказалось лишь бледным отблеском прежних времен. Что толку разжигать огонь гражданской войны, зачем пытаться отсрочить неизбежное? *Катон видел, что Рима и свободы не спасти.* Еще легче опровергнуть утверждение, что Катон должен был сохранить себя для родины, хотя бы и порабощенной. Бывают люди, которые по возвышенному характеру своему более подходят для того, чтобы совершать выдающиеся деяния на благо родины, чем для того, чтобы оказывать помощь отдельным согражданам, попавшим в беду. Таков был Катон. Он лишился привычного обширного круга деятельности и не имел уже возможности действовать согласно своим принципам. Катон был слишком крупной личностью, чтобы из свободного человека превратиться в раба. Он не стал бы ушничать перед Цезарем, выпрашивая мелкие милости для своих сограждан. Это дело людей помельче. Заметим кстати, что пример *Цицерона* показывает, сколь ничтожны результаты уступчивости и покорности. Катон избрал иной путь, желая оказать отечеству последнюю великую услугу. Убив себя, он принес себя в жертву родине. Оставшись жить, презрев свои убеждения, покорившись узурпатору, Катон тем самым оправдал бы действия Цезаря. Открыто осудить их значило вновь начать борьбу, напрасно проливать кровь. Итак, был лишь *один* выход — *самоубийство*, которое было оправданием Катону и ужасным обвинением против Цезаря. Это было самое возвышенное деяние во имя родины, какое может совершить человек, ибо пример Катона должен был пробудить все живые умы уснувшего Рима. Если этого не случилось, то виноват *Рим*, но не *Катон*.

То же можно возразить и на следующий аргумент: Катон обязан был сохранить себя для семьи. Он не был человеком, способ-

ным ограничить себя домашним кругом. Да я и не вижу, какая в том была необходимость: друзьям смерть его принесла больше пользы, чем принесла бы его дальнейшая жизнь. Дочь его, *Чорция*, нашла уже своего *Брута*. Сын получил уже должное воспитание. Последним уроком, который мог дать ему отец, было самоубийство. Битва при *Филиппах* показала, что урок пошел на пользу. Окончательный вывод нашего исследования можно изложить словами *Людена*: «*Задавать вопрос, во вред или на пользу Риму пошла добродетель Катона, значит не понимать ни существенных особенностей Рима, ни души Катона, ни смысла человеческой жизни*».

Обозрев еще раз все вышеприведенные аргументы и обстоятельства, легко убедиться в том, что Катон мог и должен был действовать именно так, в соответствии со своим характером и убеждениями. Достойной жизни подобает именно такой исход, любой другой оказался бы в противоречии с нею.

Хотя все вышеизложенное не только извиняет, но и полностью оправдывает Катона, существует еще один аргумент против него, который нелегко опровергнуть, а именно: «Нельзя оправдывать действие тем, что оно соответствует особому характеру данного человека. Если самый *характер* порочен, то порочно и *действие*. Как раз это имеет место в случае Катона. Натура его получила весьма одностороннее развитие. Причина того, что самоубийство полностью соответствовало его характеру, заключается не в совершенстве этого человека, но в его пороках. *Не сила и мужество* заставили его взяться за меч, а неспособность вести достойную жизнь в непривычных условиях».

Как ни правдиво звучит это утверждение, при ближайшем рассмотрении оказывается, что и оно не может бросить тень на действия Катона. Из этого упрека следует, что Катон должен был суметь приспособиться не только к роли *республиканца*, но и к роли *слуги*. Раз он этого *не мог и не хотел*, значит, его характер несовершенен. Я не могу согласиться с тем, что приспособляемость к любым обстоятельствам есть признак совершенства. Я полагаю, что человеку всегда, во все века подоба-

ло и подобает играть лишь *одну* роль, выступать лишь в *одном* обличье, подчиняться лишь тому, что он признает истинным и справедливым. И так, я, напротив, утверждаю, что именно эта неспособность примириться с положением, противоречащим его священнейшим правам, его непоколебимым убеждениям, свидетельствует о *величии*, а не об *односторонности* и *несовершенстве* патуры Катона.

Как велико было его упорство там, где он ясно видел истину и справедливость, нам показывает его *смерть*. Мало найдется людей, которые приняли решение умереть с таким спокойствием и осуществили его с такой непоколебимостью. Хоть *Гердер* и говорит презрительно: *«Тот римлянин, что в гневе нанес себе раны!»* — истина тем не менее состоит как раз в том, что Катон предстает перед нами в особенном величии в силу особых обстоятельств своей смерти: он не выдернул меча из раны, хотя умер не сразу.

*Так* действовал, *так* жил, *так* умер Катон — подлинный представитель эпохи великого Рима, последний сын исчезнувшего племени героев, величайший человек своего времени. Смерть его — достойный памятник главной и единственной идее его жизни, деяние, священное для благородных сердец, торжествующее над смертью и забвением, непоколебимо стоящее в потоке вечности. Рим пал, эпоха гигантов кончилась, столетия прошли по могильным плитам. История не раз вновь бросала жребий над обломками империи, но имя Катона все еще не забыто как символ гражданской добродетели. И *не будет* забыто, пока в груди человека горит великое древнее чувство любви к *родине* и *свободе*.

# ГЕССЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

## ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ

*Дармштадт, июль 1834 г.*

### ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Этот листок рассказывает правду населению Гессена, но того, кто говорит правду, отправляют на виселицу. И даже тот, кто прочтет эти правдивые слова, быть может, будет наказан неправедными судьями. Поэтому всякий, кому попадет в руки этот листок, должен соблюдать следующие меры предосторожности:

- 1) тщательно спрятать листок от полиции за пределами своего дома;
- 2) показывать его только верным друзьям;
- 3) тем, кому не всецело доверяешь, подкладывать его только тайком;
- 4) если листок все-таки найдут у кого-нибудь, кто его прочитал, пусть скажет, что как раз собирался отнести его в окружной совет;
- 5) а кто не читал, тот ни в чем и не виноват, хоть бы у него и нашли листок.

### МИР ХИЖИНАМ! ВОЙНА ДВОРЦАМ!

*Положе, что в наше время, в 1834 году, приходится уличать Библию во лжи. Положе, что господь создал крестьян и ремесленников в пятый день, а князей и дворян в шестой и дворянам ска-*

вал: «Правьте всеми зверьми, что водятся на земле!» — а крестьян и мещан причислил к зверью. Жизнь дворян — сплошной праздник. Они живут в красивых домах, носят нарядные одежды, лица у них откормленные, а говорят они на своем особенном языке. Народ же перед ними что навоз на пашне. Мужик идет за плугом, а барин — за ним; мужик погоняет вола, а барин — мужика. Урожай — баршну, мужику — пустое жнивье. Жизнь крестьянина — сплошной труд, а плоды его труда достаются другим. Руки у мужика натружены до крови, его потом посолена пища на барском столе.

В великом герцогстве Гессенском — 718 373 жителя; ежегодно они платят правительству около 6 363 436 гульденов:

1. Прямые налоги . . .	2 128 131 гульден
2. Косвенные налоги . . .	2 478 264 гульдена
3. Доходы с государственных имений . . .	<b>1 547 394 гульдена</b>
4. Государственные пошлины	46 938 гульденов
5. Денежные штрафы . . .	98 511 гульденов
6. Прочие доходы . . .	64 198 гульденов
Итого . . . . .	6 363 436 гульденов

Эти деньги — кровавая десятина, которую дворяне собирают с крестьян. Около 700 000 человек обливаются потом, стонут и голодают, чтобы заработать эти деньги. Именем государства сборщики налогов выжимают из них все соки и ссылаются при этом на правительство, а правительство говорит, что деньги нужны для поддержания порядка в государстве.

Что же это за сила такая — государство? Если люди живут в одной стране и у них есть предписания или законы, которые должен выполнять каждый, то эти люди и составляют государство. Следовательно, государство — это *все*. Порядок в государстве поддерживается законом, который обеспечивает *общее* благо и должен исходить из этого *общего* блага. А теперь посмотрите, что такое наше Гессенское государство и что значит поддерживать в нем порядок. 700 000 человек платят за этот порядок

6 000 000 гульденов. Надеть на них ярмо, как на волов, — это и значит установить порядок. Пока мужик голодает, пока с него сдирают шкуру, до тех пор и в государстве порядок.

Кто же установил этот порядок, и кто его поддерживает? Гессенское правительство. А состоит оно из самого великого герцога Гессенского и высших чиновников. Другие чиновники назначены правительством, чтобы поддерживать порядок. Их — легион: государственные советники, тайные советники, надворные советники, советники духовного ведомства, школьные инспекторы, финансовые директоры, главные лесничие, и при них — целая армия секретарей и т. д. Народ — стадо, а они — пастыри, мясники и живодеры. Одеты они в кожу, содранную с мужика, дома их полны награбленного добра, слезами вдов и спрот отмыты добела их гладкие лица. Они правят как хотят и понуждают народ к покорности. Им вы и платите 6 000 000 гульденов налога. За эти деньги они берут на себя труд править вами, то есть кормиться за ваш счет и лишать вас прав человека и гражданина. Вот чего вы заслужили в поте лица своего!

На министерство внутренних дел и юстиции тратится ежегодно 1 110 607 гульденов. Вот во что вам обходится спутанный клубок законов и постановлений, принятых бог знает когда и написанных большею частью на чужом языке. Вам досталась в наследство глупость предшествующих поколений, на вас навалился гнет, под которым изнемогали ваши предки. Закон — собственность немногочисленного класса *дворян* и ученых, которые обеспечивают себе власть своими же измышлениями. Правосудие лишь средство держать вас в узде, чтобы удобнее было обдирать вас. Именем этого правосудия выносятся непонятные вам приговоры согласно законам, которых вы тоже не понимаете, и на основе принципов, о которых вам ничего не известно. В министерстве юстиции взяток не берут, потому что и так получают достаточно. Но большинство чиновников продали и сердце и совесть правительству. Их удобные кресла стоят на груде золота: расходы на судопроизводство и следственные органы составляют 461 373 гульдена. Фраки, трости и сабли непогрешимых слуг го-

сударства украшены серебром на сумму 197 502 гульдена: расходы на содержание полиции, жандармерии и т. д. Правосудие в Германии давно превратилось в продажную шлюху, состоящую на содержании у князей. Каждый шаг в поисках суда праведного стоит денег, каждый приговор несет вам бедность и унижение. Чего стоит гербовая бумага, сколько надо кланяться чиновникам, выстаивать в ожидании у дверей каждой канцелярии! Сколько приходится платить поборов писцам и судебным приставам! Вам позволено жаловаться на соседа, укравшего картошку. Но попробуйте пожаловаться на расхищение вашего имущества именем государства, под названием пошлин и налогов, на прокорм бесчисленного множества бесполезных чиновников, наживающихся за ваш счет! Вы отданы на произвол разжиревшим правителям, а произвол именуется законом; вы — рабочая скотина государства, лишенная человеческих прав. Пожалуйтесь на это и посмотрите, найдется ли суд, который примет вашу жалобу, найдется ли судья, который произнесет справедливый приговор. Ответом вам будут цепи, в которые заковали ваших сограждан из Фогельсберга, заключенных в Рокенбургскую темницу.

*А если найдется судья или чиновник, один из немногих, кому правосудие и общее благо дороже чревоугодия, если найдется такой народный советчик, а не народный обидчик, то с него самого сдерут шкуру высшие начальники и князья.*

На содержание министерства финансов тратится 1 551 502 гульдена в год; эти деньги идут на жалованье советникам, старшим и младшим сборщикам налогов и посыльным. Зато чиновники подсчитают, какой урожай принесет пашня и сколько людей в каждой семье. Все обложено налогами: земля под ногами, кусок во рту. Господа сидят во фраках, а народ стоит перед ними ободранный как липка, согнув спину. Они ощупывают ему ноги и плечи и прикидывают, сколько он может вынести. Если и пожалеют, то как жалеют рабочую скотину, чтобы не загонять до смерти.

На армию идет 914 820 гульденов.

За эти деньги ваши сыновья надевают пестрые мундиры, полу-

чают ружье или барабан в руки и каждую осень стреляют холостыми патронами, а потом рассказывают вам, как господа придворные и недоучившиеся дворянские сынки командуют честными деревенскими парнями и пагают впереди всех по широким городским улицам под звуки труб и барабанов. За эти 900 000 гульденов ваши сыновья приносят присягу тиранам и стоят на страже около их дворцов. Барабанами заглушают ваши стоны, прикладом проламывают головы, если вы осмелитесь подумать, что вы — свободные люди. Ваши сыновья становятся убийцами во имя закона и защищают разбойников, которых закон должен бы покарать. Вспомните о побойще под Зёделем! Ваши братья, ваши дети стали там братоубийцами, отцеубийцами.

На пенсии государство тратит 480 000 гульденов.

Эти деньги обеспечивают спокойную старость чиновникам, верно служившим государству положенный срок. А служить государству верой и правдой — значит быть его ретивым пособником, помогать драть шкуру с крестьян по всем правилам, которые и называются законностью и порядком.

Содержание министерства двора и государственного совета обходится в 174 600 гульденов. Сейчас, наверно, по всей Германии приближенные князей — самые отъявленные негодяи, и во всяком случае в герцогстве Гессенском. Если человек честный и попадет в государственный совет, то его выгонят. А если он станет министром и усидит на этом месте, то при теперешнем положении дел в Германии даже честный министр — просто петрушка на проволочке, а за проволочку дергает разукрашенная кукла — ваш князь, которым управляют лакей, кучер, кучерова жена, какой-нибудь ее любимчик, сводный брат или все они вместе.

*В Германии дела сейчас обстоят, как описано у пророка Михея, глава 7, стих 3 и 4: «Руки их обращены к тому, чтоб уметь делать зло; ...вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них — как терн, и справедливый — хуже колючей изгороди». Дорого вам обходятся эти тер-*

ны и колючки, ибо на ваши деньги живет еще и сам великий герцог с семейством и весь придворный штат: на них тратится 827 772 гульдена.

Учреждения и люди, о которых я до сих пор говорил, — лишь орудия, лишь слуги герцога. Чиновники ничего не делают от своего имени. На бумаге, назначающей их на должность, стоит Л. — *Людвиг*, герцог милостью божьей. Со страхом и почтением они говорят: «Именем великого герцога!» Это — их боевой клич. С ним они продают с молотка последнее ваше имущество, угоняют скотину, бросают вас в темницы. «Именем великого герцога!» — говорят они, и человек, которого так именуют, считается священным, неприкосновенным суверенным государем, его королевским высочеством. Но подойдите к нему поближе, загляните под княжескую мантию. Он ест, когда голоден, в спит, когда слипаются глаза. Он появился на свет нагим и беспомощным, как и вы. Застывшим и одеревеневшим его унесут, как и вас, в могилу. Но вы у него под пятой, вас 700 000 человек, и все вы работаете на него. Что бы он ни сделал, за все отвечают министры. Он властен распоряжаться вашим имуществом, облагая его пошлиной, властен распоряжаться вашей жизнью по законам, которые он же издает. Его окружают благородные дамы и господа — придворный штат. Божественная власть его переходит по наследству к детям, зачатым с женщиной из таких же сверхчеловеческих семей.

*Горе вам, идолопоклонники. Вы подобны язычникам, поклоняющимся крокодилу, коий их же и пожирает. Вы возлагаете на него корону, но это — терновый венец, который вы надеваете на свою же голову. Вы даете ему в руки скипетр, но это — лоза, истязаящая вас. Вы сажаете его на трон, но это — скамья, на которой пытают вас и ваших детей. Правительство — пиявка, ползущая по вашему телу, князь — голова ядовитой твари, министры — ее зубы, а чиновники — хвост. Вся эта голодная нечисть, все благородные господа, которым герцог раздает выгодные местечки, сосут кровь из нашей страны. Буква «Л», стоящая под его распоряжениями, — знак зверя, которому поклоня-*

ются язычники в наши дни. Княжеская мантия — подстилка, за которой валяются благородные дамы и господа, услаждая свою похоть. Орденами и лентами прикрывают они язвы свои, под дорогими нарядами скрыты тела прокаженных. Дочери народа — их служанки, их девки. Сыновья народа — их лакеи и солдаты. Пойдите в Дармштадт, поглядите, как веселятся господа на ваши деньги. А потом расскажите своим голодным жевкам и детям, что крестьянский хлеб весьма по вкусу дармоедам. Расскажите им о прекрасных нарядах, окрашенных потом и кровью, об изящных лентах, нарезанных из вашей кожи, о красивых домах, построенных на костях народных. А потом вернитесь в свои дымные хижины, гните спину на каменистой земле, чтобы когда-нибудь и дети ваши пошли поглядеть, как наследный принц с наследной принцессой держат совет, собираясь помочь еще какому-нибудь соседнему принцу. Пусть ваши дети поглядят через стеклянные двери на скатерть, на стол, за которым кушают господа. Пусть понюхают, чем пахнут яркие лампы, заправленные жиром, выжатым из костей мужика.

*Вы терпите все это, потому что негодяи внушают вам: несть власти, еще не от бога. Эта власть вовсе не от бога, но от сатаны, отца и прародителя всяческой лжи и неправды. Немецкие князья — незаконные властители. Они испокон веку презирали и в конце концов предали законного властителя — германского императора, который когда-то был свободно избран немецким народом. Власть немецких князей основана на предательстве и клятвопреступничестве, а не на выборе народном. Поэтому дела и мысли их прокляты богом, их мудрость — обман, их справедливость — кровавая жестокость. Они попирают ногами нашу страну и измываются над бедными людьми. Вы богохульствуете, называя такого князя помазанником божьим: выходит, бог помазал на царство сатану и сделал его князем в немецкой земле. Князья разодрали на части Германию, нашу дорогую родину, предали императора, избранного нашими свободными предками, а теперь эти предатели и мучители требуют от вас верности! Но царству тьмы приходит конец. Пройдет немного вре-*

*мени — и Германия, раздираемая ныне князьями, воскреснет и станет свободным государством, где будет править власть, избранная народом. В Священном писании сказано: «Кесарю кесарево». Что же принадлежит по праву этим князьям-предателям? Доля Иудова!*

На содержание сословных учреждений расходуется 16 000 гульденов.

В 1789 году французам надоело терпеть власть короля, сдравшего с народа шкуру. Народ восстал и избрал людей, заслуживших его доверие, эти люди собрались и решили, что король такой же человек, как и все. Он — лишь первый слуга государства, обязанный ответственностью народу, и, если он плохо исполняет свою должность, его можно привлечь к суду и покарать. Были объявлены права человека: «Никто не получает по наследству привилегий или титулов, никто не получает привилегии в зависимости от имущественного положения. Высшая власть — воля всех или большинства. Эта воля и есть закон, провозглашаемый сословными учреждениями или представителями народа, которых избирают все. Каждый может быть избран. Избранные выражают волю избирателей, так что воля большинства из них соответствует воле большинства народа. Королю надлежит лишь заботиться об исполнении законов, изданных народными представителями». Король поклялся соблюдать этот основной закон, но нарушил клятву, и народ казнил его как предателя. Французы отменили наследственную королевскую власть и свободно избрали новое правительство. Каждый народ имеет на это право по закону божескому и человеческому, согласно разуму и Священному писанию. Люди, надзиравшие за исполнением законов, назначались собранием народных представителей. Они и составили новое правительство. Избранники народа осуществляли власть и издавали законы. Франция стала свободным государством. Но другие короли ужаснулись, когда власть оказалась в руках французского народа. Они боялись умереть на плахе, подобно французскому королю: их угнетенные подданные могли пробудиться, услышав призывы франков к свободе. Собрав огромное

войско и множество оружия, они напали на Францию со всех сторон, а многие *дворяне*, люди благородного сословия, в самой Франции восстали и присоединились к врагу. И тогда народ, охваченный гневом, поднялся во всей мощи своей. Он раздавил предателей и разгромил королевских наемников. Юная свобода выросла на крови тиранов, и при звуке ее голоса задрожали гроны и возликовали народы. Но французы сами продали свободу за славу, которую дал им Наполеон, и провозгласили его императором. Тогда всемогущий господь погубил войско императора в России, среди снегов и морозов, покарал Францию казачьими бичами и вновь посадил на французский трон толстобрюхих Бурбонов, чтобы французы одумались и отказались от идолопоклонства — от наследственной королевской власти, — чтобы служили господу, создавшему людей свободными и равными. Но когда время кары истекло, герои июля 1830 года изгнали из страны клятвопреступного короля Карла X. Однако освобожденная Франция снова вернулась к полунаследственной королевской власти и сама подставила спину лицемеру Луи-Филиппу. Но в Германии и во всей Европе с великой радостью встретили известие о низвержении Карла X. Угнетенный немецкий народ начал готовиться к битве за свободу. Тогда князья собрались и стали советоваться, как избавиться от гнева народного, и самые лукавые среди них сказали: «Отдадим часть нашей власти, чтобы сохранить остальную». И они пошли к народу и сказали: «Мы дадим вам свободу, за которую вы собираетесь на бой». Дрожа от страха, они бросали народу крохи и уверяли, что будут милостивы. На свое горе, народ им поверил и утих. Немцев обманули, как и французов. Ибо что такое конституция любого немецкого герцогства? Мякина, из которой князья давно повыбрали все зерно. Что такое ландтаг в любой немецкой земле? Неповоротливая телега, хотя она иногда и становится поперек дороги, преграждая путь хищным притязаниям князей и их министров. Но телега — не крепость для защиты свободы во всей нашей стране. Что такое наши законы о выборах? Сплошные нарушения гражданских.

и человеческих прав большинства немцев. Вспомните избирательный закон нашего герцогства: человек, не имеющий большого состояния, не может быть избран, как бы честен и добродетелен он ни был. А вот Грольмана, который хотел обворовать вас на 2 000 000 гульденов, избрать было можно. Вспомните конституцию герцогства Гессенского. По закону, герцог считается лицом священным, неприкосновенным и ни перед кем не ответственным. Власть его наследственна, он имеет право вести войну и единолично распоряжаться армией. Он собирает сословные учреждения, откладывает заседания или вовсе отпускает собравшихся. Сословные собрания не имеют права принимать законы, они могут лишь просить о принятии их. Принять или отклонить закон полностью остается на усмотрении герцога. Он по-прежнему обладает неограниченной властью, за исключением права вводить новые законы и облагать население новыми налогами без согласия сословного собрания. Но герцог легко обходится без этого согласия: в одних случаях он просто не спрашивает о согласии, в других ему довольно и старых законов, установленных княжеским произволом. Новые просто не нужны. Такая конституция — жалкое, убогое законодательство. Чего можно ожидать от сословных собраний, связанных такой конституцией? Даже если бы среди депутатов не было трусов и предателей, если бы собрание состояло из смелых и решительных друзей народа — чего можно ожидать от учреждения, прав которого едва достаточно для защиты жалких обрывков убогого законодательства? Единственное сопротивление, которое ландтаг сумел оказать герцогу, был отказ принять на счет государства 2 000 000 гульденов личного долга герцога. А он было уж приготовился получить этот подарочек от истощенного народа.

Но даже если бы сословное собрание герцогства Гессенского имело достаточные права, если бы в нашем герцогстве существовала подлинная конституция — в нашей земле и нигде более, — то этому счастью скоро пришел бы конец. Хищные коршуны, гнездящиеся в Берлине и Вене, вырвали бы с корнем

ростки свободы своими острыми когтями. Свободу должен завоевать весь немецкий народ. И время это, дорогие сограждане, недалеко. Много веков наша милая родина была лучшей страной на свете, а потом господь отдал ее на растерзание здешним и пришлым живодерам, ибо немецкий народ забыл свободу и равенство, которыми владели его предки, забыл и страх божий, предавшись идолопоклонству, унизившись перед барами и барчуками, игрушечными великими герцогами и королями, владения которых поместятся и в наперстке.

Господь, словивший жезл чужеземного властителя, Наполеона, низринет руками народа и наших отечественных идолов, наших тиранов. Золото и драгоценные камни, ордена и почетные знаки украшают их, но незримый червь гложет им нутро, и нет у них опоры. Бог даст вам силу свергнуть власть тиранов, как только вы откажетесь от заблуждений и познаете истину: бог един, нет другой божественной власти, напрасно она именует себя высочеством и светлостью, священной и неприкосновенной. Господь создал всех людей свободными и равными в правах; есть лишь одна власть, посланная господом на благо людям,— власть, основанная на доверии народном, избранная народом путем явного или молчаливого выражения своей воли!

Власть же, правящая путем насилия, но не справедливости, не может быть от бога, ибо не от бога власть сатаны. Покорность такой сатанинской власти существует, лишь пока эта власть не сломлена. Господь сделал народ единым, дав ему единый язык и как бы единую плоть. Он покарает власть имущих, народоубийц, тиранов, терзающих, четвергующих, рвущих тело народное на куски, он покарает их в этой, временной жизни, и в той, вечной, ибо писание гласит: «Что бог соединил, человек не должен разъединять!» Всемогущий, создавший рай в пустыне, может вновь превратить в рай и нашу страну горя и нищеты, нашу дорогую Германию, которая была райской страной, пока князья не начали терзать ее.

Германская империя одрязлела и загнила, немцы забыли бога и свободу, и господь наслал гибель на это государство, чтобы

вновь возродить его и превратить в молодую свободную страну. Лишь на время дана была власть сатанинскому отродью, попиравшему нашу родину, князьям тьмы, злым духам (Послание Эфесское, 6), чтобы они терзали горожан и крестьян, пили их кровь, надругались над теми, кто любит правду и свободу и отвергает несправедливость и порабощение. Но чаша переполнилась! Посмотрите на чудовище, которое сам господь отметил знаком зла,— на короля Людвига Баварского, на этого боготульщика, который заставляет честных людей преклонять колени перед своим портретом, а тех, кто говорит правду, бросает в темницы по приговору клятвопреступных судей! Посмотрите на эту свинью, валяющуюся по всем смрадным помойкам Италии, на этого волка, ежегодно пожирающего 5 000 000 гульденов: он тратит деньги на празднества Ваала, на свой придворный штат, а клятвопреступный ландтаг послушно утверждает эту сумму навеки. Посмотрите на него и спросите: «И эта власть от бога и послана на благо людям?»

«Нет, не от бога власть твоя!

Господь наш милосерд.

Ты ж убиваешь, грабишь, лжешь —

Безбожник ты, тиран!»<sup>1</sup>

Я говорю вам: мера злодеяний полна. Господь, пославший нам в наказание таких князей, вновь исцелит нашу родину. Он вырвет волчцы и терны и сожжет их, собравши в кучу (Исайя, 27, 4). Как не уменьшится горб, которым господь отметил короля Людвига, так не умножатся и злодеяния властителей. Мера исполнилась. Господь поразит их громом, и в Германии расцветет жизнь, полная силы и благодатной свободы. Князья превратили немецкую землю в огромное кладбище. Как сказано у пророка Иезекииля, глава 37: «Господь вывел меня дулом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот она весьма сухи...». Но сказал

---

<sup>1</sup> Стихи в переводе А. Карельского.

*господь иссохшим костям: «И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь». Господне слово истинно и для нашей родины, как сказано у пророка: «...произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею... И вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои — весьма, весьма великое полчище». Как сказано у пророка, так было до сих пор и в Германии: кости ваши иссохли, ибо живете вы под такой властью, которая выжимает все, до мозга костей. В герцогстве Гессенском вы платите 6 000 000 гульденов кучке людей, ваша жизнь и собственность полностью отданы им на откуп. Так живет и население остальной Германии, разорванной на куски. Вы — ничто, у вас нет ничего. Вы бесправны. Вы отдаете все, чего требуют ненасытные угнетатели, несете любую ношу. Куда хватает взгляд тирана — а их в Германии около тридцати, — там сохнет земля, там сохнет народ. Но что сказано у пророка, то вскоре свершится в Германии: день воскресения недалек. Кладбище зашевелится и зашумит, и воскресших будет великое полчище.*

Взгляните и пересчитайте жалкую кучку угнетателей: они сильны лишь кровью, которую высасывают у вас, их сила — в ваших руках, послушных чужой воле. Их сдва ли будет 10 000 в герцогстве Гессенском, а вас 700 000. Так же обстоят дела и во всей Германии. Правда, они угрожают вам оружием, и наемные солдаты готовы служить им, но я говорю вам: подъявшийся меч на народ от меча народного и погибнет. Германия сейчас — кладбище, скоро она станет раем. Немецкий народ — одна плоть и кровь, а вы, гессенцы, — часть этого единого тела. Не все ли равно, в каком месте сначала дрогнет оживающий труп? Когда господь пошлет вам знамение через людей, которые по его воле выведут народы из-под гнета на свободу, встаньте, и вся родная страна восстанет вместе с вами.

*Долгие годы вы гнули спину на тернистых полях рабства: работайте одно лето на винограднике свободы — и будете свободны и ныне, и присно, и во веки веков.*

*Всю жизнь вы копали землю — выройте могилу тиранам. Вы строили крепости и темницы — так разрушьте их и постройте обитель свободы. Тогда вы сможете свободно крестить своих детей живой водою. И пока господь не призовет вас к себе, подав вам знак через посланцев своих, бодрствуйте, укрепляйтесь духом, молитесь сами и научите своих детей молиться: «Господи, сломи жезл терзающих нас, и да придет царствие твое — царствие справедливости. Аминь».*

## ЛЕНЦ

### ПОВЕСТЬ

Двадцатого января Ленц отправился через горы. На вершинах и склонах — снег, ниже — сероватые гряды в зеленых пятнах, скалы и ели.

Было холодно, сыро, вода, клокоча и брызжа, срывалась со скал на тропу. Влажный воздух окутывал тяжело поникшие ветви елей. По небу тянулись облака, густые, низкие; а внизу, продираясь сквозь чащобы, стлался тяжелый и влажный туман — медленно, лениво.

Ленц шел, погруженный в раздумья, не глядя вокруг, то спускался, то поднимаясь. Он не чувствовал усталости, только досадовал, что не может пройтись вверх ногами.

Пока он шел и под его ногой осыпались камни, раскачивался внизу седой лес, а туман то поглощал, то приоткрывал могучие массивы, его грудь теснили неясные чувства, он точно искал что-то в ускользящих снах и не мог найти. И все казалось ему таким маленьким, таким жалким, промокшим — так бы и взял всю землю да сунул за печку. Его изумляло, что так много времени нужно, чтобы спуститься с горы или дойти до намеченного вдаль места; ему казалось, любое расстояние он одолеет в несколько шагов.

Иногда порыв ветра сбрасывал тучи в долину и лес начинал дымиться, разверзались немые уста скал и раскаты грома то рокотали вдаль, то надвигались мощным ревом, будто сляясь в неистовом ликовании воспеть землю, тучи взмывали, словно дико ржущие кони, а солнце прорезало эту кутерьму сверкающим мечом, вонзая его в снежные грани и отбрасывая в долину слепящий и резкий свет. Или ветер, разметав облака, внезапно стихал и лишь где-то внизу отзывался в верхушках

елей то колыбельной песней, то колокольным звоном; на глубокой сини всплывали нежно-багровые пятна, а мелкие облачка проплывали на серебряных крыльях, и вершины сверкали, остро и твердо очерчиваясь в дальней дали. В такие минуты в груди у него клокотало, он стоял задыхаясь, подавшись вперед, против ветра, широко раскрыв глаза и рот, словно желая вобрать в себя эту стихию, он припадал к земле, простираясь и бился на ней, изнемогая от острого наслаждения, либо весь замирал, прислонясь головой ко мху, полузакрыв глаза, и все уплывало далеко-далеко, земля ускользала, становилась маленькой, словно мерцающая звезда, и пропадала в бушующем потоке, ясным пламенем протекавшем под ним. Но то были мгновения, они проходили — и он решительно поднимался, спокойный, с ясной головой, забыв фантазмагории, покончив с ними.

Под вечер он достиг вершины горы, снежной площадки, откуда предстояло вновь спуститься на запад. Наверху он присел. К вечеру стало спокойнее, тучи неподвижно застыли на небе; кругом, насколько хватало глаз, одни лишь вершины с широкими гранями скатов, и так все тихо, сумеречно, тускло. Острое чувство одиночества пронзило его, он был один, совсем один. Он попробовал говорить сам с собой, но не смог, он задыхался, каждый шаг отдавался в голове его громом, он не мог идти. Невыразимо жуткая тревога охватила его в этой пустоте! Он сорвался с места и бросился вниз по склону.

Темнота сгустилась, земля и небо слились воедино. Чудилось, будто его преследуют по пятам и что-то ужасное вот-вот настигнет его, что-то невыносимое, непосильное человеку — будто само безумие гонится за ним на конях.

Наконец он услышал голоса, увидел огни, на душе стало легче. До Вальдбаха, сказали ему, еще полчаса ходу.

Он шел по деревне. В окнах светились огни, и, проходя, он заглядывал внутрь: за столом дети, старухи, девушки, у всех спокойные, тихие лица. Казалось, свет исходил от них; он вздохнул свободно и скоро добрался до дома священника в Вальдбахе.

Все сидели за столом, когда он вошел; вокруг бледного лица белокурые пряди, глаза лихорадочно блестят, губы дрожат, одежда порвана. Оберлин принял его за ремесленника:

— Милости просим, мы рады познакомиться с вами.

— Я приятель Кауфмана, он велел вам кланяться.

— Ваше имя, если позволите?

— Ленц.

— Уж не сочинитель ли? Помнится, мне случалось читать пьесы, подписанные этим именем.

— Да, но прошу вас, не судите по ним обо мне.

Разговор продолжался, Ленц подыскивал слова и рассказывал сбивчиво, в муках, однако понемногу успокоился. В уютной комнате царил полумрак, тихие лица выступали из тени: лицо матери, ангельски тихо сидевшей в тени, и ясное детское личико, на котором, казалось, сосредоточился весь свет и которое глядело доверчиво и с любопытством. Ленц принялся с жаром рассказывать о своей родине, ему внимали с участием, и скоро он почувствовал себя как дома. Как озарилось улыбкой бледное детское лицо его, и сколько живости было в его рассказе! Он совсем успокоился, он чувствовал, как из темноты вновь выступают прежние образы, забытые лица, просыпаются старые песни — он был далеко, далеко отсюда.

Наконец настала пора уходить. Его проводили через улицу: дом пастора был слишком тесен, и ему отвели комнату при школе. Он поднялся наверх. Наверху было холодно, комната большая, пустая, с высокой кроватью у дальней стены. Он поставил свечу на стол и принялся расхаживать по комнате. Минувший день вновь встал перед ним, комната в доме пастора с ее полумраком и милыми лицами показалась ему призрачной, нереальной, и опять ему сделалось одиноко, как тогда, на горе, но ничем не заполнялась теперь пустота, свет погас, и тьма все объела. Невыразимая тревога охватила его. Он вскочил, бросился вон из комнаты, вниз по лестнице, на крыльцо, но напрасно — всюду темно и пустынно, он чувствовал себя как во сне. Обрывки мыслей проносились в голове, он силился их разобрать, ему каза-

лось, что нужно твердить «Отче наш». Он не находил себе места, темный инстинкт толкал его искать спасения. Он спотыкался о камни, раздирал ногти в кровь, и боль возвращала ему сознание. Он бросился в водоем у колодца, он бился в нем и кричал. На шум сбегались люди, и среди них Оберлин. Ленц снова пришел в себя, и снова у него отлегло от сердца. Ему было стыдно, он был огорчен, что напугал столько людей, он сказал им, что привык купаться в холодной воде, снова поднялся к себе наверх и наконец заснул от изнеможения.

На другой день все шло хорошо. С Оберлином они отправились верхом по долине: широкие горные луговины стягивались в узкую, извилистую долину, могучие гряды скал распырялись книзу; леса немного, но повсюду унылая поросль; на западе открывались просторные дали, а с юга на север тянулась цепочка гор — отдельные каменные исполины высились в тихом молчании, как в полудреме. Мощные потоки света вырывались порой из долин, затем вновь облака, осевшие на вершинах, медленно сползали вниз по деревьям или летучим серебряным призраком скользили и взмывали в сверкании солнца; ни шума, ни движения, ни птицы, ничего, кроме завываний ветра, то где-то вдали, то совсем близко. Кое-где уныло чернели остовы хижин, крытых соломой. Люди молчаливо, серьезно, не решаясь нарушить тишину долины, чинно приветствовали их, когда они проезжали мимо.

В жилищах было оживленно, все теснилось вокруг Оберлина. Он наставлял, советовал, утешал; повсюду доверчивые лица. Молитва. Люди рассказывали сны, делились предчувствиями. Затем возвращались к повседневным заботам: расчищали дороги, рыли каналы, ходили в школу.

Оберлин был неутомим, Ленц сопутствовал ему неотлучно, он то беседовал с ним, то погружался в созерцание природы. Все действовало на него благотворно и успокаивающе. Он часто смотрел в глаза Оберлину, и, казалось, от этих спокойных глаз, от этого серьезного, благородного лица нисходил на него тот могучий покой, который охватывает нас на природе, в лунные

гающие летние ночи. Он испытывал робость, однако делился впечатлениями, говорил. Оберлин слушал его с удовольствием, его радовало это по-детски трогательное лицо. Но Ленц лишь до тех пор чувствовал себя сносно, пока в долине было светло, в сумерках им овладевала странная тревога, ему хотелось идти вслед за солнцем. Чем больше сливались с тенью предметы, тем неразрывнее переплетались явь и сон, страх охватывал его, словно ребенка, проснувшегося в темноте; ему казалось, он слепнет. Страх назойливым наваждением садился к его ногам, безнадежная мысль преследовала его, мысль, что все это только сон. Призрачные видения мелькали перед ним, он припикал к ним, но они ускользали, жизнь оставляла его, и члены немели. Он говорил вслух, пел, читал на память куски из Шекспира, хватался за все, что прежде будоражило кровь, пробовал все, но... холод, холод! То и дело выбегал он на улицу. Когда глаза его привыкали к темноте, скудный, рассеянный в ночи свет был ему благом; он бросался к источнику, и пронзительная студеность воды была ему благом; втайне он мечтал о болезни и старался принимать теперь свою ванну бесшумно.

Все же, привыкая к новой жизни, он становился спокойнее. Он помогал Оберлину, рисовал, читал Библию; в нем пробуждались минувшие, прежние надежды, ему открывался здесь Новый завет... Оберлин рассказал ему, как однажды ночью невидимая рука остановила его на мосту, глаза ослепил яркий свет и был ему голос — бог настолько приблизился к нему, что он мог довериться ему как ребенок... Вера наполнила его, вечная твердь разверзлась, Святое писание обрело тайный смысл. Природа точно приблизилась к человеку в некоей божественной мистерии, но не царственно-величаво, а доверительно-задушевно.

Однажды утром Ленц вышел из дома. Ночью выпал снег; долина наполнилась солнечным светом, но вдали голубела туманная дымка. Кругом было безлюдно. Скоро он свернул с тропы и, минуя ельник, стал подниматься по отлогому склону. Солнце высекало кристаллы на пушистом снегу, на котором то тут, то там проступали следы зверья, ведущие в горы. Никакого движения в

воздухе, только тихое веянье ветерка, только шорох птицы, легко отряхивающей перья от снега. Тишь кругом, только заснеженные ели едва-едва колышут на глубокой лазури свои белые иглы. Отрада наполнила его сердце. Однообразные, мощные цветочные пятна и линии, прежде с грубым гулом несшиеся на него, растворились теперь в легкой дымке; пахнуло чем-то домашним, святочным, представилось, будто из-за деревьев вот-вот выйдет мать и скажет, что все это — ее подарок. Спускаясь, он видел, как вокруг его тени искрилась радуга, ему почудилось, будто кто-то коснулся его лба и заговорил с ним.

Он спустился. Оберлин был у себя в комнате; Ленц быстро подошел к нему и сказал, что хотел бы прочесть проповедь.

— Разве вы теолог?

— Да!

— Что ж, коли так — в воскресенье.

Ленц, довольный, удалился в свою комнату. Проповедь не выходила у него из головы, из-за раздумий о ней и ночи его стали покойней. На воскресное утро пришла оттепель. Облака были резвы, между ними синели просветы. Церковь, окруженная кладбищем, располагалась неподалеку, на пригорке. Ленц стоял наверху, когда ударили в колокола и по узким крутым тропинкам стали подниматься со всех сторон прихожане, женщины и девушки в строгих черных одеждах, с белыми платочками на молитвенниках и ветками розмарина. Солнце проглядывало иногда сквозь облака, теплый пар шел от земли, долина благоухала, вдали отдавался мерный колокольный звон — ровная волна гармонии, казалось, все поглотила.

Снег на кладбище стаял, под черными крестами темнел мох, розовый куст ютился в углу у ограды, другие цветы пробивались сквозь мох; на всем то пятна тени, то солнце. В церкви началась служба, людские голоса сливались в светлом, чистом звучании — впечатление такое, будто смотришь в прозрачный, чистый источник. Пение смолкло — Ленц заговорил. Он был в смятении весь день, от пения муки его утихли, теперь же вся боль вновь проснулась и прихлынула к сердцу. Сладостное, бесконеч-

ное блаженство охватило его. Он говорил просто, люди прониклись его страданием, и было отрадно думать, что слова его даруют сон веждам, изможденным слезами, и отдохновение истерзанным душам, что они обращают к небу существа, измученные земной юдолью. К концу голос его окреп, и тут вновь слышалось пение:

«Дай принять святую муку,  
Душу мне омыть слезами,  
Благость сладкую страданья,  
Святой боже, даруй мне»<sup>1</sup>.

Волнение, музыка, боль потрясли его. Весь мир обратил к нему свои раны, он чувствовал глубокую, неизреченную боль. Трепещущие уста господина склонились к нему и прильнули к его губам. Он направился в свою пустынную комнату. Он был один, один! И тут словно прорвался источник, потоки брызнули из его глаз, он корчился, извивался, ему казалось, он разрывается, гибнет, и не было конца той сладостной боли. Наконец покой сошел на него, он почувствовал острую жалость к себе и заплакал, голова его поникла, он уснул. Полный месяц стоял на небе; пряди разметались по его вискам и лицу, капли слез повисли на ресницах и высыхали на щеках — так он лежал, совсем один, и было тихо, спокойно, холодно, и месяц светил всю ночь и стоял над горами...

На другое утро он сошел вниз и совершенно спокойно рассказал Оберлину, как ему ночью явилась мать: в белом платье, она вышла из темной церковной стены с двумя приколотыми розами на груди, белой и красной, потом исчезла в углу, и розы медленно выросли над ней; нет сомнений, она умерла, он был в том совершенно уверен. Тогда Оберлин в свою очередь вспомнил, что, когда умирал его отец, он был в поле и вдруг услышал голос, возвестивший, что отец его мертв, и, вернувшись, увидел, что это правда. Это увлекло их дальше: Оберлин вспомнил

---

<sup>1</sup> Здесь и далее стихи даны в переводе А. Карельского.

о горцах, о девушках, которые чуют под землей металлы и воду, о мужчинах, которым на горных тропах приходилось бороться с духами, рассказал, как однажды, заглядевшись в глубокую чистую воду, он погрузился в сомнамбулическое состояние. Ленц заметил, что это, по-видимому, дух воды овладел Оберлином и он стал причастен бытию этой стихии. Он продолжал: самые простые и чистые натуры всего ближе к стихиям; чем утонченнее мыслит и чувствует человек, тем слабее в нем это чутье к первоосновам. Такое чутье нельзя считать неким высшим состоянием — для того оно слишком неразвито, но есть, полагает он, бесконечная радость в прикосновении ко всем сущим формам жизни, в таинственной связи с камнями, металлами, растениями и водой, в этом свойстве души вбирать в себя природу, как пчелы вбирают воздух в зависимости от лунного противостояния.

Он высказал свои заветные мысли: во всем, говорил он, царит невыразимая гармония, созвучность, блаженство, в высших, развитых существах все это обнаруживается, звучит и воспринимается более тонко, но зато и награждает болезненной возбужденностью, в низших же формах гармония более скрыта, более ограничена, однако в них больше внутреннего покоя. Он увлекся рассуждениями, но Оберлин прервал их, его простой душе они были непривычны. В другой раз Оберлин показал ему цветные таблички, разъяснил, в какой связи находится с человеком каждый цвет, упомянул про двенадцать апостолов, каждому из которых соответствовал определенный цвет. Ленц заинтересовался, загорелся, предался грезам и, уединившись, принялся в духе Штиллинга толковать Апокалипсис и долго не расставался с Библией.

В эту пору в долину приехал Кауфман со своей невестой. По началу встреча страшила Ленца, он был устроен, наслаждался малой долей покоя — и вот к нему приближался тот, кто о многом напоминал ему, с кем он должен был говорить, беседовать, кто знал о нем все. Оберлин же не знал о нем ничего, он его принял, ходил за ним, он привязался сердцем к несчастно

му и в его приходе видел промысел божий. Никому здесь он не казался лишним, он был среди них как свой, и никто не спрашивал, откуда он и куда намерен держать путь.

За столом Ленц вновь развеялся: говорили о литературе, то была его область. Идеалистический период в то время уже начался, Кауфман был приверженцем этого направления, Ленц горячо на него нападал. Он говорил: поэты, о которых принято говорить, что они передают действительность, как правило, тоже не имеют о ней ни малейшего представления, но они все-таки более ссны, чем те, кто пытается действительность приукрасить. Он говорил: господь создал мир таким, каким ему надобно быть, и нам, пачкунам, не придумать ничего лучшего, все наше рвенне должно состоять в том, чтобы хоть немного уловить его замысел. Я во всем ищущу жизни, неисчерпаемых возможностей бытия, есть это — и все хорошо, и тогда сам собой отпадает вопрос — прекрасно это или безобразно. Ибо ощущение того, что сотворенная человеком вещь исполнена жизни, выше этих двух оценок, оно — единственный признак искусства. Впрочем, довольно редкий — мы найдем его лишь у Шекспира, в полной мере — в народных песнях, местами у Гёте, все же прочее можно смело швырнуть в печку. Люди не могут нарисовать простой конуры, а им подавай идеальные фигуры — все, что я видел в этом роде, не более как деревянные куклы. Такой идеализм пренебрегает самой природой человека. Художник должен проникнуть в жизнь самых малых и сырых, передать ее во всех наметках, проблесках, во всей тонкости едва приметной мимики; он сам пытался достичь этого в «Солдатах» и «Гувернере». Пусть то зауряднейшие люди под солнцем, но ведь чувства почти у всех людей одинаковы, разной бывает лишь оболочка, сквозь которую им приходится пробиваться. Умей только слышать и видеть! Вот вчера, в лесу, я увидел двух девушек; одна, в черном, сидела на камне, распустив золотистые волосы, обрамлявшие серьезное, бледное и такое юное личико, а другая склонялась над ней с такой нежной заботой! Лучшие, чувствительнейшие картины старой немецкой школы ничто в сравне-

нии с этой натурой. Иногда хочется быть головой Медузы, чтобы обратить в камень подобную группу, — пускай люди вечно любят ее. Они встали — и прелестная группа распалась, но когда они начали спускаться вниз между скал, образовались новые сочетания.

Изысканнейшие картины, блаженнейшие звуки слагаются и распадаются сами собой. Лишь одно остается — бесконечная красота, переходящая из одной формы в другую, вечно новая, изменяющаяся. Но ее, разумеется, не так-то легко уловить, положить на ноты или выставить в музее напоказ зевакам, чтобы стар и млад ахали перед ней и несли всякий вздор. Надобно любить человечество в целом, чтобы пропикнуться уважением к своеобразности каждого человека. В мире нет существа, которое мы вправе были бы считать слишком малым, слишком ничтожным, слишком безобразным — только любовь дает нам ключ к его пониманию. Даже самое невыразительное живое лицо впечатляет больше, нежели восприятие некоей чистой гармонии. К тому же тайный, внутренний образ человека можно выявить и не копируя внешность — застывшую, безжизненную, без напряжения мускулов и биения сердца.

Кауфман возразил ему, что в действительности не найдется настоящих прообразов Аполлона Бельведерского или мадонны Рафаэля. Что ж такого, отвечал он, не велика беда, признаюсь, я не вижу в них жизни. Их созерцание, конечно, может возбудить во мне чувства, но для того надобны усилия с моей стороны. Для меня тот поэт и художник, кто умеет заразить и увлечь своим видением природы, чувством действительности, ничего другого я в искусстве не ищу. Фламандские мастера мне милее итальянских, к тому же они и единственно понятные. Только две картины в моей жизни произвели на меня впечатление не меньшее, чем Новый завет, и обе голландские. На одной из них, не помню чьей, изображен Христос с учениками на пути в Эммаус. Читаешь это место в Евангелии — и вся природа словно встает перед глазами. Предвечерние тусклые сумерки, ровная багровая полоса на горизонте, полутьма на дороге:

и вот к ним приближается незнакомец, заговаривает, преломляет хлеб, они узнают его в простом обличье человека, зрят в нем страдальческие черты господа и пугаются сгустившейся тьмы и смутных предчувствий; но в их тревоге нет ужаса, ведь то не призрак, то любимый ими покойник подошел к ним в сумерках, как бывало; ровный коричневатый тон тусклого тихого вечера взят на картине. И другая картина: женщина не смогла пойти в церковь и творит молитву дома, она повернулась к открытому окну, и чудится, будто слышны долетающие сквозь него звуки далекой деревенской колокольни и едва различимое пение церковного хора, а женщина прислушивается к нему и следит по тексту.

Так он долго говорил в полном забытьи, его слушали, чаще соглашаясь. Он весь зарделся и был то серьезен, то улыбался, вскидывая белокурые пряди.

После обеда Кауфман отвел его в сторону. Отец Ленца просил его уговорить сына вернуться. Кауфман сказал, что он даром геряет здесь время, тратит его без пользы, что ему следовало бы поставить себе цель — и все в таком духе. Ленц вскинулся: «Уйти отсюда? Домой? Сойти там с ума? Ты ведь знаешь, я могу выдержать только здесь, среди этих мест. Я так рад, что могу иногда подняться в горы, взглянуть оттуда вниз, потом возвратиться, пройти садом, посмотреть в окно — без всего этого я бы сошел с ума! Оставьте же меня в покое! Ну хоть немножко покоя теперь, когда мне становится лучше! Уйти отсюда? Не понимаю, отказываюсь понимать, эти речи мне просто противны. Всю жизнь человек суетится, за чем-то гонится, и если наконец обретает покой, то чего же еще желать! Так нет же, будем карабкаться дальше, тужиться и вечно упускать то, что дает нам мгновение, и все надрываться — ради будущего наслаждения! Томиться от жажды, когда вдоль дороги полно родников! Мне здесь вполне спосно, и я хочу остаться. Почему? Да потому, что мне теперь хорошо. Может ли отец дать мне больше? Никогда! Так оставьте меня в покое!» Он разволновался, Кауфман ушел, Ленц был в смятении.

На другой день Кауфман собрался уезжать. Он уговаривал Оберлина отправиться с ним в Швейцарию. Соблазн лично познакомиться с Лафатером, которого Оберлин давно знал по письмам, был велик, и он согласился. Пришлось промедлить еще день, чтобы дать ему время собраться. У Ленца было тяжело на сердце. Чтобы облегчить бесконечную свою муку, он, хоть и робко, с опаской, пытался прилепиться душой ко всему в этом доме, иногда он отчетливо сознавал, что делает это, чтобы только отвлечься, он занимал себя, как больного ребенка. Величайших усилий стоило ему развеять свои навязчивые мысли и чувства, вскоре, однако, они приходили опять, он весь дрожал, волосы дыбом поднимались на его голове, пока он не изнемогал от чудовищного напряжения. Он искал спасения у Оберлина, образ которого не покидал его ни на минуту. Его слова, его лицо представляли ему бесконечную отраду, поэтому так тревожил его предстоящий отъезд.

Ленцу было бы жутко остаться теперь одному в доме. Погода стояла хорошая, и он решил проводить Оберлина в горы. На той стороне, где ущелья выходят на равнину, они расстались. Одинок побрел он обратно, то и дело сбиваясь с пути. Дул сильный ветер, широкие поляны, увлекая реденький лес, сползали в долину; кругом пустынно, только мощные линии гор, а за ними — широкая курящаяся равнина; нигде ни следа человека, лишь местами к откосам лепились хибарки, в которых пастухи коротали летние ночи. Он затих, предался грезам; все смешалось и слилось перед его глазами в одну линию, в одну волну, вздымающуюся к небу и ниспадающую к земле; ему казалось, что его подхватила и тихо колышет поверхность бескрайнего моря. Иногда он садился, потом снова шел, в задумчивости не разбирая дороги. Была глубокая темень, когда он добрался до обитаемого жилища на горном склоне. Двери были заперты, он подошел к окну, сквозь которое падал брезжущий свет. Скучная лампа освещала лишь лицо девушки, лежавшей с полуоткрытыми глазами и слегка шевелившей губами. Дальше, в темной глубине, виднелась старуха, которая скрипучим голосом пела по мо-

литвеняку. Видно, она была глуховата: пришлось долго стучать, прежде чем ему открыли. Не прекращая петь, она принесла Ленцу поест и указала ему постель. Девушка не пошевелилась. Спустя некоторое время вошел мужчина, он был высок и худ, с редкими седыми волосами, с беспокойным и нервным лицом. Он подошел к девушке — она вздрогнула, заметалась. Он снял со стены высушенную траву и положил ей на руку листья, она успокоилась и медленно, но внятно произнесла несколько слов прерывистым голосом. Он сказал, что слышал голоса в горах и видел над ущельем зарницы, потом что-то коснулось его и он боролся с чем-то невидимым, словно Иаков. Он опустился на колени и горячо и тихо молился, пока больная медленно, слабым хриплым голосом пела. Потом он лег спать. Ленц слышал сквозь дремоту тиканье часов. К тихому пению девушки и скрипучему голосу старухи примешивались завывания ветра, то совсем близкие, то удаляющиеся, и луна, то яркая, то закутанная в облака, озаряла комнату неверным сонным сиянием. Вдруг голос девушки зазвучал громче, она заговорила внятно и отчетливо, сказала, что напротив нее на скале стоит церковь. Ленц приоткрыл глаза: она выпрямившись сидела за столом и смотрела перед собой, при тихом свете луны черты ее отдавали зловещим блеском, старуха по-прежнему что-то скрипела, и, убаюканный этим светом, шумом и голосами, Ленц наконец глубоко заснул.

Проснулся он рано. В сумрачной комнате все еще спали, девушка тоже успокоилась. Она спала, положив руки под левую щеку, таинственность с ее лица исчезла, оно выражало теперь нестерпимую боль. Он подошел к окну и открыл его, лицо обдал холодный утренний воздух. Дом стоял в самом конце узкой, глубокой лощины, открывающейся к востоку; багровые лучи прорезали сизое небо, падая на сереющую на рассвете землю, окутанную белым туманом, они искрились на серых облаках и били в оконца домишек. Мужчина проснулся. Глаза его остановились на освещенном образе на стене, он долго, пристально смотрел на него, потом зашевелил губами и стал мо-

литься, сначала тихо, потом все громче и громче. Тем временем в комнату входили какие-то люди и молча опускались на колени. Девушка корчилась в судорогах, старуха скрипела свои песни и переговаривалась с соседями.

Мужчина, рассказали Ленцу, появился здесь давно, и никто не знает откуда, его считают святым, он видит воду под землей и заклинает духов, народ стекается к нему отовсюду. Тут же Ленц узнал, что далеко отошел от Вальдбаха; назад он отправился вместе с дровосеками, которым было с ним по пути. Он радовался, что нашел себе спутников, его тяготило присутствие этого властного человека, чей голос казался ему громовым. К тому же он боялся остаться наедине с собой.

Он вернулся в Вальдбах, но долго еще не мог избавиться от впечатлений минувшей ночи. Мир разверзся перед ним ослепительной бездной, в которую влекла и толкала его какая-то беспощадная сила. Он не находил себе места. Он мало ел, ночи напролет молился и лихорадочно грезил. То извивался в чудовищных корчах, то, изможденный, стihal, лежа в горячих слезах. Затем вдруг ощущал прилив сил и, холодный, равнодушный, поднимался, слезы его остывали, и он смеялся. Чем сильнее он себя взвничивал, тем безысходнее было потом падение. Все слышалось у него перед глазами. Догадки о том, что возвращается прежнее состояние, пронизывали его, бросая скользкие отсветы в дикий хаос его души.

Днем он обыкновенно сидел внизу, в зале. Мадам Оберлин появлялась и уходила, он рисовал, писал красками, читал, искал любого занятия, скоро оставляя его ради другого. Всего же больше он любил сидеть подле мадам Оберлин, когда она с черным молитвенником устранилась у цветов, взяв на колени своего младшего, с которым он также любил возиться. Однажды тревога завладела им и в такую минуту, он вскочил, заходил по комнате: через открытую дверь он услышал пение служанки, сначала неразборчивое, потом слова:

«Уехал далеко милый мой,  
Так горько на свете быть одной».

Эти слова растрavляли и жгли его душу. Мадам Оберлин взглянула на него. Он собрался с духом, он не мог долее молчать, он должен был выговориться.

— Милая мадам Оберлин, ради бога, скажите, что теперь с девушкой, чья судьба так мне давит на сердце?

— Но, господин Ленц, могу ли я знать об этом?

Он помолчал, походил взад и вперед по комнате и потом начал снова:

— Понимаете, я должен уйти, видит бог, вы единственные люди, у которых мне хорошо, и все-таки... все-таки я должен уйти, к ней, но я не могу, не смею.— Он вконец разволновался и вышел из дома.

К вечеру он вернулся, в комнате был полумрак, он подсел к мадам Оберлин.

— Понимаете, — начал он снова, — когда она, бывало, вот так ходила по комнате и вполголоса напевала, каждый ее шаг отзывался во мне музыкой, и я был так утешен, глядя на нее или ее касаясь... Она ведь совсем дитя еще, и казалось, что мир для нее слишком велик: она вся сжималась, искала самый укромный уголок в доме и тихо-тихо сидела в нем, словно все ее блаженство — в самой маленькой малости. И как же мне делалось хорошо, я мог играть тогда, как ребенок! А теперь все так тесно, тесно! Понимаете, порой мне кажется, что небо давит меня, и я задыхаюсь! Иногда у меня ломит руку, левую, в этом месте, я касался ее этой рукой. Но вот представить ее мне не удастся, лицо ее ускользает, и это мучит меня, я могу себя хорошо чувствовать, только когда ясно вижу ее черты.

Он и после не раз еще говорил так с мадам Оберлин, речь его путалась, она не знала, что отвечать, но ему и без того делалось легче.

Религиозные его мучения между тем не кончались. Чем пустынее, чем холоднее, чем мертвеннее становилось у него в душе, тем сильнее стремился он пробудить в себе пламя, тем чаще вспоминал то время, когда все в нем кипело, когда страсти его

клокотали. И вот все мертво. Он отчаивался, сокрушался, бросался наземь, ломал руки, растревал себя — но напрасно, все мертво, мертво! Тогда он молил господа подать ему знамение. Он изводил себя постом и молитвой, простирался в забытьи на земле.

В феврале, третьего числа, он узнал, что в Фуде умерла девочка по имени Фредерика; мысль о ней уже не покидала его. Он уединился в своей комнате и сутки постился. Четвертого он внезапно явился в комнату мадам Оберлин — с головой, посыпанной пеплом, — и попросил дать ему мешок. Она испугалась, но дала требуемое. Он завернулся в мешок и отправился, как на покаяние, в Фуде. Люди в долине уже привыкли к нему и любили поговорить о его странностях. Он пришел в дом, где лежал ребенок. Там все равнодушно занимались своими делами, ему указали каморку: девочка в рубашке лежала на соломе, на деревянном столе.

Ленц содрогнулся от страха, прикоснувшись к остывшим членам и встретив мертвый стеклянный взор. Девочка показалась ему такой покинутой, брошенной, одинокой, как он сам. Он припал к телу. Смерть ужаснула Ленца, острая боль пронзила его: эти черты, это тихое лицо должны истлеть — он рухнул наземь, молился, отчаянно, истово, долго, молился, чтобы господь подал ему знак — оживил дитя... Потом он ушел в себя, сосредоточив все свои силы на какой-то одной мысли, и долго оставался без движения. Затем поднялся, взял ребенка на руки и произнес громко и твердо: «Встань и ходи!» Но стены безучастным злом вернули его слова, словно издеваясь над ним, а труп был по-прежнему хладен. Тогда он снова бросился наземь, потом вскочил, и неведомая сила погнала его, безумного, в горы.

Тучи стремительно мчались мимо луны, окрестность то скрывалась во мраке, то при свете луны проступала в туманной дымке. Он бежал по горам. В груди хлестал адский пламень. Ветер гремел песней титанов. Ему хотелось простереть в небо страшный кулак, ухватить там творца и стащить его вниз.

сквозь облака, хотелось размолоть всю землю зубами и выплюнуть ее богу в лицо, он проклинал его, богохульствовал. Так он взобрался на вершину горы; неверный свет сеялся кругом на гускло белеющие камни, и небо было голубым глупым глазом, а луна в нем — смешным дурацким бельмом. Ленц громко расхохотался и вместе со смехом изринул веру и стал спокоен, уверен и тверд. Он не мог понять, что мучило его прежде; его знобило, он мечтал добраться до постели; холодный, непоколебимый, он шел среди жуткого мрака, и в душе его все было мертво и пусто; он бегом добрался до дома и там бросился на постель.

На другой день, когда он вспомнил вчерашнее, его охватил ужас. Будто он стоял на краю пропасти и безумная страсть голкала его заглянуть в нее еще и еще и сызнова пережить эту муку. Потом тревога его возросла, грех перед духом святым стал ему ведом.

Через несколько дней из Швейцарии вернулся Оберлин, много раньше, чем его ожидали. Ленц был в замешательстве. Однако он с радостью слушал рассказ Оберлина о его друзьях из Эльзаса. Говоря, Оберлин расхаживал по комнате, выгружал и раскладывал свою поклажу. Упомянув о Пфёффеле и расхвалив счастливую жизнь сельского пастора, он призвал Ленца послушать зову родителя и вернуться под отчий кров, чтобы жить согласно своему призванию. «Чти отца своего и мать», — говорил он, и все в том же духе. Разговор этот сильно взволновал Ленца, он глубоко вздыхал, слезы навертывались у него на глазах, речь его путалась.

— Да, верно, но нет, не вынесу, вы гоните меня? Только в вас путь к богу. Со мной все кончено! Я отпал, проклят навеки, я Вечный Жид!

Оберлин отвечал, что ведь ради спасения грешников и принял муки Христос, пусть он откроет ему свое сердце и тогда станет причастен божьему милосердию. Ленц поднял голову, заломил руки и сказал:

— О божественное утешение!

Потом вдруг спросил, как поживает та девушка. Оберлин ответил, что не знает, о ком Ленц говорит, но с радостью готов помочь словом и делом, пусть только он назовет имя и все прочее. Ответ его был несвязан:

— Ах, она умерла? Жива еще? Ангел! Она любила меня, и я любил ее, да и как было ее не любить, ведь она — ангел! Проклятая ревность, я принес ее в жертву — она любила еще другого, а я так любил ее... О добрая мать моя, ведь и она любила меня, а я — я убил ее!

Оберлин возразил, что, быть может, все они еще живы и находятся в здравии, но, как бы то ни было, бог, если Ленц к нему обратится, воздаст им сторицей за все то, что он им причинил. После этого Ленц успокоился и вновь занялся своим рисованием. Под вечер он пришел опять. На левом плече его была шкура, а в руках связка прутьев, которые ему прислали вместе с письмом через Оберлина. Он протянул прутья Оберлину и настойчиво просил отхлестать его. Оберлин взял у него прутья, поцеловал несколько раз в губы и сказал:

— Вот те удары, которыми я вам обязан. Успокойтесь, вы сами уладите ваш спор с господом, никакие истязания не искупят греха, искупление было промыслом Иисуса, вам бы и надо открыть ему теперь свою душу. — Он ушел.

За ужином Ленц был, по обыкновению, несколько мрачен. Все же говорил, хоть и тревожно и как-то поспешно. В полночь Оберлин вдруг проснулся от шума. По двору метался Ленц, лихорадочно, глухим, сдавленным голосом выкрикивая имя Фредерики с отчаянием и смятением на лице. Он бросился в водоем у колодца, бился в нем, выбрался наружу, взбежал в свою комнату, затем снова устремился к воде — и так несколько раз, пока окончательно не затих. Служанки из тех, что спали в детской, внизу под ним, говорили, что нередко, особенно в ту ночь, им слышались завывания, похожие на звуки дудки; должно быть, то вскрикивал он — глухим, ужасным, отчаянным голосом. На другое утро Ленц долго не выходил. Тогда Оберлин сам поднялся к нему: он лежал на постели, тихо и неподвижно. Обер-

лину пришлось несколько раз окликнуть его, прежде чем он отозвался и заговорил:

— Да, господин пастор, понимаете, скука, скука! О, какая же скука! Уж и не знаю, что тут теперь говорить; все, что мог, я начертил на стене.

Оберлин сказал, что ему следует обратиться к богу, на что он, засмеявшись, ответил:

— Конечно, если бы мне повезло и я нашел такое же приятное занятие, как ваше, я мог бы заполнить время. Но все — праздность. Одни молятся со скуки, другие со скуки влюбляются, третьи добродетельны, четвертые порочны, а я — я ничто, я не могу ровным счетом ничего, даже убить себя не умею — это уж невыносимо скучно!

«Как меч карающий и гневный,  
Глаза мне ранит луч полдневный.  
Господь, мне видеть свет невмочь,  
Да снидет вновь на землю ночь!»

Оберлин с укором взглянул на него и хотел выйти. Ленц тенью скользнул за ним, устремив на него жуткий взор:

— Понимаете, что-то нашло на меня, мне бы только отличить сон от яви; понимаете, это очень важно, в этом нужно разобраться, — и снова юркнул в постель.

После полудня Оберлин собрался в гости по соседству, его жена ушла туда раньше. Он уже хотел выйти, как в дверь постучали, и сгорбившись, с опущенной головой вошел Ленц, лицо его, а часть и платье были посыпаны пеплом, правой ладонью он поддерживал левую руку. Он просил потянуть ему руку, которую вывихнул, упав из окна, но так как никто не видел его, то он хотел бы сохранить это в тайне. Оберлин был сильно напуган, но не сказал ни слова и выполнил, о чем он просил. Затем послал за учителем из Бельфосса Себастьяном Шайдекером и, дав ему письменные наставления, уехал на лошади.

Учитель явился. Ленцу доводилось не раз его видеть, и он успел к нему привязаться. Тот сделал вид, будто хотел о чем-то

поговорить с Оберлином, и поднялся, чтобы уйти. Ленц попросил его остаться, и они остались вдвоем. Ленц предложил прогуляться до Фуде. Он пришел на могилу девочки, которую хотел воскресить, беспрестанно опускался на колени, целовал землю могилы, смятенно молился, затем, сорвав цветок с могилы, вернулся в Вальдбах, потом отправился обратно; Себастьян неотступно следовал за ним. Ленц то едва плелся, жалуясь на большую слабость, то пускался чуть ли не бегом; мир пугал его и был так тесен, что казалось, он постоянно на все натыкался. Какое-то отвращение охватило его, попутчик стал ему в конце концов в тягость, он старался разгадать его намерения и искал средства избавиться от него. Себастьян ему ни в чем не перечил, но потихоньку дал знать своему брату, и таким образом у Ленца стало двое зрителей. Он долго плутал, таская их за собой, совсем было повернул уже к Вальдбаху, но, почти дойдя до деревни, резко отпрянул назад и оленем метнулся по направлению к Фуде. Те бегом устремились за ним. Они разыскивали его по Фуде, пока два встречных разносчика не сказали им, что в одном из домов связали какого-то пришельца, который выдает себя за убийцу, хотя на убийцу вовсе не похож. Они бросились в этот дом и нашли Ленца связанным — по его настоянию его связал какой-то напуганный мальчик. Они развязали его и благополучно проводили до Вальдбаха, куда к тому времени уже вернулись Оберлин с женой. Он выглядел сконфуженным. Но, увидев, что его принимают ласково, дружески, вновь ободрился, лицо его успокоилось, он приветливо, тепло отблагодарил своих провожатых, и вечер прошел безмятежно. Оберлин уговаривал его больше не купаться и, если ему нет сна, беседовать с богом. Он обещал и ночью сдержал слово: служанки слышали, как он молился почти до рассвета. На другое утро он, довольный, вошел к Оберлину. Где-то в середине разговора он вдруг живо воскликнул: — Милый мой господин пастор, девушка, о которой я говорил вам, умерла, да, умерла — ангел! — Как вы об этом узнали?

— Знаки, знаки! — И, взглянув на небо, снова: — Да, умерла, знаки!

Ничего больше от него нельзя было добиться. Он сел за стол и написал письма, тут же попросив Оберлина прибавить к ним несколько строк.

Состояние его становилось все хуже. Силы, которые он черпал подле Оберлина и в горной тиши, теперь исчезали; мир, в котором он хотел найти себе место, зиял чудовищным провалом; ни ненависти, ни надежды, ни любви в нем не осталось — одна жуткая пустота и вместе с тем мучительно-беспокойная потребность ее заполнить. Одна пустота! Что бы он ни делал, ни в чем не было сознательного намерения, его направлял только темный инстинкт. Когда он оставался один, одиночество было ему так жутко, что он не переставал громко говорить с собой и, крича, пугался собственного голоса. В разговоре он часто запинаясь, терял конец фразы, испуганно озирался; часто ему хотелось твердить одно какое-нибудь слово, лишь ценой больших усилий он подавлял в себе это желание. Печаль омрачала добрых людей, среди которых он жил, когда, спокойно беседуя в их кругу, он вдруг запинаясь и с лицом, искаженным от ужаса, судорожно цеплялся за рукав ближних к нему и не сразу приходил в себя. Когда он оставался один или читал, было еще хуже, его ум не мог вырваться из плена одной какой-нибудь мысли. Если он думал о ком-нибудь, припоминал черты какого-то человека, ему вдруг начинало казаться, что он и есть тот самый человек; он был совершенно расстроен и во всем, кроме Оберлина, хотел видеть произвольные построения своего ума, и все казалось ему безжизненным, ненастоящим. Он забавлялся, ставя в своем воображении дома крышей впиз, раздевая и одевая людей, изощряясь в сумасброднейших вымыслах. Случалось, он испытывал неодолимую потребность выполнить то, что ему привиделось, и тогда он корчил жуткие гримасы. Однажды он сидел подле Оберлина, напротив на стуле лежала кошка. Вдруг он неподвижно уставился на кошку; затем, не сводя с нее глаз, медленно сполз со стула — кошка тоже, она была словно загни-

нотизирована его взглядом и объята страхом, она дико взъерошилась и зашипела — зашипел с перекошненным лицом и Ленц, мгновение — и они отчаянно бросились друг на друга; тут наконец поднялась мадам Оберлин, и их разъединили. И снова ему было мучительно стыдно.

Ночные припадки его ужасающим образом учащались. Засыпал он с величайшим трудом, устав от бесплодных усилий заполнить пустоту. Он погружался в мучительное состояние между сном и явью, чудовищные кошмары преследовали его, безумие наступало; истошно крича, обливаясь потом, он вскакивал посреди ночи и долго не мог успокоиться. Чтобы прийти в себя, он, ведомый инстинктом самосохранения, прибегал к простейшим вещам: рассказывал что-нибудь вслух, читал стихи, пока мучки его не утихали.

Случались с ним припадки и днем, тогда они протекали еще болезненнее, потому что свет уже не приносил облегчения. Ему казалось, что он один на всем свете, что мир — только плод его воображения и что в этой пустоте он один, навеки проклятый Сатана, оставшийся наедине с мучительными химерами. С бешеной быстротой он проносился тогда памятью по своей жизни, приговаривая «логично, логично» или «нелогично, нелогично» — это зияла неизбывная бездна безнадежного, вечного душевного мрака. Инстинкт духовного самосохранения подстегивал его, он припадал к рукам Оберлина, прижимался к нему, словно хотел в нем раствориться, пастор был для него единственным живым существом, связывавшим его с жизнью. Слова Оберлина мало-помалу приводили его в чувство; дрожка и сотрясаясь всем телом, он простирался перед ним на коленях, брал его руки в свои и склонял к нему облитое холодным потом лицо. Оберлину он внушал бесконечное сострадание, вся семья на коленях молилась за несчастного, а служанки в ужасе разбегались от него, точно от одержимого бесами. Успокаиваясь, он, как ребенок, переживал свое горе: всхлипывал, сокрушался, жалел себя, испытывая в то же время наслаждение от этой жалости.

Однажды Оберлин вновь заговорил с ним о боге. Ленц отодвинулся, взглянул на него с выражением бесконечного страдания и сказал:

— Я бы, знаете, будь я всемогущим, о, я бы не потерпел страданий, я бы спасал, спасал, я ведь и немного прошу, только покоя, чуточку покоя, чтобы заснуть.

Оберлин предостерег его от хулы на бога. Ленц только безутешно качал головой.

Постоянные неловкие попытки лишить себя жизни были очень опасны: то было не столько желание смерти — смерть не внушала ему надежды, не сулила покоя, — сколько стремление в моменты невыносимого страха и близкого к небытию оцепенения привести себя в чувство с помощью острой физической боли. Счастьем казались еще мгновения, в которые взвихренный дух его мчался в седле неотступной безумной идеи. И как ни мало в них было покоя, они были не столь ужасны, как безысходная жажда избавления, его вечная беспокойная мука! Беспреданно бился он головой о стену или как-то иначе причинял себе сильную боль.

Утром восьмого он долго оставался в постели. Оберлин поднялся к нему; полуголый, он лежал на постели и был сильно взволнован. Оберлин хотел накрыть его, но он стал жаловаться, что все так давит его, так давит! Воздух чудовищной тяжестью наваливается на него, ноги отказываются повиноваться. Оберлин, как мог, старался его утешить. Но он за весь день не переменил положения, не покинул постели и отказался от пищи. К вечеру Оберлина позвали к больному в Бельфосс. Было тепло, светила луна. На обратном пути он встретил Ленца. Тот казался в здравом рассудке, спокойно, дружески беседовал с Оберлином, обещал не уходить далеко. Уже отойдя, он вдруг обернулся, снова приблизился к Оберлину и быстро проговорил:

— Понимаете, господин пастор, если бы я только не слышал этого все время, мне было бы легче.

— Чего именно, дорогой мой?

— Как, вы не слышите? Этот ужасный голос, которым кричит

горизонт и который принято называть тишиной? С тех пор как я в этой тихой долине, я слышу его постоянно, он не дает мне спать, о, господин пастор, если б мне удалось снова заснуть! — И отошел, сокрушенно качая головой.

Оберлин вернулся в Вальдбах и хотел уже послать за ним следом, как услышал его шаги на лестнице. Мгновение спустя на дворе послышался сильный шум — такой, что Оберлин не мог предположить падение человека. Сейчас же вбежала нянька, она была бледна как смерть и вся дрожала...

Неподвижно и безучастно сидел он в повозке, когда они выехали из долины на запад. Куда его везут, ему было не важно. Даже когда в опасных местах повозка грозила перевернуться, он оставался невозмутим; ему было все безразлично. В таком состоянии он проделал обратный путь через горы. К вечеру добрались до Рейнской долины. Понемногу они удалялись от гор, синей хрустальной волной вздымавшихся на багровом закате, с призрачной голубой паутиной у подножия, над которой багрянцем играли лучи. Они приближались к Страсбургу; мрак сгустился, луна стояла высоко в небе, предметы таяли в темной дали; лишь ближняя вершина обозначилась резко; земля казалась золотым кубком, в который, пенясь, стекали золотые лупыные волны. Ленц безмятежно смотрел по сторонам; ни предчувствий, ни бурь, только темная глухая тревога нарастала в нем с наступлением темноты. Им пришлось остановиться на ночь. Тут он снова пытался покончить с собой, но за ним зорко следили.

На другое утро, в сырую, дождливую погоду, он въехал в Страсбург. Он был, казалось, в здравом рассудке, говорил. Он делал все, что и другие, но была в нем ужасная пустота, он не чувствовал ни желаний, ни страха, существование сделалось для него тягостной обузой...

Так он жил...

# ПИСЬМА



## СТРАСБУРГ (1831—1833)

РОДНЫМ

*Страсбург, около 4 декабря 1831 г.*

Когда распространился слух, что Раморино будет проездом в Страсбурге, студенты тут же объявили подписку и решили выйти ему навстречу с черным флагом. Наконец пришло известие, что Раморино приедет после полудня вместе с генералами Шнейдером и Лангерманом. Мы сейчас же собрались в академии, но, когда стали выходить в ворота, офицер, получивший от правительства приказ не пропускать нас с флагом, скомандовал солдатам стать под ружье и преградить нам путь. Но мы прорвались и стали на большом мосту через Рейн; нас было человек триста-четыреста. Национальная гвардия присоединилась к нам. Наконец появился Раморино в сопровождении группы всадников. Один из студентов произнес приветственную речь, Раморино отвечал ему; потом говорил солдат национальной гвардии. Гвардейцы окружили карету и повезли ее, выпрягну лошадей; мы с флагом стали во главе процессии, а впереди всех шел большой оркестр. Так мы вступили в город, сопровождаемые огромной толпой народу, с пением «Марсельезы» и «Карманьоль»; повсюду раздавались крики: «Vive la liberté!», «Vive Ramorino!», «A bas les ministres!», «A bas le juste milieu!»<sup>1</sup>. В городе была иллюминация, дамы махали из окон платками; Раморино с триумфом доставили в гостиницу, где наш знаменосец вручил ему флаг с пожеланием, чтобы он вскоре превратился из траурного флага в знамя свободной Польши. Затем Раморино вышел на балкон и благодарил, толпа кричала «виват», и на том комедия окончилась.

---

<sup>1</sup> Да здравствует свобода! Да здравствует Раморино! Долой министров! Долой политику золотой середины! (*франц.*).

РОДНЫМ

*Страсбург, декабрь 1831 г.*

Настроение здесь ужасно воинственное; если дело дойдет до войны, то в Германии начнется вавилонское столпотворение, и бог знает чем вся эта волынка кончится: либо полной победой, либо полным поражением. Но если русские перейдут через Одер, я возьмусь за оружие, даже если бы мне пришлось воевать на французской земле. Смилуйся, господи, над светлейшими олухами, помазанниками божьими; надеюсь, что на земле над ними никто не смиляется.

РОДНЫМ

*Страсбург, около 16 мая 1832 г.*

В политическом отношении интересно лишь то, что здешние республиканские франты ходят в красных шляпах, а у господина Перье была холера, но, к сожалению, не забрала его.

АВГУСТУ ШТЕБЕРУ

*Дармштадт, 24 августа 1832 г.*

Дорогие братцы! Хотя письмо адресовано одному из вас, предназначено оно обоим; но сначала загляните во второе письмо, ибо мое служит лишь обложкой и оберткой. Прочтя послание второе, вы узнаете, что речь идет не о чем ином, как о музее немецкой поэзии; будете ли вы ее восприимчиками или могильщиками, покажет будущее. Прошу вас оказать деятельную помощь при оживлении сего трупа посредством вашей домашней поэтической аптечки; лучше всего прогреть его в печи, она ведь единственное произведение искусства, в котором наш милый немецкий народ знает толк. Однако шутки в сторону! Прошу вас отнестись к этому начинанию серьезно. Если люди, обещавшие свою помощь, сдержат слово, то из этого может

выйти толк; вы же своим участием весьма можете тому способствовать, что мне хорошо известно,— не поймите это как комплимент. Издателей я знаю лично: Кюнцель — кандидат теологии, Мец — владелец книжного магазина, оба они очень образованные молодые люди; Циммерманы — близнецы, учатся в Гейдельберге и принадлежат к числу самых старых и лучших моих друзей; один из них обладает замечательным поэтическим дарованием.

Прошу адресовать ваш ответ прямо мне и надеюсь получить при этом случае хоть несколько дружеских строк. Не прошло и трех недель, как я расстался с вами, но уже готов писать вам *epistolas ex ponto*<sup>1</sup>. Ах, посидеть бы с вами в «Дрешере»! Сердечный привет благородным Евгенидам, особенно Бёккелю и Бауму. Всего доброго!

*Ваш Г. Бюхнер*

#### РОДНЫМ

*Страсбург, декабрь 1832 г.*

Чуть не забыл рассказать, что наш город переводят на осадное положение (из-за беспорядков в Голландии). У меня под окном непрерывно с грохотом провозят пушки, на площадях обучают солдат, на городские валы выставляют орудия. Для политического сочинения у меня уже нет времени, да и не стоит труда: ведь все это — не более чем комедия. Король и палаты правят, а народ аплодирует и платит.

#### РОДНЫМ

*Страсбург, январь 1833 г.*

На рождество я ходил в четыре часа утра к ранней мессе в собор. Мрачные своды с колоннами, роза над портиком. цвет-

---

<sup>1</sup> Письма из-за моря (*латин.*).

ные стекла и коленопреклоненная толпа были лишь слабо освещены. Голоса невидимых певчих плыли над хорами и алтарем, перекликаясь с глубокими звуками мощного органа. Я не католик; разряженные попы, земные поклоны и позванивание в колокольчик меня не занимали. Но пение само по себе произвело на меня более сильное действие, чем плоские однообразные фразы почти всех наших священников, из года в год на каждое рождество твердящих одно и то же: как умно сделал боженька, повелев Христу появиться на свет именно в это время!

РОДНЫМ

*Страсбург, 5 апреля 1833 г.*

Сегодня я получил ваше письмо с рассказами о событиях во Франкфурте. Вот мое мнение: в наше время помочь может только насилие. Мы знаем, чего можно ожидать от наших князей. На все уступки их вынудила лишь необходимость. И даже уступки нам швырнули, как подачку — народу сунули в руки игрушку, чтобы этот разиня забыл, как туго он спеленут. Ему дали деревянную саблю и игрушечное ружье; только немцы способны играть в солдатики таким оружием. Наше сословное представительство — издевка над здравым смыслом, эта телега может скрипеть еще хоть сто лет, а когда мы подведем итоги, то окажется, что народу красноречие его представителей обошлось дороже, чем римскому императору скверные стихи придворного поэта, которому он приказал выдать 20 000 гульденов за две строчки. Молодежь упрекают в применении насилия. Да разве мы не подвергаемся насилию непрестанно? Родившись и выросши в темнице, мы уже не замечаем, что сидим в мрачной яме, скованные по рукам и ногам, с кляпом во рту. Что вы, собственно, называете законностью? Закон, который превращает подавляющее большинство граждан государства в рабочий скот, чтобы удовлетворять противоестественные потреб-

ности незначительного и развращенного меньшинства? Да ведь этот закон, опиравшийся на грубую военную силу и на крючкотворство чиновников-исполнителей,— этот закон и есть бесконечное грубое насилие над справедливостью и здравым смыслом, и я буду бороться против него словом и делом где только смогу. Если я не принимал участия в том, что произошло, и не стану участвовать в том, что, может быть, еще случится, то не потому, что боюсь или не одобряю происшедшего, но лишь оттого, что считаю любое революционное выступление в данный момент предприятием, обреченным на неуспех, и не разделяю ослепления тех, кто считает немцев народом, готовым бороться за свои права. Это безумство вызвало франкфуртские события, и ошибка дорого обошлась. Ошибаться, однако же, дозволено всякому, а безразличие немцев таково, что может опрокинуть все расчеты. От всего сердца сожалею о несчастных. Уж не замешан ли в этом кто-нибудь из моих друзей?

РОДНЫМ

*Страсбург, апрель или май 1833 г.*

За меня вам нечего беспокоиться; я не поеду во Фрейбург и не стану принимать участие в собраниях, как не сделал этого и в прошлом году.

РОДНЫМ

*Страсбург, около 27 мая 1833 г.*

Мы только что получили известие, что в Нейштадте солдатня силой разогнала собрание безоружных людей, причем несколько человек были убиты ни за что ни про что. Говорят, подобные случаи были во всей прирейнской Баварии. Ну что же, либеральной партии жаловаться не приходится: око за око, зуб за зуб. Время покажет, кто сильней.

Если бы вы недавно, в ясную погоду, смогли разглядеть Страсбургский собор, то обнаружили бы меня неподалеку в обществе длинноволосого, бородатого молодого человека. На голове у этого субъекта был красный берет, на шее — кашемировый платок, остальная тощая плоть облачена в кургузый немецкий сюртук, на жилете вышито имя «Руссо», на ногах — узкие брючки с защипками, в руке — модная тросточка. Как видите, сия карикатура составлена из нескольких веков и стран света: Азия на шее, Германия на теле, Франция на ногах, год 1400-й на голове и 1833-й в руке. Он — космополит; нет, более того: он — сенсимонист! Вы наверное подумаете, что я разговаривал с дураком, и очень ошибетесь. Это весьма любезный молодой человек, много путешествовавший. Не будь на нем такого поразительного одеяния, я и не распознал бы сенсимониста, но он начал говорить о femme<sup>1</sup> в Германии. У сенсимонистов мужчина и женщина равны, они имеют равные политические права. Есть у них свой père<sup>2</sup>, это Сен-Симон, их вдохновитель; а раз есть père, должна быть и mère<sup>3</sup>. Но ее еще надо отыскать, вот они и бродят по свету, как Савл в поисках родительских ослов, с той только разницей, что в XIX веке мир далеко подвинулся вперед, и на этот раз ослы ищут Савла. Руссо с еще одним приверженцем (оба ни слова по-немецки) стали искать femme в Германии, но по глупости и нетерпимости властей их выслали. Я его заверил, что с нашими дамами он не много потерял, разве что дамы в нем многое потеряли; с одними он помирал бы от скуки, над другими смеялся. Теперь он ходит по Страсбургу, ручки в брючки, и проповедует народу пользу труда. Ему хорошо платят — по способностям, а он marche vers les femmes<sup>4</sup>, как он выражается. Право, можно ему позавидовать:

---

<sup>1</sup> О женщине (*франц.*).

<sup>2</sup> Отец (*франц.*).

<sup>3</sup> Мать (*франц.*).

<sup>4</sup> Ищет путей к женщинам (*франц.*).

самая приятная жизнь на свете. Я бы из чистой лени стал сен-симонистом, пусть только мне положат вклад в меру моих способностей.

РОДНЫМ

*Страсбург, июнь 1833 г.*

Конечно, я всегда буду действовать в соответствии со своими принципами, но в последнее время я понял, что социальные преобразования могут быть вызваны лишь насущными потребностями народных масс, что вся возня и все громкие призывы отдельных личностей — бесплодное и глупое занятие. Они пишут — их не читают; они кричат — их не слушают; они действуют — им никто не помогает... Отсюда вам должно быть ясно, что я не стану вмешиваться в гисенские провинциальные интриги и революционные шалости.

РОДНЫМ

*Прогулка в Вогезские горы  
Страсбург, 8 июля 1833 г.*

То долинами, то горами шли мы по этой благодатной земле. На второй день добрались до плоскогорья на высоте около 3000 футов, где лежат так называемые «белое» и «черное» озеро. Два мрачных водоема в глубоком ущелье, между скалистыми стенами высотой футов в 500; «белое» озеро — на самом высоком плато плоскогорья. Безмолвная темная вода покоилась у наших ног. На востоке, за ближними горами, виднелись долина Рейна и Шварцвальд, на западе и северо-западе — Лотарингское плоскогорье. На юге висели мрачные грозовые облака, все застыло. Вдруг поднялась буря и погнала тучи вверх по Рейну; слева от нас то и дело вспыхивали молнии, а над темным Юр-

ским хребтом сквозь просветы, образовавшиеся в тучах, засверкали альпийские ледники, освещенные заходящим солнцем. На третий день мы наслаждались тем же великолепным зрелищем, поднявшись на самую высокую точку Вогезов — на гору Бельген, около 5000 футов высотой. Отсюда видишь Рейн от Базеля до Страсбурга, равнину за Лотарингией до самых гор Шампани, начало бывшего графства Франкского, Юрский хребет и горы Швейцарии от Риги до дальних Савойских Альп. Это было на заходе солнца, Альпы стояли бледным закатным заревом над потемневшей землей. Ночь мы провели неподалеку от вершины в пастушьей хижине. У пастухов здесь сотня коров, около девяноста телок и быков. На рассвете небо затянуло дымкой, красный отблеск солнца лег на горы. Облака полились пенным водопадом на Шварцвальд и Юрский хребет, над ними стояли лишь Альпы, ясные как блистающий Млечный Путь. Представьте себе над темной цепью Юрского хребта, выше туч, на юге, насколько хватает глаз, сплошную сверкающую ледяную стену, лишь сверху зазубренную пиками отдельных гор. С Бельгена мы спустились направо, в так называемую Амариинскую долину, последнюю большую долину в Вогезах, и пошли по ней. Долина оканчивается красивым лугом и снова переходит в предгорье. Хорошо сохранившаяся дорога вывела нас через горы в Лотарингию, к истокам Мозеля. Некоторое время мы шли вдоль речки, потом повернули на север и вернулись в Страсбург, посетив по дороге еще несколько интересных мест. А здесь вот уже несколько дней неспокойно. Депутат и член правительства г-н Сальо вернулся недавно из Парижа. Никто не обратил на него внимания. Потеря чести нынче вещь такая обычная, что народный представитель, носящий свой фрак, как позорное клеймо на спине, никого уже не интересует. Но полиция была другого мнения. Посему на центральную площадь к дому г-на Сальо согнали солдат, а уж после этого, конечно, собралась толпа — на второй или третий день. Вчера и позавчера перед домом депутата немножко пошумели. Префект и мэр сочли это за удобный случай ухватить орденки: войскам при-

казано было выступить, очистить улицы, нанося удары штыком и прикладом. Начались аресты, появились грозные объявления...

### **ГИСЕН И ДАРМШТАДТ (1833—1835)**

РОДНЫМ

*Гисен, 1 ноября 1833 г.*

Вчера опять арестовали двух студентов — маленького Штамма и Гросса.

РОДНЫМ

*Гисен, 19 ноября 1833 г.*

Вчера я был на банкете в честь вернувшихся депутатов. Около двухсот человек, среди них — Бальзер и Фогт. Несколько лояльных тостов, пока не напились и не начали куражиться: запели польский гимн, «Марсельезу» и закричали «виват» в честь узников Фридберга. Люди готовы пойти в огонь, когда горит пунш!

НЕВЕСТЕ

*(Гисен, ноябрь 1833 г.?)*

Здесь нет гор, нет широких горизонтов. Холм за холмом, широкие долины, плоская посредственность во всем; не могу я привыкнуть к этой местности, а город отвратительный. У нас весна, можно заметить твои фиалки свежими, но они бессмертны, как лама. Девочка милая, как поживает добрый город

Страсбург? Кое-что там происходит, а ты об этом ни слова. Je baise les petites mains, en goûtant les souvenirs doux des Strasbourg. Prouve-moi que tu m'aimes encore beaucoup en me donnant bientôt des nouvelles<sup>1</sup>. А я заставил тебя ждать! Вот уже несколько дней я берусь за перо каждую минуту и не могу написать ни слова. Я изучал историю революции и совершенно раздавлен дьявольским фатализмом истории. В человеческой природе я обнаружил ужасающую одинаковость, в человеческих судьбах — неотвратимость, перед которой ничтожно всё и вся. Отдельная личность — лишь пена на волне, величие — чистый случай, господство гения — кукольный театр, смешная попытка бороться с железным законом; единственное, что в наших силах, — это познать его; овладеть им невозможно. Теперь я не такой глупец, чтобы преклоняться перед парадными рысачами истории, перед ее столпами и остолопами. Я приучал себя к виду крови. Но я не палач. *Надо* — вот одно из тех слов, которыми был проклят человек при крещении. Отвратителен афоризм: подобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Что это такое в нас лжет, убивает, крадет? Мне страшно думать дальше. Если бы только я мог прижать свое холодное, измученное сердце к твоей груди!

Беккель, наверное, успокоил тебя относительно моего здоровья; я писал ему. Проклинаю выздоровление. У меня был жар, лихорадка осыпала меня поцелуями и сжимала в объятиях, как возлюбленная. Мрак плыл надо мною, сердце наполнилось несказанной тоской; сквозь тьму пробивались звезды, руки и губы склонялись ко мне. А теперь что? Нет даже сладостной боли и тоски. С тех пор как я перешел через Рейнский мост, я будто умер, во мне не возникает ни единого чувства. Я — автомат; у меня вынули душу. Одно утешение — пасха; у меня есть род-

---

<sup>1</sup> Целую ручки, наслаждаясь нежными страсбургскими воспоминаниями. Докажи мне, что еще любишь: напиши поскорее (*франц.*).

ственники недалеко от Ландау, они прислали приглашение, и мне разрешено их навестить. В мечтах я уже совершил это путешествие тысячу раз. Ты спрашиваешь, тоскую ли я о тебе. Мало сказать «тоскую». Жизнь кажется мне возможной лишь в *одном* месте, а я от него оторван и ощущаю лишь свое горе. Отвечай мне. Разве мои губы так холодны?.. Это письмо — сплошная мешанина; в утешение напишу тебе другое.

АВГУСТУ ШТЕБЕРУ

*Дармштадт, 9 декабря 1833 г.*

Дорогой Август! Пишу, не зная точно, где тебя застанет это письмо. Ламбосси, насколько я помню, писал мне, что ты живешь преимущественно в Обербрунне. То же сказал мне и Кюнцель, получивший от твоего отца ответ на письмо, адресованное тебе. Пишу тебе последнему, потому что не хотел терзать тебя своим мрачным настроением; я и так уверен, что вы оба мне сочувствуете. Я написал несколько писем нашим общим друзьям; может быть, тебе их показывали; я там жалел себя и насмеялся над другими; можешь себе вообразить, как мне было плохо. Я не хотел тащить и тебя в больничную палату, потому и молчал.

Решай сам, что могло быть причиной моей хандры: воспоминания о двух счастливых годах и обо всем, что делало их счастливыми, или отвратительные условия, в которых я здесь живу. Я думаю — и то и другое. Иногда меня охватывает настоящая тоска по вашим горам. Здесь все так тесно и так мелко. Природа и люди — все мелочно и не вызывает во мне ни малейшего интереса. В конце октября ездил отсюда в Гисен и провел там пять недель в горестях и болезнях. У меня началось воспаление коры головного мозга; болезнь захватили в самом начале, но все-таки мне пришлось возвратиться в Дармштадт, чтобы окончательно поправиться. Думаю остаться здесь до Нового года и выехать в Гисен 5 или 6 января.

Был бы очень рад получить от тебя письмо; как добрый христианин, ты не откажешь выздоравливающему. С тех пор как в среду вечером, пять месяцев тому назад, я в последний раз пожал вам обоем руки, сидя уже в экипаже, у меня такое чувство, словно я лишился рук; но, думается, чем реже встречи, тем крепче рукопожатия. В Гисене осталось трое добрых друзей, и теперь я совсем один.

Г-н доктор Г. К., правда, еще здесь, но вся эта эстетическая немощь начинает действовать мне на нервы; чего только он не пробовал, чтобы ускорить поэтические роды; остались разве что повивальные бабки из критического отдела «Вечерней газеты». Я навалился на философию. Искусственный ее язык отвратителен; следовало бы найти человеческие слова для человеческих понятий. Однако это мне не мешает. Я смеюсь над собственной глупостью и стараюсь не забывать, что, в сущности, все равно на этой земле делать нечего, остается переливать из пустого в порожнее. Но ведь надо же на чем-то ехать по этой планете; вот я и оседлал осла, не боясь недостатка в корме: лоухов и дураков хватит, пока еще не забыто искусство книгопечатания. Прощай, дорогой мой. Передай привет друзьям, пусть получат двойную порцию приветов,—я просил об этом и Бёккеля.

Политическое положение приводит меня в бешенство. Бедный народ безропотно тащит телегу, на которой князья и либералы разыгрывают комедию. Каждый вечер молюсь фонарю и неньковой веревке. Что пишут Виктор и Шерб? Адольф снова в Метце? В ближайшее время напишу ему на твой адрес.

РОДНЫМ

*Гисен, февраль 1834 г.*

Я никого не презираю и менее всего за недостаток ума или образования, ибо не во власти человека не быть дураком или преступником: в одинаковых условиях мы, наверное, стали бы

все одинаковы, но условия эти от нас не зависят. Разум — лишь малая часть нашего духовного существа; образование — совершенно случайная его форма. Упрекать меня в презрении к людям — значит утверждать, что я пинаю ногами человека за то, что он плохо одет. Таким образом, грубость, на которую меня никто не считает способным физически, переносится в область духовную, где оказывается еще отвратительнее. Я могу назвать человека глупцом, не испытывая к нему презрения; глупость — одно из общих свойств человеческой природы; я не виноват в том, что она существует, и никто не может мне запретить именовать все сущее в соответствии с его сущностью и избегать того, что мне неприятно. Обидеть человека — жестокость, но искать или избегать его общества — это уж дело мое. *Этим* и объясняется мое отношение к старым знакомым: я никого не обидел, а сам избавился от скуки; если они считают меня высокомерным потому, что их занятия и развлечения мне не по вкусу, то это несправедливо; мне никогда не пришло бы в голову делать людям подобные упреки. Меня называют насмешником. Правда, я смеюсь часто, но не над тем, *каков* тот или иной человек, а лишь над тем, что он *человек вообще*; а это — не его вина, и я при этом смеюсь над самим собой тоже, поскольку разделяю его судьбу. Люди называют это насмешкой; они не выносят, чтобы кто-то считал себя глупцом, а их — себе подобными; они презирают, издеваются и смотрят на других свысока, поскольку ищут глупость лишь *вне* самих себя. Есть, правда, насмешка другого рода, и она мне свойственна: не из презрения, а из ненависти. Ненависть столь же допустима, как и любовь, и я в полной мере испытываю ее к тем, кто презирает других. Им несть числа, этим людям, которые, обладая смешным и чисто внешним преимуществом, именуемым «образование», или мертвой рухлядью, именуемой «ученость», приносят в жертву своему презрительному эгоизму все остальное человечество. Аристократизм — позорнейшее презрение к духу святому, который есть в каждом человеке; я сражаюсь с ним его собственным оружием: высокомерием и насмешкой.

Вам бы лучше порасспросить обо мне чистильщика, который чистит мне ботинки; вряд ли нашелся бы более подходящий объект для высокомерия и презрения к нищете духовной, будь я способен на такие чувства. Расспросите его, сделайте одолжение... Вряд ли вы станете упрекать меня в том, что я смотрю на других сверху вниз,— такое зазнайство кажется мне смешным. Думаю все-таки, что я чаще сострадал измученным и угнетенным, чем издевался над высокомерными аристократами.

#### НЕВЕСТЕ

*Гисен, февраль 1834 г.*

Я жажду писем. Один, как в могиле; когда рука твоя вернет меня к жизни? Друзья меня покидают; мы кричим друг другу в ухо, как глухие; лучше бы мы были немые и просто глядели друг на друга. В последнее время у меня выступают слезы, стоит только пристально посмотреть на кого-нибудь. Это — глазная водянка, она часто бывает у тех, кто утратил способность изменять свой взгляд. Люди говорят, что я сошел с ума, потому что я сказал, что через шесть недель воскресну, но сначала вознесусь на небеса в дилижансе. Прощай, милая, и не покидай меня. У тебя есть соперница — моя тоска. Горе стоит между нами, я провожу с ним дни и ночи. Ты, кажется, тоже, бедняжка.

#### НЕВЕСТЕ

*Гисен, март 1834 г.*

Первое светлое мгновение за восемь дней. Непрестанный жар и головная боль, ночью почти никакого отдыха. Раньше двух часов не ложусь, потом каждую минуту просыпаюсь; меня заливают море мыслей, от которых немеет душа. Мое молчание

мучает тебя, как и меня самого, но ничего с этим не поделаешь. Милая, милая, прости! Только что вернулся с прогулки. По-летнему душный воздух полон непрерывным томительным звуком, будто поют тысячи жаворонков; тяжкие тучи поднимаются из-за горизонта, и порывы ветра звучат мелодией их движения. Судорога, сковавшая мне душу, смягчилась на весеннем воздухе, и я испугался себя. Надо мной постоянно тяготело ощущение, что все кругом мертво. На всех лицах я видел маску Гиппократата, остекленелые глаза, восковые щеки, а когда шарманка начинала крутиться, дергались рычажки и скрипучий голос заводил одну и ту же монотонную песню, когда я видел, как пляшут и вертятся валики и винтики внутри,— я проклинал весь этот концерт, и шарманку, и мотив — ах, мы, несчастные музыканты! Только и умеем, что кричать! Наши стоны под пыткой, неужели они, проникая в просветы облаков и уносясь все дальше ввысь, доносятся до слуха божества лишь замирающим мелодичным вздохом? Неужели мы — жертва в раскаленном чреве Периллова быка, смертный стон которой сливается с ликующим ревом божественного зверя, пожирающего себя в пламени? Я не богохульствую. Но люди богохульствуют. Однако я наказан, я боюсь своего голоса и... своего отражения в зеркале. Я мог бы позировать Калло — Гофману, правда, дорогая? И заработал бы деньги на дорогу. Чувствую, что становлюсь интересным.

Каникулы начинаются через две недели, считая с завтрашнего дня; если мне не дадут разрешения, я приеду тайком; необходимо положить конец этому нестерпимому состоянию. Мои душевные силы совершенно истощены. Работать не могу: мною овладела тупая тоска, едва освещаемая мыслью. Все во мне погибает; нет исхода моей душе — ни крика боли, ни вопля радости, ни гармонии блаженства. Немота — вот мое проклятие. Я тебе уже тысячу раз говорил: не читай моих писем — все вялые, холодные слова! Найти бы один чистый и верный звук, излить тебе в нем душу — но нет, вместо этого я влеку тебя за собой в сумятицу своих кошмаров. Ты сидишь сейчас в темной

комнате, заливаясь слезами, но скоро я приду к тебе. Вот уже две недели твой образ непрестанно предо мной, я все время вижу тебя во сне. Тень твоя витает надо мной, как пятнышко света в глазах, когда слишком долго смотришь на солнце. Я жажду блаженных ощущений, и скоро, скоро мечты мои сбудутся — с тобой.

#### РОДНЫМ

*Гисен, 19 марта 1834 г.*

Гораздо серьезнее обстоит дело с расследованием деятельности студенческих союзов; по крайней мере тридцати студентам грозит исключение. Я готов под присягой подтвердить безвредность этих заговорщиков. Но правительство ищет, чем бы запяться; только того и ждет, чтобы кто-нибудь из этих юнцов споткнулся случайно или подергал цепь, на которой сидит! Узников Фридберга освободили, за исключением четырех...

#### НЕВЕСТЕ

*Гисен, март 1834 г.*

Я был бы неутешен, бедная моя девочка, если бы не знал, чем тебя лечить. Теперь я пишу ежедневно, еще вчера начал письмо. Мне даже хочется приехать прямо в Страсбург вместо Дармштадта. Если твоя болезнь примет серьезный оборот, я немедленно приеду. Но к чему эти мысли? Я даже и думать об этом не хочу. Лицо у меня от радости все в красных пятнах — как пасхальное яйцо.

Вот только почерк отвратительный; это вредно для глаз, у тебя может усилиться жар. Да нет, не верю: это просто отзвуки давней грызущей боли; поцелуи мягкого весеннего воздуха смертельны для стариков и чахоточных; твоя боль состарилась и истощилась, она умирает, вот и все, а тебе кажется, что с ней уходит и жизнь. Разве ты не видишь, как ясен новый день? Не слы-

шип моих шагов? Я же возвращаюсь к тебе! Взгляни, я посылаю тебе поцелуи, подснежники, примулы, фиалки, первые робкие взгляды земли в пламенный лик юноши-солнца. Полдня я сижу, запершись с твоим портретом, и говорю с тобой. Вчера утром я обещал тебе цветы, вот они. Что ты мне дашь за них? Как тебе нравится мое безумие? Собираюсь сделать что-нибудь разумное — и оказываюсь клоуном из комедии, который хочет обнажить меч, а вытаскивает заячий хвост...

Лучше бы я молчал. Невыносимый страх охватывает меня. Сейчас же напиши, но только если это тебя не утомит. Ты говорила мне о лекарстве; душенька моя, я уже собираюсь о нем заговорить, но я так любил нашу тихую тайну. Но скажи все своему отцу, только с двумя условиями: ничего не говорить даже ближайшим родственникам; я не хочу слышать звяканье кастрюль за каждым поцелуем и представляться разным тетушкам в качестве отца семейства. И потом: ничего не пишите моим родителям, пока я сам не напишу. В остальном поступай как хочешь, сделай все, что может тебя успокоить. Я люблю тебя, что мне еще сказать? Что обещать кроме верности, уже заключенной в слове «любовь»? А вот так называемый кусок хлеба?.. Впереди еще два года студенчества, бурная жизнь мне обеспечена и, может быть, в чужом краю!

И вот наконец я подхожу к тебе и ною старую колыбельную:

«И становилась все слабей,  
Тоскуя о любви своей.  
Бессонной ночью, светлым днем  
О нем лишь думала одном.  
В простенке горенки простой  
Он ей являлся, как живой,  
А коль глаза смежит ей сон —  
К пей и во сне приходит он».

И потом:

«Так каждый час и каждый день  
Над ней его витала тень,—

Того, что мало с ней побыл,  
Но сердце ей вернуть забыл.  
Черты уж видимы едва,  
Но все звучат его слова,  
И живы в ней мгновенья те,  
И сердце предано мечте,  
Той, что от века дал нам бог,  
Но явью сделать не помог»<sup>1</sup>.

#### НЕВЕСТЕ

*Гисен, март 1834 г.*

Я поеду отсюда прямо в Страсбург, не заезжая в Дармштадт; боюсь там осложнений, из-за которых поездка может быть отложена до самого конца каникул. Но до отъезда я еще напишу тебе, иначе не выдержу; это письмо к тому же скучно, как церемонный визит в благородный дом: разрешите представить вам — господин Бюхнер, студент. Вот и все. Как я здесь высох и сморщился, эта мысль меня прямо-таки убивает. Не будь тебя, все это было бы мне безразлично,— пожалел бы себя, как жалеют глухого или слабоумного. Но ты, как ты встретишь инвалида? Nous ferons un peu de romantique, pour nous tenir à la hauteur du siècle; et puis me faudra-t-il du fer à cheval pour faire de l'impression à un coeur de femme? Aujourd'hui on a le système nerveux un peu robuste. Adieu<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Перевод стихов А. Карельского.

<sup>2</sup> Мы займемся романтикой, чтобы быть на уровне века. Как ты думаешь, мне понадобится подкова на счастье, чтобы произвести впечатление на сердце женщины? Нервная система у людей нашего времени довольно крепкая. Прощай (*франц.*).

РОДНЫМ

*Страсбург, апрель 1834 г.*

{В Гисене} я был внешне спокоен, но впал в глубокую меланхолию; к тому же политическая обстановка ужасно меня стесняла: стыдно быть рабом среди рабов в угоду растленной княжеской династии и аристократическим подхалимам, состоящим на государственной службе. В Гисене я попал в ужаснейшие условия и заболел с горя и отвращения.

РОДНЫМ

*Гисен, 25 мая 1834 г.*

Выходки буршей меня не занимают. Вчера их побили филистеры. Начали кричать: «Бурш, выходи!» Но никто не вышел, кроме членов двух студенческих союзов, которым и пришлось позвать университетского судью, чтобы спастись от портняжек и сапожников. Судья был пьян и обругал ремесленников; удивительно, как его самого не избили. Самое смешное, что эти молодые ремесленники — либералы, поэтому они и накинулись на студентов, лояльно настроенных по отношению к правительству. Говорят, пынче вечером вся эта история повторится, болтают даже, что будет поход в предместья; надеюсь, что буршей опять побьют. Мы на стороне ремесленников и остаемся в городе.

РОДНЫМ

*Гисен, 2 июля 1834 г.*

Что у вас говорят о приговоре Шульцу? Меня это не удивляет — узнаю жандармские замашки.

Кстати, слышали вы прелестную историю об одном комиссаре полиции?.. Сей Колумб решил найти тайный печатный станок у плотника в Бундбахе. Дом окружили, ворвались. «Ну, голубчик, попался, показывай, где у тебя тут станок». Тот ведет его к

давилу для винограда: «Да нет же! Станок, станок!» Плотник так ничего и не понял, и храбрый комиссар полез в погреб. Там темно. «Свечку давай!» — «Подите да купите, коли она вам нужна». Но г-н комиссар пожалел казенных денег и так стукнулся о балку, что из глаз искры посыпались, а из носу кровь ручьем — совсем как Мюнхаузен. И ведь так ничего и не нашел. Наш дорогой герцог может в качестве наплежки на нос выдать ему орден за гражданскую доблесть.

## РОДНЫМ

*Франкфурт, 3 августа 1834 г.*

Пользуюсь любимым предложением, чтобы сбежать от занятий. В пятницу вышел из Гисена — решил идти ночью, из-за страшной жары, — и пошел под ясным звездным небом. Вокруг стояла чудесная прохлада, а где-то далеко за горизонтом непрерывно вспыхивали зарницы. То пешком, то в повозке с почтой, то в мужицкой телеге я проделал за ночь большую часть пути. По дороге несколько раз отдыхал. К полудню был в Оффенбахе. Этот небольшой крюк я сделал потому, что со стороны Оффенбаха легче войти в город — меньше риска, что спросят бумаги. Я не успел ими запастись из-за недостатка времени.

## РОДНЫМ

*Гисен, 5 августа 1834 г.*

Я, кажется, рассказывал вам, что Миннигероде арестовали через полчаса после моего отъезда и увезли во Фридберг. Причина его ареста мне непонятна. По-видимому, наш пронизательный университетский судья решил усмотреть связь между моей поездкой и арестом Миннигероде. Вернувшись, я нашел свой шкаф опечатанным; мне сказали, что был обыск. По моему требованию печати немедленно сняли и вернули мне бумаги (письма от вас и от

моих друзей, больше ничего); задержали лишь несколько писем от В[ильгельмины] (?), Мюстова, Ламбосси] и Б[ёккеля], написанных по-французски,— вероятно, ищут переводчика, чтобы прочел. Такое обращение меня возмутило; дурно делается, как подумаешь, что самые святые тайны мои в руках этих грязных людишек. И знаете, из-за чего это все? Из-за того, что я уехал в тот же день, как арестовали Миннигероде. На основании ничтожного подозрения нарушили священнейшие права и потом потребовали, чтобы я подтвердил свою поездку свидетельскими показаниями,— только и всего... Ничего не может быть легче: у меня есть письма Б[ёккеля], подтверждающие каждое слово моих показаний, а среди бумаг нет ни строки, компрометирующей меня. Вам нечего тревожиться из-за этой истории. Я на свободе, причину для ареста пайти невозможно. Но я до глубины души возмущен действиями суда, решившегося нарушить священнейшие семейные тайны по подозрению, основанному опять-таки на подозрении. В университетском суде меня только и спросили, где я был последние три дня, но уже на второй день взломали в мое отсутствие письменный стол и забрали бумаги, чтобы получить ответ на свой вопрос! Я посоветуюсь с юристом и узнаю, нельзя ли на законном основании протестовать против такого нарушения прав.

#### РОДНЫМ

*Гисен, 8 августа 1834 г.*

Занимаюсь своими обычными делами, больше меня не допрашивали. Ничего подозрительного не нашли; а французские письма, кажется, еще так и не сумели прочитать; для этого г-ну университетскому судье, очевидно, понадобятся уроки французского языка. Писем мне пока не вернули... Впрочем, я уже обратился в дисциплинарный суд, прося защиты от произвола университетского судьи. С нетерпением жду ответа. Я не могу отказаться от требования, чтобы мои претензии были надлежащим образом

удовлетворены. Нарушение моих священнейших прав и тайн, конфискация бумаг, для меня священных, до такой степени возмутили меня, что я использую любое средство, чтобы отомстить виновнику этого насилия. Университетского судью я осыпал вежливыми насмешками, от которых его чуть удар не хватил. Вернувшись и найдя комнату запертой, а письменный стол опечатанным, я пошел к нему и сказал хладнокровно и весьма вежливо, в присутствии нескольких свидетелей: как я слышал, в мое отсутствие он удостоил мою комнату посещением; я пришел узнать причину столь любезного визита и т. д. Жаль, что я пришел не после обеда, но и так он чуть не лопнул от злости, будучи вынужден отвечать на ядовитую иронию с величайшей вежливостью. По закону, обыск производится лишь в случаях крайне серьезного подозрения, то есть фактически, почти уже равного доказательству вины. Но эти люди, как видите, толкуют закон по-своему. Нет оснований подозревать меня, тем более *серьезно* подозревать — иначе бы меня попросту арестовали; за то время, что я пробыл здесь, я мог бы сделать всякое расследование невозможным, договорившись с друзьями о даче одинаковых показаний. Отсюда следует, что я ничуть не скомпрометирован, а обыск был произведен лишь потому, что я не похож на обыкновенного распутника и недостаточно раболепен; следовательно, меня можно принять за демагога. Перенести насилие молча значило бы считать правительство соучастником насилия — фактически заявить, будто закон не охраняет прав человека и не карает за их нарушение. Я не хочу столь грубо оскорблять наше правительство. О Миннигероде мы ничего не знаем, во всяком случае, история с Оффенбахом — сплошная выдумка; то, что я там тоже был, компрометирует меня не более, чем любого другого путешественника... Они, конечно, могут и арестовать меня без законного основания, точно так же как обыскали мои бумаги, — ну что же делать! Противиться невозможно, как невозможно честному человеку сопротивляться толпе бандитов, грабителей и убийц. Насилию приходится покоряться, если нет сил оказать ему сопротивление. Нельзя осуждать человека за слабость.

После обыска прошло почти три недели, а мне все еще ничего не сообщили по этому поводу. Допрос у судьи в день приезда в счет не идет, юридически он не имеет отношения к этому делу; г-н Георгий как *университетский судья* потребовал от меня как от *студента* показаний о моей поездке; обыск же он произвел в качестве *правительственного комиссара*. Видите, как далеко зашло беззаконие. Если не ошибаюсь, забыл сообщить вам важное обстоятельство: обыск был произведен даже без трех понятых, как то предписывает закон, и, следовательно, тем более похож на кражу со взломом. Нарушение наших семейных тайн и без того более крупная кража, чем похищение денег. Ворваться в комнату без меня — тоже незаконно, они имели право опечатать дверь и только в том случае произвести обыск в мое отсутствие, если бы я не явился по вызову. Таким образом, имело место тройное нарушение закона: обыск при отсутствии серьезного подозрения (меня, как я уже говорил, еще не допрашивали, а прошло уже три недели), обыск без понятых и, наконец, обыск на третий день моего отсутствия без предварительного вызова в суд. Заявление в дисциплинарный суд было, в сущности, бесполезно, так как университетский судья — правительственный комиссар и этой судебной инстанции не подчиняется. Я предпринял этот шаг, не желая ломиться в открытые двери: подал жалобу, просил о защите. Согласно уставу, суд *обязан* меня всемерно защищать, но люди там сидят робкие, и я уверен, что они отошлют меня в другую инстанцию. Ожидаю их решения... Дело такое простое и ясное, что придется либо полностью удовлетворить мои претензии, либо заявить открыто, что закон не существует более, его сменило насилие, против которого никакие апелляции не помогут. Тогда защита одна: набат и булыжник.

ЗАУЭРЛЕНДЕРУ

*Дармштадт, 21 февраля 1835 г.*

Милостивый государь! Беру на себя смелость переслать Вам рукопись и прилагаю к ней письмо. Это — драматическое произведение, в котором разработан сюжет из новейшей истории. Если Вы решитесь издать эту вещь, прошу Вас известить меня об этом как можно скорее, в противном же случае прислать рукопись назад в адрес здешнего книжного магазина Гейера.

Вы очень обяжете меня, если перешлете прилагаемое письмо г-ну Карлу Гуцкову и передадите ему драму для просмотра.

Будьте любезны адресовать Ваш ответ, если он воспоследует, на имя г-жи надворной советницы Рейс, в Дармштадт, для передачи мне. По некоторым соображениям, я чрезвычайно желал бы получить Ваш ответ в кратчайший срок.

Остаюсь с совершенным уважением Ваш покорный слуга

*Г. Бюхнер*

ГУЦКОВУ

*Дармштадт, 21 февраля 1835 г.*

Сударь! Быть может, Вам известно из наблюдений, а в худшем случае по собственному опыту, что человеческие невзгоды могут достигнуть такой степени, когда забывается деликатность и притупляется всякое чувство. Есть, правда, люди, утверждающие, что в таком случае лучше умерить себя голодом; однако я могу сослаться в качестве контраргумента хотя бы на одного недавно ослепшего капитана, которого я встретил случайно на улице; он утверждает, что застрелился бы, если бы не был вынужден жить, чтобы поддерживать своей пенсией существование семьи. Это ужасно. Надеюсь, Вы поймете, что бывают подобные же обстоятельства, не позволяющие человеку, потерпевшему крушение в этом мире, бросить свое тело в воду как якорь спасения. Итак, не удивляйтесь, что я врываюсь в Вашу комнату, приставляю рукопись к Вашей груди и требую милостыни. Другими словами —

я прошу Вас прочитать прилагаемую рукопись как можно скорее и, если Ваша совесть, совесть критика, позволит это сделать, рекомендовать ее г-ну Зауэрлендеру, и сразу ответить мне.

О самом произведении могу сказать Вам лишь одно: несчастные обстоятельства заставили меня написать его в спешке, самое большее за пять недель. Говорю это, чтобы смягчить Ваше суждение об авторе, но не о самой драме. Не знаю, что мне с ней делать; знаю только, что у меня есть все основания краснеть перед историей; утешаюсь мыслью, что все поэты, за исключением Шекспира, склоняют голову перед историей и природой, как пристыженные ученики.

Еще раз прошу Вас ответить поскорее; в случае удачи несколько строк, написанных Вашей рукой,—приди они до следующей среды,—избавят несчастного от больших затруднений.

Тон этого письма может показаться вам странным, но поймите, что мне легче просить милостыни в лохмотьях, чем подавать прошение во фраке; легче сказать с пистолетом в руке: «*La bourse ou la vie!*»<sup>1</sup> — чем прошептать дрожащими губами: «Да вознаградит Вас бог».

*Г. Бюхнер*

## СТРАСБУРГ 1835—1836

РОДНЫМ

*Вайсенбург, 9 марта 1835 г.*

Только что прибыл сюда в целости и сохранности. Ехал быстро и с удобствами. Что касается моей личной безопасности, можете быть совершенно спокойны. У меня есть также верные сведения

---

<sup>1</sup> Кошелек или жизнь! (*франц.*).

о том, что пребывание в Страсбурге будет мне разрешено... Лишь несложные причины могли заставить меня покинуть родину и родной дом *таким* образом... Я мог отдаться в руки нашей политической инквизиции; результатов расследования мне нечего было бояться, но мысль о самом расследовании была мне ужасна... Я убежден, что по прошествии двух-трех лет ничто не будет препятствовать моему возвращению. Останься я на родине, я просидел бы это время во Фридбергской тюрьме и вышел бы оттуда с разрушенным здоровьем и надломленной душой. Это было мне так ясно, так несомненно, что я предпочел добровольное изгнание — из двух зол выбрал все же меньшее. Теперь руки у меня не связаны и голова свободна... Все в моих руках. Я буду изучать медико-философские науки с величайшим старанием; в *этой* области еще есть возможность добиться значительных результатов и рассчитывать на признание: наш век словно для того и создан. Оказавшись за границей, я ожил и ободрился; теперь я совсем один, но это только придает мне сил. Какая благодать избавиться от постоянного тайного страха преследований и ареста, — в Дармштадте опасения мучили меня непрестанно.

ГУЦКОВУ

*Страсбург, март 1835 г.*

Многоуважаемый г-н Гудков! Может быть, Вы уже знаете о моем отъезде из Дармштадта, если заметили во «Франкфуртском журнале» сообщение о том, что меня разыскивает полиция. Вот уже несколько дней, как я в Страсбурге; останусь ли здесь, еще не знаю: это зависит от различных обстоятельств. Рукопись моя тем временем шла, очевидно, своим путем.

Будущее мое столь неясно, что начинает занимать даже меня самого, а это немало. Не могу решиться на медленное и незаметное самоубийство работой; падеюсь продлить ленивое безделье хоть месяца три, а потом продамся иезуитам, стану служить де-юре Марии и этим зарабатывать на мелкие расходы; а не то, так

пойду к сен-симонистам и подработаю за счет femme libre<sup>1</sup> или умру вместе со своей возлюбленной. Посмотрим. А случись так, что Страсбургский собор снова наденет якобинскую шапочку, тогда и для меня дело найдется. Что Вы на это скажете? Я, конечно, шучу, но Вы увидите, на что способен немец, если проголодался. Хорошо бы всей нации поголодать вместе со мной. Выпал бы хоть один неурожайный год — на все, кроме конопли, — дело сразу пошло бы веселее: уж мы бы сплели пеньковый канат толщиной с хорошего питона. А пока мой Дантон — тонкий шелковый шнурок, муза моя — переодетый палач.

#### РОДНЫМ

*Страсбург, 27 марта 1835 г.*

Боюсь, что результаты расследования вполне оправдают предпринятый мною шаг; опять начались аресты, и, очевидно, они будут продолжаться. Миннигероде застали in flagranti crimine<sup>2</sup>. Для них единственный способ узнать все о революционной деятельности, проводившейся до сих пор, — это вырвать у Миннигероде показания; он никогда не отличался крешким здоровьем, и разве он выдержит медленную пытку, которой его подвергнут... Было ли в немецких газетах объявлено о казни лейтенанта Козерица в крепости Гознасперг в Вюртемберге? Ему было известно о франкфуртском заговоре, и недавно его расстреляли. Книготорговец Франк из Штутгарта и еще несколько человек приговорены к смерти на этом же основании. Судя по всему, приговор будет приведен в исполнение.

---

<sup>1</sup> Свободной женщины (*франц.*).

<sup>2</sup> На месте преступления (*латин.*).

РОДНЫМ

*Страсбург, 20 апреля 1835 г.*

Нынче утром получил печальное известие: один человек, бежавший из-под Гисена, рассказал мне, что в окрестностях Марбурга арестовано несколько человек, у одного нашли печатный станок; кроме того, забрали моих друзей А. Беккера и Клемма, преследуют ректора Вайдига из Буцбаха. При таких обстоятельствах непонятно, как могли выпустить П. Вот теперь-то я рад, что уехал: меня бы ни за что не пощадили... О будущем не тревожусь. Во всяком случае, думаю, что смогу прожить на литературные заработки... Мне предложили писать критические статьи о новых произведениях французской литературы для еженедельника; за них хорошо платят. Я мог бы заработать гораздо больше, если бы стал тратить время на такие вещи, но я твердо решил не нарушать плана научных занятий.

РОДНЫМ

*Страсбург, 5 мая 1835 г.*

Шульц и его жена очень приятные люди: я давно уже с ними сдружился и часто у них бываю. Сам Шульц совсем не похож на беспокойную, ершистую канцелярскую крысу, какой я себе его представлял; это довольно спокойный и весьма непритязательный человек. Он собирается в скором времени уехать с женой в Нанси, а примерно через год — в Цюрих, где будет читать лекции... Отношение к политическим эмигрантам в Швейцарии вовсе не такое плохое, как многие полагают; строгие меры распространяются только на тех, кто своими безнравственными поступками портит отношения Швейцарии с пограничными ей странами, так что дело начинает пахнуть войной...

Бёккель и Баум, как и прежде, мои ближайшие друзья; Баум собирается опубликовать сочинение о методистах, за которое получил премию в 3000 франков и был публично удостоен звания лауреата. Я обращался от его имени к Гуцкову, с которым по-

стоянно переписываюсь. Сейчас он в Берлине, но скоро вернется. Кажется, Гуцков хорошего мнения обо мне, чему я рад — его литературный еженедельник пользуется большим авторитетом... Он писал мне, что в июне приедет сюда. От него я узнал, что несколько отрывков из моей драмы появилось в «Фениксе»; он заверил меня, что моя вещь очень способствовала успеху литературного приложения. Скоро выйдет вся драма. На тот случай, если она попадется вам на глаза, прошу вас помнить и учитывать при оценке, что я должен был соблюдать историческую истину и показать деятелей революции такими, какие они были: со всей кровью, распутством, энергией и цинизмом. Я рассматриваю свою драму как историческое полотно, которое должно точно соответствовать оригиналу... Гуцков просил меня о критических статьях как об одолжении; я не мог отказать, в свободное время я ведь все равно читаю; взяться за перо и написать о прочитанном — не такой уж большой труд, много времени не займет...

День рождения короля прошел очень тихо. Никого это не занимает, даже республиканцы держатся спокойно, не желая новых мятежей; но принципы их привлекают день ото дня все больше сторонников, особенно среди молодого поколения, так что постепенно правительство развалится само собой, без насильственного переворота... Сарториус арестован, Беккер тоже. Сегодня узнал об аресте г-на Вайдига и пастора Фланка из Петтервейля.

РОДНЫМ

*Страсбург, в среду после троицы, 1835 г.*

Меня очень беспокоит то, что вы мне пишете о распространившихся в Дармштадте слухах относительно тайного общества, существующего в Страсбурге. Здесь самое большее восемь или девять немецких эмигрантов; я с ними почти не соприкасаюсь, о тайном обществе и думать нечего. Они не хуже меня понимают, что при теперешних обстоятельствах подобные предприятия в общем бесполезны и губительны для тех, кто в них участвует.

Цель у них одна: трудолюбием, прилежанием и добронравием вновь поднять так сильно упавшее уважение к немецким эмигрантам, и я нахожу это намерение весьма похвальным. Впрочем, Страсбург всегда казался нашему правительству весьма подозрительным и опасным; ничуть не удивительно, что ходят разные слухи, но приходится опасаться, как бы наше правительство не потребовало высылки виновных. Защиты закона мы здесь лишены, наше пребывание в Страсбурге, собственно говоря, противозаконно; нас терпят, не более того, и мы полностью во власти префекта. Если бы наше правительство выдвинуло такое требование, никто не стал бы спрашивать, существует ли какой-либо союз, — просто выслали бы всех подряд. Правда, я могу рассчитывать на протекцию, достаточную для того, чтобы удержаться здесь; но лишь до тех пор, пока правительство Гессена не потребует лично моей высылки. В этом случае требования закона столь ясны, что власти их выполняют непременно. Надеюсь, однако, что все это преувеличено. Нас беспокоит и следующий факт: несколько дней назад д-р Шулц получил приказ покинуть Страсбург; жил он здесь весьма уединенно, держался спокойно — и все же! Надеюсь, что смогу спокойно остаться здесь, ибо наше правительство, наверное, считает меня личностью слишком незначительной, чтобы принимать такие меры и против меня. Говорите всем, что я уехал в Швейцарию.

Вчера говорил с Гейманом. В последнее время здесь появилось еще пять эмигрантов из Дармштадта и Гисена; они тут же отправились дальше, в Швейцарию. Среди них Розенштиль, Винер и Штамм.

ВИЛЬГЕЛЬМУ БЮХНЕРУ

*Страсбург, июль 1835 г.*

Я не стал бы тебе это говорить, если бы хоть немного верил сейчас в возможность политического переворота. Вот уже полгода я совершенно убежден в том, что сделать ничего нельзя и что

каждый, кто в данный момент жертвует собой, просто бьется головой об стенку, как дурак. Не могу передать тебе подробностей, но знаю обстановку; знаю, как слаба, незначительна, раздроблена либеральная партия; знаю, что действовать планомерно и согласованно невозможно и никакие попытки не будут иметь ни малейшего успеха...

Подробное знакомство с деятельностью немецких революционеров за границей убедило меня в том, что и с этой стороны решительно не на что надеяться. Среди них царит столпотворение вавилонское, распутать этот клубок невозможно. Будем надеяться на время!

ГУЦКОВУ

*Страсбург, 1835 г. (?)*

Вся революция распалась на либералов и абсолютистов; необразованный и бедный класс неминуемо поглотит ее. Противоречие между бедными и богатыми — вот единственный рычаг революции в мире. Один лишь голод может породить богиню свободы, и только Моисей мог бы стать нашим спасителем, настав на нас семь казней египетских. Накормите крестьян досыта — и революция погибнет от апоплексического удара. Курица в горшке каждого крестьянина убьет галльского петуха.

РОДНЫМ

*Страсбург, июль 1835 г.*

Узнал много неприятных новостей из Дармштадта — по рассказам приехавших. Сюда недавно явились Кох, Валлот, Гайльфус и один из моих гисенских друзей — Беккер; молодой Штамм тоже здесь. Приехало еще несколько человек, но все они едут дальше, в Швейцарию или в центральные области Франции. Мне повезло: иногда я чувствую удивительную легкость и свободу, как погля-

жу на широкие просторы вокруг, а потом представляю себе Дармштадтскую тюрьму. Несчастные! Миннигероде сидит почти уже год; говорят, здоровье его совершенно разрушено, но какая героическая стойкость! Рассказывают, что его уже несколько раз били,— не могу и не хочу этому верить. Похоже, что А. Беккер шкинута и богом и людьми: мать его умерла, когда он сидел в тюрьме в Гисене, и ему сообщили об этом через две недели... Клемм — предатель, теперь уж несомненно; но мне все еще кажется, что это дурной сон. Знаете ли вы, что его сестра и невестка тоже арестованы и привезены в Дармштадт? Весьма вероятно, что по его же собственным показаниям. Впрочем, он сам роет себе могилу; цели своей, женитьбы на фрейлейн фон [Грольман] из Гисена, он так и не достигнет, а всеобщее презрение, которому он неизбежно подвергнется, убьет его. Очень опасаясь, что все эти аресты — еще только цветочки, ягодки впереди. Правительство не знает меры; оно доведет до крайности злоупотребления теми преимуществами, которыми располагает в данный момент,— это весьма неразумно с его стороны и очень выгодно для нас. Бигелебен-младший, Вайденбуш, Флорет тоже замешаны в этом деле; ему конца не будет. Среди арестованных три священника: Флик, Вайдиг и Тудихум. Боюсь, что правительство и здесь не оставит нас в покое, но уверен, что профессора Лаут и Дювернуа и доктор Бёккель заступятся за меня, а все они в хороших отношениях с префектом.

Перевод я давно кончил; как обстоят дела с драмой, не знаю; прошло уже около пяти-шести недель с тех пор, как Гуцков написал мне, что ее начали печатать, больше я ничего о ней не слышал. Должно быть, она уже вышла, но мне ее еще не присылали,— видимо, ждут, когда появятся рецензии, чтобы послать вместе с ними. Только этим и можно объяснить промедление. Иногда я боюсь за Гуцкова: он прусский подданный. Недавно он вызвал неудовольствие прусского правительства, написав предисловие к одной книге, вышедшей в Берлине. Пруссаки скоры на расправу; может быть, он уже сидит в какой-нибудь прусской крепости; но будем надеяться на лучшее.

РОДНЫМ

*Страсбург, 16 июля 1835 г.*

Живу совершенно спокойно, никто меня не трогает. Правда, некоторое время тому назад пришел рескрипт из Гисена, но полиция, по-видимому, не обратила на него внимания... Тяжело становится на сердце, как представляю себе Дармштадт, наш дом и сад, и невольно тут же представляю себе отвратительную тюрьму. Несчастные! Чем это кончится! Наверно, как во Франкфурте, где одного за другим потихоньку хоронят умерших заключенных. Смертный приговор, эшафот — все лучше. Там хоть умираешь за дело, которому предаи. Но когда тебя медленно гноят в тюрьме — ужасно! Не можете ли вы мне сказать, кто сидит в Дармштадтской тюрьме? Я слышал много рассказов, но очень путаных. Клемм, кажется, и вправду сыграл во всем этом постыдную роль. А мне он так нравился: хоть и вспыльчив, и резок, но характер живой, общительный, мужественный, и ясная голова. Ничего не слышно о Миннигероде? Неужели правда, что его били? Невероятно. Такая героическая стойкость должна бы внушить уважение даже самому закоренелому аристократу.

РОДНЫМ

*Страсбург, 28 июля 1835 г.*

Должен сказать вам несколько слов о моей драме. Прежде всего, издатель злоупотребил моим разрешением внести некоторые изменения в текст. Почти на каждой странице одно выпущено, другое добавлено, и почти всегда так, что произведение в целом очень от этого страдает. Иногда смысл совершенно искажен, или вообще получилась полная бессмыслица. Кроме того, книга пестрит отвратительнейшими опечатками. Корректуры мне не присылали. Прибавили пошлый подзаголовок, а на книге поставили мое имя, хотя я категорически запрещал и не поставил его даже в рукописи. Кроме того, корректор приписал мне несколько таких

мерзостей, которых я в жизни не сказал бы. Блестящую критику Гудкова я читал и, к радости своей, заметил, что не склонен к честолюбию. Что же касается так называемой безнравственности моей книги, то тут я могу ответить: драматург, с моей точки зрения, не что иное, как историк, но превосходит последнего, так как воссоздает для нас историю, непосредственно переносит нас в жизнь того времени, предлагая не сухой пересказ, а характеры вместо характеристик и образы вместо описаний. Высшая задача драматурга — подойти как можно ближе к историческим событиям. Его произведение не должно быть ни нравственнее, ни безнравственнее самой истории. Господь создал историю не для чтения молодых девиц; не следует обвинять и меня в том, что моя драма тоже для этого не годится. Не могу же я сделать из Дантона и из бандитов революции идеальных героев! Если они распутничали, то и я должен был изобразить их распутниками; если они были безбожниками, то и у меня они должны были говорить как атеисты. В пьесе встречается несколько неприличных выражений; но вспомните, каким непристойным языком говорили в то время, — это же известно всему миру. Речь персонажей моей пьесы — лишь слабый отзвук действительности. Можно упрекнуть меня разве лишь в том, что я выбрал такой сюжет. Но это возражение давно опровергнуто. С этой точки зрения следовало бы осудить многие шедевры поэтического творчества. Поэт — не моралист, он задумывает и создает образы, оживляет прошедшие времена, а уж люди пусть извлекают из них уроки, как при изучении истории или наблюдении того, что окружает их в повседневной жизни. Если иначе подходить к делу, то нельзя изучать историю, потому что она рассказывает множество неприличных вещей; на улице надо выходить с завязанными глазами, а то, чего доброго, увидишь что-нибудь непристойное; остается только кричать «караул», обвиняя бога в том, что он создал мир, где столько распутства и безобразия. Если же мне скажут, что художник должен показывать мир не таким, каков он есть, а каким он должен быть, то я отвечу, что не собираюсь вступать в соревнование с господом богом, который, уж конечно, создал мир

таким, как он должен быть. Что же касается так называемых идеальных поэтов, то я нахожу, что они изображают почти что сплошь марионеток с розово-голубыми носиками и деланным пафосом, а не людей из плоти и крови, чьи радости и горести вызывают сочувствие, чьи поступки и дела внушают читателю восторг или отвращение. Одним словом, я за Гёте и Шекспира, но не за Шиллера. Разумеется, будет и неблагоприятная для моей драмы критика. Любое правительство постарается доказать с помощью продажных писак, что его противники — глупцы или безнравственные люди.

Впрочем, я и сам вовсе не считаю свое произведение совершенным и с благодарностью приму критику, основанную на соображениях чисто эстетических.

Вы слышали, что несколько дней назад в собор ударила мощная молния? Никогда не видал такого огненного блеска, не слышал такого грохота. На несколько секунд я словно оглох. Собор сильно поврежден; старожилы не помнят такого. Невероятной силой раздробило камни и расшвыряло их по сторонам; на сотню шагов в округе крыши соседних домов пробиты падавшими камнями. Сюда опять прибыло трое эмигрантов, среди них Нивергельтер; в Гисене недавно вновь арестовали двух студентов. Я чрезвычайно осторожен. Об арестах на границе мы здесь ничего не слышали. Должно быть, это сказки.

## РОДНЫМ

*Страсбург, начало августа 1835 г.*

Прежде всего должен вам сказать, что мне по особой протекции обещали выдать удостоверение личности, в случае если я представлю *метрику* — всего лишь свидетельство о рождении, а не о правах гражданства. Это чистая формальность, предписываемая законом: я должен предъявить какую-нибудь бумажку, хоть самую никудышную... Пока меня не трогают; я принимаю меры безопасности на будущее. Во всяком случае, распространяйте слух, что

я уехал в Цюрих; вы так давно не получали от меня писем по почте, что полиция не может точно знать, где я нахожусь; к тому же я писал друзьям, что еду в Цюрих.

Сюда опять прибыло несколько эмигрантов, среди них сын профессора Фогта. От них стало известно о новых арестах: три человека, и все люди семейные. Один из Редельсгейма, другой из Франкфурта, а третий из Оффенбаха. Говорят, арестована сестра несчастного Нейгофа — милая и достойная девушка, по словам тех, кто ее знает. Точно известно, что в Дармштадтскую тюрьму привезли женщину; говорят, это она... Должно быть, правительство держит дело в строгой тайне; вы в Дармштадте, по-видимому, ничего не знаете. Мы всё узнаем от эмигрантов, которые осведомлены лучше всех, так как большей частью были замешаны в этом деле до бегства. Я знаю совершенно точно, что Миннигероде во Фридбурге был некоторое время закован в ручные кандалы; мне это стало известно от человека, сидевшего вместе с ним. Говорят, он смертельно болен; дай бог, чтобы его страдания поскорее кончились. Заключенные получают только тюремную пищу, ни свечей, ни книг им не дают; это установлено точно. Слава богу, что я сумел предусмотреть события; в этой мрачной яме я сошел бы с ума...

В политике вновь началось оживление. Много разговоров о взрыве адской машины в Париже и проекте законов о печати, предложенном на рассмотрение палаты. Правительство ведет себя безнравственно: судебным расследованием установлено, что виновник — хитрый негодяй, готовый служить любому хозяину, любой партии; действовал он, по-видимому, ради денег; и все-таки правительство старается свалить это преступление на республиканцев и карлистов и, используя впечатление, произведенное покушением, добиться совершенно пестерных ограничений свободы печати. Полагают, что закон пройдет в палате, а строгость предлагаемых мер будет, возможно, даже усилена. Правительство действует весьма неразумно: про адскую машину недель через шесть все забудут, за свои законы ему придется отвечать народу, который в последние годы привык говорить вслух

все, что ему в голову придет. Самые тонкие политики связывают эту адскую машину с празднествами в Калише. Не могу с ними не согласиться: вспомните об адской машине при Бонапарте, об убийстве французских послов в Раштадте... Когда видишь, как абсолютистские державы стараются снова вернуть прежний хаос, как они попирают ногами Польшу, Италию, Германию, то ясно понимаешь, что им не хватает только Франции, это для них постоянная угроза. Просто так, для развлечения, они не стали бы швырять миллионы в Калише. Если бы король погиб при покушении, можно было бы воспользоваться замешательством: всего несколько шагов — и они на Рейне. Иначе, по-моему, покушение нельзя объяснить. У республиканцев, во-первых, нет денег, а во-вторых, они в таком жалком положении, что не предприняли бы ничего, даже если бы король был убит. Разве только легитимисты могут быть замешаны в эту историю. Не думаю, чтобы французская юстиция распутала это дело.

## РОДНЫМ

*Страсбург, 17 августа 1835 г.*

Ни о какой деятельности ничего не знаю. Я и мои друзья того мнения, что в данный момент надо выждать время. К тому же князья так злоупотребляют вновь захваченной властью, что это неминуемо обернется выгодой для нас. Не давайте сбить себя с толку разными слухами; говорят, у вас был какой-то человек, выдававший себя за моего друга. Не помню, чтобы я видел этого человека, но мне рассказали, что он отпетый негодяй; вероятно, именно он и распространил слух о существующем здесь тайном обществе. Присутствие принца Эмиля, который сейчас здесь, могло бы иметь для нас отрицательные последствия, если бы он потребовал от префекта высылки; но мы считаем себя личностями слишком незначительными для того, чтобы его высочество нами интересовался. К тому же почти все эмигранты уехали в

Швейцарию и в центральную Францию; вскоре уедет еще несколько человек, так что нас останется самое большее человек пять-шесть.

ГУЦКОВУ

*Страсбург, сентябрь 1835 г.*

То, что Вы написали мне о письме из Швейцарии, рассмешило меня. Мне ясно, откуда это все. Когда-то, давным-давно, я очень любил этого человека, потом он стал для меня нестерпимой обузой. Я таскал его за собой целые годы; не знаю, по какой надобности он навязчиво цеплялся за меня — без склонности, без любви, без доверия. Я терпел его как неизбежное зло. Я просто свыкся со своим несчастьем, как это бывает у паралитиков и калек. Но теперь я так рад, словно мне отпустили смертный грех. Наконец-то я могу вышвырнуть его за дверь с полным основанием. До сих пор я был неразумно добродушен; мне было бы легче убить его, чем сказать: убирайся. Но теперь я от него отделался. Слава богу! Ничто не обходится человеку так дорого, как гуманность.

РОДНЫМ

*Страсбург, 20 сентября 1835 г.*

Мне предлагают новый источник дохода: речь идет о большом литературном журнале под названием «Дейче ревю», который должен выходить с нового года еженедельно. Руководить им будут Гуцков и Винбарг; мне предложено выступать каждый месяц со статьями. Таким образом, может быть, представляется случай обеспечить себе регулярный заработок; однако в интересах научных занятий я отказался от обязательства ежемесячно давать статьи. Может быть, в конце года будет опубликовано что-нибудь еще из моих сочинений.

Итак, Клемм на свободе? Это человек скорее несчастный, чем преступный, и я испытываю к нему скорее сострадание, чем пре-

зрение. Должно быть, они сумели очень ловко использовать безумную страсть бедняги Клемма. Прежде у него было чувство чести; не думаю, чтобы он смог перенести свой позор. Семья от него откажется, за исключением старшего брата, который, видимо, играл в этом деле главную роль. Многие из-за этого пострадали. Говорят, Минцигероде чувствует себя лучше. А Гладбах все еще ждет приговора? Это все равно что быть похороненным заживо. Дрожь пробирает, как подумаешь, что меня ожидало.

#### РОДНЫМ

*Страсбург, октябрь 1835 г.*

Я разыскал здесь интересные сведения об одном несчастном поэте; звали его Ленц, он был другом Гёте и жил в Страсбурге, в то же самое время, что и Гёте. Впоследствии Ленц почти утратил рассудок. Я думаю напечатать статью о нем в «Дейче ревию». Одновременно собираю материал для сочинения на философскую или естественно-историческую тему. Еще некоторое время придется упорно поработать — и дорога будет мне открыта. Здесь есть люди, которые пророчат мне блестящее будущее. Ничего не имею против.

#### РОДНЫМ

*Страсбург, 2 ноября 1835 г.*

Я очень хорошо знаю, что в Дармштадте обо мне рассказывают невероятнейшие вещи: по слухам, меня уже трижды арестовали на границе. Это естественно: такое множество арестов и объявлений о розыске не может не привлечь внимания, а так как люди не знают, в чем, собственно, дело, то и строят всякие предположения...

Из Швейцарии я получил очень приятные вести. Возможно, что еще до Нового года мне будет присвоена степень доктора наук

на философском факультете Цюрихского университета; в этом случае я смогу со следующей весны, после пасхи, начать чтение лекций. В двадцать два года от человека вряд ли можно требовать большего...

Недавно мое имя было упомянуто в «Альгемейне цейтунг» весьма лестным образом. Речь шла о большом журнале «Дейче ревию», для которого я обещал писать статьи. Журнал еще не начал выходить, но уже вызвал нападки; в ответ на них «Альгемейне цейтунг» пишет: «...достаточно назвать имена гг. Гейпе, Бёрпе, Мундта, Шульца, Бюхнера и других, чтобы стало понятно, каким успехом будет пользоваться этот журнал...»

В газете «Тан» появилась заметка о том, какому ужасному обращению подвергается Миннигероде. Мне кажется, что написана она в Дармштадте. Далеко приходится ходить, чтобы иметь возможность пожаловаться. Несчастные мои друзья!

ГУЦКОВУ

*Страсбург, [1835 г.]*

Прилагаю к этому письму книжечку стихов, написанных моими друзьями, братьями Штёбер. Легенды сами по себе очень хороши, но я не поклонник поэзии в духе Шваба и Уланда, да и всей этой группировки, обращающей свои взоры назад, в средневековье, потому что в настоящем эти люди никак не найдут себе места. Однако книжка вызывает у меня симпатию, и, если у Вас не найдется для нее доброго слова, прошу Вас лучше промолчать. Я привык к здешним местам, сжился с ними; Вогезские горы люблю, как родную мать, знаю каждую вершину и долину. Здешние старинные сказания полны своеобразия и наивности, а братья Штёбер — старые друзья, с которыми я впервые бродил по Вогезам. Адольф несомненно талантилив, имя его Вам, вероятно, уже известно по сборнику «Альманах муз». Август Штёбер менее одарен, но очень хороший стилист.

Издание таких книг не лишено значения для Эльзаса: это одна из немногих попыток, на которые еще отваживаются некоторые эльзасцы, чтобы сохранить немецкую национальность, несмотря на французское гражданство, и не дать оборваться хотя бы духовным связям с прежней родиной. Будет жаль, если Страсбургский собор когда-нибудь станет совсем чужим. Эти соображения, отчасти побудившие и Штёберов напечатать свою книгу, получили бы сильную поддержку, если бы книга была сочувственно встречена в Германии; я Вам особенно рекомендую ее именно по этим причинам.

Я совсем одурел от изучения философии, познаю вновь ничтожество духа человеческого, только с другой стороны. Что поделать! Если б только можно было вообразить, что дыры в карманах ведут к богатству, то жизнь была бы просто королевская. А так очень уж холодно.

## РОДНЫМ

*Страсбург, 1 января 1836 г.*

Запрет, наложенный на «Дейче ревию», мне не повредит. Я ведь могу послать и в «Феникс» статьи, приготовленные для «Ревю». Просто смех, как нравственны и богобоязненны стали вдруг наши правительства. Баварский король запрещает безнравственные книги! Но тогда нельзя публиковать его биографию, ведь более грязной истории не придумаешь. Великий герцог Баденский, кавалер ордена двуглавой болонки, изображает из себя рыцаря духа святого и велит арестовать Гуккова, а наш дорогой немецкий Михель думает, что все это делается ради христианской религии, и хлопает в ладошки. Не знаю книг, о которых везде столько разговоров. В библиотеках их нет, а стоят они слишком дорого, чтобы я стал тратить на них деньги. Даже если верно все, что говорят, то я лично могу усмотреть здесь разве лишь заблуждения ума, направленного философскими софизмами на неверный путь. Са-

мый простой способ привлечь толпу на свою сторону — кричать во всю глотку: «Это безнравственно!» Да и много ли нужно мужества, чтобы нападать на писателя, который сидит в немецкой тюрьме и оттуда должен отвечать на критику. Гуцков до сих пор проявлял себя как человек с сильным и благородным характером, работы его свидетельствуют о большом таланте; откуда же вдруг весь этот крик? Мне кажется, что спор идет вовсе не из-за царства божия, а из-за царства весьма земного, но вид у этих господ такой, будто они спасают от гибели самое святое троицу. В своей сфере Гуцков мужественно боролся за свободу; вот они и хотят заткнуть рот тем немногим, кто еще осмеливается не гнуть спину и не молчать! Впрочем, лично я вовсе не принадлежу к так называемой «Молодой Германии», литературной группировке Гуцкова и Гейне. Лишь полное непонимание общественных отношений в современной Германии заставляет этих людей думать, что литературные произведения, написанные на злобу дня, могут вызвать глубокую перемену в религиозном и социальном мышлении. К тому же я отнюдь не разделяю их мнения о браке и христианстве. И тем не менее возмущаюсь, когда люди, грешившие на практике в тысячу раз больше, чем их противники успели нагрешить в теории, притворяются моралистами и готовы первыми бросить камень в человека молодого, умного и талантливого. Я иду своей дорогой, мое дело — драма, не имеющая отношения ко всем этим спорам. Я изображаю своих героев в соответствии с законами человеческой природы и истории, и мне смешны люди, вменяющие мне в вину правственность или безнравственность литературных персонажей. У меня на этот счет свое мнение... Вернулся с рождественского базара. Повсюду толпы замерзших, оборванных детей, которые смотрят печальными, широко раскрытыми глазами на все это великолепие из скверного теста и золотой бумаги. Для большинства людей самые жалкие наслаждения и радости — недоступная роскошь. Мысль эта вызвала во мне прилив горечи.

ГУЦКОВУ

[Страсбург, январь 1836 г.]

Дорогой мой! Не знаю, попадет ли письмо в Ваши руки: адрес уж очень подозрительный.

Получили Вы письмо Буле? Я переслал его в Мангейм, но не осмелился прибавить несколько строк от себя. Дело показалось мне серьезнее, чем оно, видимо, есть. Судя по газетам, Вы скоро будете на свободе. Четыре недели — это недолго. Кроме того, из Мангейма мне сообщили, что содержат Вас не строго, разрешают принимать посетителей и даже выходить из тюрьмы. Это верно? Больше Вам ничто не грозит? Дайте мне знать *как можно скорее!*

Это не праздный вопрос. Вы уверены, что Вас выпустят по истечении *назначенного срока*? Вас держат в доме заключения, не так ли?

Как только Вас освободят, немедленно уезжайте за пределы нашей любезной родины. Счастье Ваше, если *действительно* все этим кончится. Пока что я в этом сомневаюсь.

Если поедете через Страсбург, справьтесь обо мне у г-на *Шрота*, хозяина гостиницы «Виноградная лоза». Жду Вас с нетерпением.

*Ваш Г.*

РОДНЫМ

Страсбург, 15 марта 1836 г.

Не понимаю, откуда могли взяться доказательства вины Кюхлера. Я думал, он занят только расширением врачебной практики и углублением своих познаний. Он, конечно, просидит недолго, но будущее его все равно загублено: даже если его освободят и прекратят судебное преследование, то все равно возьмут подписку о невыезде за границу и запретят заниматься врачебной практикой. По новейшим указам это возможно. Могу сообщить вам совершенно точно, что в Баварии недавно освободили и признали невинов-

ными двух молодых людей, просидевших в строгом заключении почти четыре года. В Гисене арестованы еще трое кроме Кюхлера и Гросса. Двое — владельцы коммерческих предприятий, а один из них к тому же отец семейства. Еще до нас дошли слухи, что был арестован Макс фон Бигелебен, но тут же освобожден под залог, а Гладбаха приговорили к восьми годам каторжной тюрьмы, но приговор был опротестован, и сейчас начато новое следствие. Сделайте мне одолжение, сообщите, что вам обо всем этом известно. Я же вам тем временем расскажу удивительную историю, которую г-н Х. вычитал из английских газет. В немецкой печати ее, кстати сказать, запрещено было публиковать. Директор театра в Брауншвейге — известный композитор Метфессель. Его хорошенькая жена приглянулась герцогу, а Метфессель не прочь был закрыть глаза и открыть карман пошире. Но у герцога появилась странная причуда любоваться красотой мадам Метфессель, когда она уже одета для спектакля и потому частенько развлекался с ней в одиночестве на сцене, до начала представления. Тем временем Метфессель начал какую-то интригу против одного известного актера, имя которого я забыл. Актер решил отомстить, подговорил машиниста сцены, и тот в один прекрасный вечер поднял занавес на четверть часика пораньше, так что мадам Метфессель пришлось играть первую сцену вместе с герцогом. Герцог был вне себя, выхватил шпагу и заколол машиниста. Актер бежал.

Могу вас заверить, что эмигранты не ведут здесь решительно никакой политической деятельности. Они сдают множество экзаменов, и сдают хорошо, — по-моему, это достаточное свидетельство лояльности. Кстати сказать, за решетку и в эмиграцию отправили отнюдь не самых невежественных, ленивых и распущенных! Не преувеличивая, можно сказать, что эта участь постигла лучших выпускников гимназий, самых прилежных и знающих студентов, особенно если присоединить к их числу тех, кому запрещено сдавать экзамены и поступать на государственную службу. Сейчас у вас в Дармштадте остались жалкие юнцы, которые копошатся, воются и подличают в поисках теплого местечка.

Дорогой друг! Не довольно ли мне молчать? Что мне сказать Вам? Я *тоже* сидел в тюрьме, и очень скучной, самой скучной в мире: писал философское сочинение, устремлялся мыслию вдаль, вширь и вглубь, занимался этим противным делом день и ночь, сам не понимая, откуда бралось терпение. Дело в том, что у меня есть навязчивая идея прочесть в следующем семестре в Цюрихе курс лекций о развитии немецкой философии со времен Декарта. Но для этого надо иметь диплом. а господа философы, видимо, вовсе не склонны удостоить таковым моего ненаглядного Дантона. Что поделаешь! Вы во Франкфурте, все обошлось? Очень жаль, что Вы так и не постучались к панаше Шроту в «Виноградную лозу», но, может, оно и лучше. О состоянии современной литературы в Германии я не знаю почти ничего. Попалось мне лишь несколько разрозненных брошюр, которые неизвестно как оказались здесь, за Рейном.

В борьбе, которая ведется против Вас, обнаруживается такая основательная, такая здравая подлость, — просто удивительно, до чего мы простодушны! А насмешки Менцеля над политическими простофилями, сидящими в тюрьмах... И это говорится о тех людях... Господи, я мог бы рассказать Вам удивительные вещи! Возмутило меня это до глубины души. Бедные мои друзья! Вам не кажется, что Менцель в ближайшее время получит место профессора в Мюнхене?

Кстати говоря, мне кажется, что Вы и Ваши друзья выбрали не самый разумный путь. Общественные преобразования силой идей, исходящих от образованных слоев общества? Невозможно! В наше время все подчинено материальным интересам. Если бы Вы когда-нибудь занялись более непосредственной политической деятельностью, то очень скоро оказались бы в такой ситуации, когда реформа прекращается сама собой. Вам никогда не преодолеть разрыва между образованными и необразованными слоями общества.

Я убедился, что образованное и обеспеченное меньшинство, сколько бы ни требовало оно для себя уступок от государственной власти, в то же время никогда не откажется от своего преимущества перед пародными массами. А сами эти народные массы? Их могут привести в движение лишь два рычага: материальная нищета и религиозный фанатизм. Любая партия, которая сумеет управлять этими рычагами, победит. В наше время обществу нужен хлеб и металл да еще что-нибудь вроде креста. Я думаю, что в социальной области следует исходить из абсолютного правового принципа, искать обновления духовной жизни в *народе* и послать ко всем чертям отжившее современное общество. Зачем ему болтаться между небом и землей? Вся жизнь его состоит из попыток разогнать ужасающую скуку. Пусть вымрет — это единственное новое ощущение, которое оно еще способно испытать.

## РОДНЫМ

*Страсбург, май 1836 г.*

Я твердо решил остаться здесь до будущей осени. Главная причина — недавние события в Цюрихе. Вы, может быть, уже знаете, что там были произведены аресты среди немецких эмигрантов под тем предлогом, что они готовят вторжение в Германию. То же самое произошло и в других городах Швейцарии. Даже здесь эта дурацкая история не осталась без последствий, и одно время мы опасались, что нас заставят покинуть Страсбург, так как распространился упорный слух, что мы (семь-восемь человек самое большее) собираемся перейти через Рейн с оружием в руках. Однако все обошлось по-хорошему, и больше нам нечего опасаться. Наше гессенское правительство, по-видимому, иногда с нежностью о нас вспоминает.

Не знаю, в чем тут дело; но знаю, что большинство эмигрантов считает всякую попытку прямых революционных действий при существующем положении дел бессмысленной. Следовательно, лишь незначительное меньшинство, не имеющее должного опыта,

могло замышлять подобные вещи. Говорят, что главную роль среди заговорщиков играл некий г-н фон Эйб. Весьма вероятно, что этот тип — агент бундестага. Паспорта, которые нашла у него цюрихская полиция, и то обстоятельство, что он получал крупные суммы от одной торговой фирмы во Франкфурте, прямо указывают на это. Говорят, что Эйб — бывший сапожник. Он разъезжает по Швейцарии с одной распутной особой из Мангейма, выдавая ее за венгерскую графиню. Кажется, ему действительно удалось одурачить кое-кого из эмигрантов — нашлись такие ослы. Вся эта история преследует одну цель: в случае если эмигрантов удастся спровоцировать на открытое выступление, у бундестага будет хороший предлог настоятельно потребовать высылки из Швейцарии всех, кто пользуется правом убежища. Этот фон Эйб давно уже вызывает подозрения; и меня и моих товарищей не раз о нем предупреждали. Во всяком случае, планы его сорвались, и для большинства эмигрантов это дело останется без последствий. Тем не менее я не считаю сейчас поездку в Цюрих разумной: при таких обстоятельствах лучше держаться подальше. Цюрихское правительство, конечно, побаивается и не доверяет эмигрантам: в таких условиях я могу встретиться с затруднениями, если решусь поселиться в Цюрихе. А через два-три месяца эта история забудется.

#### ЕВГЕНИЮ БЕККЕЛЮ

*Страсбург, 1 июня [1836 г.]*

Дорогой Евгений! Как видишь, я все еще в Страсбурге. Ты скажешь: «Очень неразумно!» — а я отвечу: «Что поделаешь!» Только вчера я наконец закончил работу над своим сочинением. Оно вышло гораздо длиннее и пространнее, чем я предполагал вначале, и стоило мне много времени; зато, кажется, получилась стоящая работа, — Société d'histoire naturelle<sup>1</sup> того же мнения. Я сде-

---

<sup>1</sup> Естественно-научное общество (*франц.*).

лал доклады по теме своей работы на трех заседаниях Общества, после чего было решено тут же опубликовать мою работу в ученых записках и, кроме того, избрать меня членом-корреспондентом. Как видишь, случай опять помог мне выйти из затруднительного положения, да и вообще я многим обязан случаю, а свойственное мне легкомыслие, то есть, в сущности, безграничная вера в судьбу — на все воля божья,— еще усилилось. Но без него мне и не обойтись: когда я оплачу все расходы, связанные с получением диплома, у меня не останется ни гроша, а писать мне это время было некогда. Придется пожить некоторое время по старому доброму способу, в кредит, и как-нибудь ухитриться за шесть-восемь недель измарать достаточно бумаги, чтобы заработать на сюртук и брюки. Но я повторяю про себя: «На все воля божья» — и ни о чем не тревожусь.

Я давно тебе не писал, но ты знаешь почему и простишь меня. Я был как больной, который старается поскорее, одним глотком проглотить отвратительное лекарство. Одно меня занимало: свалить с плеч эту проклятую работу. И какое облегчение, какое блаженство наступило, как только я с ней разделался. Лето я думаю провести здесь. Осенью приедет моя мать. Было бы глупо ехать сейчас в Цюрих, возвращаться осенью, терять время и деньги. Но, во всяком случае, в следующем семестре я начну читать свой курс, а пока подготавливаюсь к нему потихоньку.

Путешествие у тебя, видимо, получилось веселое. Я рад за тебя. Жизнь вообще хорошая штука и, во всяком случае, не такая скучная, как могла бы быть. Приезжай следующей осенью пораньше, не задерживайся, тогда еще застанешь меня в Страсбурге. Многому ли ты научился за время поездки? Не надоело ли осматривать больных и умерших? Мне кажется, турне по госпиталям чуть ли не всей Европы может нагнать на человека меланхолию, турне по аудиториям наших профессоров способно довести до сумасшествия, ну а турне по дорогим нашим немецким государствам должно привести в ярость. Впрочем, власть в меланхолию, прийти в ярость и свихнуться можно и не предпринимая столь долгого путешествия; достаточно, чтобы шел дождь и было

холодно, как сейчас, или чтобы болели зубы, как у меня восемь дней назад; достаточно и просидеть всю зиму и половину весны в четырех стенах, как я нынешний год.

Вот видишь, как много я могу вынести. А недавно, перед тем как вырвать гнилой зуб, я размышлял совершенно серьезно: не лучше ли застрелиться,— во всяком случае, не так больно.

Баум все вздыхает, нарастил невероятное брюхо, а рожа у него такая убийственная, что боюсь, как бы он не покончил счеты с этим миром незаметно и потихоньку — например, посредством апоплексии. Однако сердится он регулярно, каждый день: я уверил его, что сердиться полезно для здоровья. Фехтовать он бросил и так ужасно ленив, что, к великой досаде твоего брата, не выполнил ни одного твоего поручения. Что с ним делать? Пусть идет в священники, все необходимые качества налицо.

Штёберы все еще в Обербрунне. Слухи о жене священника, к сожалению, подтверждаются. Бедняжка здесь, совсем одна. А опи там, говорят, философствуют тем временем о поэтическом значении супружеской неверности. Этому я, положим, не верю, но история грязная.

Что подделывает наш друг и брат Ципфель? Нигде ему за это время не задали перцу? Встречаешься ли ты иногда с моим кузеном из Голландии? Передай им обоим большой привет.

Вильгельмине долго нездоровилось, у нее была хроническая лихорадка и сыпь, однако ничего серьезного.

Кстати, она передала мне оба твои письма нераспечатанными, но не мешало бы запечатывать письма в два конверта — приличия ради: если женщине неудобно их читать, то неудобно и адресовать их женщине незапечатанными, а в двойном конверте — дело другое. Надеюсь, ты не обидишься за этот маленький выговор. Ближайшие четыре недели я, во всяком случае, останусь еще здесь, пока будут печатать мою работу. Ты не порадуешь меня еще одним письмом до отъезда из Вены? Кстати, ты, видно, занимаешься и чисто эстетическими штудиями. Мадемуазель Пеш — моя старая знакомая. Прощай.

*Твой Г. Б.*

Невозможно себе представить, чтобы государство, предоставляющее эмигрантам право убежища, отказалось от этого в данный момент, ибо такой отказ лишил бы его политической самостоятельности по отношению к государствам, которые на этом настаивают. Решившись на такой шаг, Швейцария отошла бы от либеральных государств, к которым она, разумеется, принадлежит, согласно своей конституции, и присоединилась бы к абсолютистским государствам, то есть возникло бы положение, совершенно немыслимое при нынешних политических обстоятельствах. Но выслать эмигрантов, которые угрожают безопасности государства, предоставившего им право убежища, и нарушают его мирные отношения с соседними странами, — это шаг совершенно естественный и не отменяющий права убежища. К тому же Швейцарское национальное собрание уже приняло решение: высланы будут лишь те эмигранты, которые высылались уже ранее как участники Савойского похода, а также те, кто принимал участие в недавних событиях. Это мне известно доподлинно. Большинству эмигрантов, следовательно, ничто не угрожает, и въезд в Швейцарию никому не воспрещен. Правда, во многих кантонах требуется внести залог, но это предписание существует уже давно. Итак, моей поездке в Цюрих ничто не препятствует. Вы знаете, что наше правительство преследует нас и здесь. Были разговоры о том, что мы будем высланы, потому что якобы поддерживаем связь с этими безумцами, которые сидят в Швейцарии. Префект потребовал точных сведений о том, чем мы занимаемся. Я предъявил полицейскому комиссару диплом, удостоверяющий, что я являюсь членом-корреспондентом Société d'histoire naturelle, а также свидетельство, выданное мне одним из профессоров. Префект был весьма удовлетворен, и мне сказали, что лично мне нечего беспокоиться.

ВИЛЬГЕЛЬМУ БЮХНЕРУ (?)

*Страсбург, 2 сентября 1836 г.*

У меня очень хорошо на душе, кроме тех дней, когда у нас тут обложной дождь или северо-западный ветер. Тогда я превращаюсь в человека, который вечером, перед тем как лечь в постель, сняв один носок, размышляет, не повеситься ли ему на собственной двери: уж очень трудно снять второй... Я с головой углубился в изучение естественных наук и философии и скоро поеду в Цюрих, где в качестве беспризорного члена общества буду читать своим современникам лекции о предмете столь же беспризорном, а именно о немецких философских системах со времен Декарта и Спинозы. Кроме того, я занят тем, что заставляю людей на бумаге убивать друг друга или жениться, и прошу доброго боженьку послать мне простодушного книготорговца и побольше читающей публики с плохим вкусом. Все в этом мире требует мужества, даже чтение лекций в качестве приват-доцента по кафедре философии.

РОДНЫМ

*Страсбург, сентябрь 1836 г.*

Обе драмы еще у меня, я их никому не показывал. Кое-чем недоволен и не хочу, чтобы получилось, как в первый раз. Эту работу не закончишь в определенный срок, как портной выполняет заказ.

БУРГОМИСТРУ ГЕССУ

*[Страсбург], 22 сентября 1836 г.*

Политические условия в Германии заставили меня покинуть родину приблизительно полтора года тому назад. Я решил посвятить себя научным занятиям. Не желая отказаться от цели, на до-

стижение которой до сих пор были направлены все мои силы, я продолжал свои занятия и в Страсбурге, надеясь полностью осуществить свои планы в Швейцарии. Недавно я действительно имел честь получить ученую степень доктора наук, единогласно присвоенную мне профессорами философского факультета Цюрихского университета. Столь лестное суждение о моих научных способностях позволило мне надеяться получить место приват-доцента в Цюрихском университете и, в случае успеха, начать чтение лекций в следующем семестре. Вследствие этого я просил здешние власти выдать мне паспорт. Однако мне было разъяснено, что министерство внутренних дел по просьбе швейцарских властей запретило выдавать паспорта эмигрантам, не имеющим письменного разрешения на пребывание в Швейцарии, выданного швейцарскими административными органами. В этом затруднительном положении я и обращаюсь к Вам, милостивый государь, как главе магистрата города Цюриха, с просьбой выдать мне разрешение, требуемое здешними властями. Прилагаемое свидетельство может подтвердить, что я, с тех пор как покинул родину, не занимался никакой политической деятельностью и, следовательно, не принадлежу к той категории эмигрантов, против которых Швейцария и Франция недавно приняли известные меры. Поэтому осмеливаюсь надеяться, что моя просьба будет удовлетворена, так как отказ в ней означал бы крушение всей моей дальнейшей карьеры...

(Приложение: Свидетельство, выданное полицией гор. Страсбурга). Настоящим удостоверяется, что г-н Георг Бюхнер, доктор философских наук, 23 лет от роду, уроженец гор. Дармштадта, записан в регистрационных книгах по адресу: ул. Дуан, № 18 и проживает в гор. Страсбурге в течение восемнадцати месяцев и по настоящее время без перерыва; за вышеуказанное время поведение его не вызвало никаких нареканий ни в политическом, ни в моральном отношении.)

**ЦЮРИХ**  
**1836—1837**

РОДНЫМ

*Цюрих, 26 октября 1836 г.*

Бог знает чем кончится спор Швейцарии с Францией. Недавно кто-то при мне сказал: «Швейцария сделает легкий поклон, а Франция скажет, что поклон был низкий». Думаю, что так оно и будет.

РОДНЫМ

*Цюрих, 20 ноября 1838 г.*

Что касается политической деятельности, то можете быть совершенно спокойны. Не верьте сказкам в наших газетах. Швейцария — республика, а так как эти люди ничего лучше придумать не могут, как твердить, что республика невозможна, то они и рассказывают легковерным немцам каждый божий день об анархии и убийствах. Вы поразитесь, когда приедете навестить меня: по дороге всюду видишь приветливые деревни с красивыми домами, а чем ближе к Цюриху, особенно вдоль озера, тем больше бросается в глаза полное благосостояние. Деревни и городки выглядят так, как нам в Германии и не снилось. По дорогам здесь не слоняются толпы солдат, молодых чиповников и прочих облепившихся слуг государства. Никто не рискует понасть под колеса какой-нибудь барской кареты. Народ всюду здоровый и крепкий; простое, доброе республиканское правительство стоит очень мало денег, существует оно за счет налога на имущество, о котором у нас в ужасе закричали бы, что это — верх анархии... Мне пишут, что Мюнингероде умер. Стало быть, три года его мучили, пока не замучили до смерти. Три года! Французские кровопийцы прикалчивали человека за несколько часов:

приговор — и на гильотину. Но три года! Какое у нас человеческое правительство, оно не может видеть крови, вот оно и гноит в тюрьме еще человек сорок, и это не анархия, это порядок и правосудие. Притом эти господа так возмущаются анархией в Швейцарии! Ей-богу, они много на себя берут. Накопили такой капитал, который им когда-нибудь принесет большие проценты, ох большие!

ВИЛЬГЕЛЬМУ БЮХНЕРУ

*Цюрих, конец ноября 1836 г.*

Просиживаю целые дни со скальпелем в руках, а ночи за книгой.

НЕВЕСТЕ

*Цюрих, 13 января 1837 г.*

Девочка моя милая! Пересчитываю по пальцам, сколько недель осталось до пасхи. Становится все тоскливее. Сначала было ничего: новое окружение, новые люди, условия и занятия, — но теперь, когда привык, когда все стало повторяться регулярно, забиться уже не на чем. Хорошо еще, что воображение непрестанно работает, а механические занятия препарированием не мешают ему. Все время вижу тебя сквозь рыбы хвосты и лягушачьи лапки. По-моему, это еще трогательнее, чем рассказ про Абеяра, как он чувствовал Элоизу у самых губ, едва раскрыв их для молитвы. Становлюсь сентиментальнее день от дня, все мои мысли плавают в спирту. Слава богу, ночью вижу много снов. Сон у меня теперь не такой тяжелый.

НЕВЕСТЕ

*Цюрих, 20 января 1837 г.*

Простудился и лежал в постели. Сейчас уже получше. Когда нездоровится, так и тянет полениться. Но колесо крутится своим чередом, без остановки... Все-таки сегодня и вчера немножко передохнул, ничего не читал. А завтра опять поплетусь по проторенной дорожке, ты не поверишь, до чего все аккуратно и регулярно. Я точен, как шварцвальдские часы. В общем это неплохо: покой охватил взволнованную душу, покой и радость поэтического созидания. Бедняга Шекспир был писец по профессии. работал целый день и мог сочинять только ночью, а я, недостойный завязать ему шнурки на башмаках, живу гораздо лучше...

Ты разучишь до пасхи народные песни, если не захвораешь? Здесь не слышно пения, этот народ не любит петь. А что касается дам, которые истошным голосом вопят или пищат на вечерах и концертах, то ты знаешь мою нежную любовь к ним. С каждым днем народ, средневековые мне все ближе, с каждым днем все яснее, — так ты споешь мне эти песни? На меня находит тоска по родине, как начну напевать...

Каждый вечер я просиживаю часа два в казино. Ты знаешь, как я люблю красивые залы, огни и людей вокруг.

НЕВЕСТЕ

*Цюрих, 27 января 1837 г.*

Девочка милая, ты полна нежной тревоги, ты пишешь, что чуть не захворала от страха за меня. Еще скажешь, что чуть не умерла! А я умирать не собираюсь и совершенно здоров. Наверно. страх перед заботливым уходом вылечил. В Страсбурге дело другое, там приятно поболеть. Недельки на две я улегся бы с большим удовольствием в постель — на улице Сен-Гильон, в номере 66, в бельэтаже, налево, в компатке с зелеными обоями, где

все стоит немножко наискосок. Как ты думаешь, впустият меня, если позвоню?

У меня нынче хорошо на сердце, живу вчерашним днем: чистое небо, огромное теплое солнце. А я погасил свой светильник и заключил в объятия благородного человека — хозяина маленькой харчевни, похожего на пьяного кролика. Он сдал мне большую элегантную комнату в своем роскошном загородном доме. Благородный человек! Дом стоит недалеко от озера, перед окнами — водная гладь, и со всех сторон — Альпы, как облака, залитые солнцем.

Скоро ли ты приедешь? Иначе я поседею, молодость и веселье покинули меня. Ободрить меня может только твоя жизнерадостность, божественная непосредственность, милое легкомыслие и все твои другие гадкие свойства, злая девочка. Addio, piccola mia!<sup>1</sup>.

#### НЕВЕСТЕ

*Цюрих, 1837 г.*

Самое позднее через восемь дней [я сдам] «Леонса и Лену» и еще две драмы в печать.

<sup>1</sup> Прощай, моя крошка! (*итал.*).

## КОММЕНТАРИИ

---

В основу настоящего издания был положен текст последнего опубликованного в ГДР полного собрания сочинений Бюхнера (Georg Büchner, Werke und Briefe. Gesamtausgabe, Insel-Verlag, Leipzig, 1967). Это издание представляет собой лицензионную перепечатку седьмого (1958), дополненного и исправленного издания сочинений Бюхнера, подготовленного Фрицем Бергманом впервые в 1922 г. (Georg Büchner, Sämtliche Werke und Briefe, Insel-Verlag Anton Kippenberg). В то же время в настоящем издании по возможности были учтены результаты новейших немецких текстологических и историко-литературных исследований о Бюхнере (см. об этом в комментариях к отдельным произведениям).

Составление комментариев к повому русскому изданию Бюхнера было в значительной мере облегчено уже существующими комментариями в названном выше седьмом издании Бергмана.

## СМЕРТЬ ДАНТОНА

Замысел драмы «Смерть Дантона» вызревал у Бюхнера по мере его знакомства с историей французской революции во время пребывания в университете в Гисене (с осени 1833 г. по август 1834 г.). Почти во всех письмах гисенского периода можно проследить глубинное течение бюхнеровской мысли, ведущее к драме о Дантоне. Переехав осенью 1834 г. к родителям в Дармштадт, Бюхнер, видимо, продолжал свои исторические штудии. 21 февраля 1835 г. он высылает рукопись драмы франкфуртскому книгоиздателю Зауэрлендеру. Одновременно Бюхнер пишет письмо Гуцкову, в котором сообщает о том, что написал драму «в спешке, самое большое за пять недель». Следовательно, время непосредственного написания драмы — январь — февраль 1835 г.

Отдельные сцены из драмы печатались в литературном приложении к газете «Феникс» с 26 марта по 7 апреля 1835 г.; целиком драма вышла в издательстве Зауэрлендера в июле 1835 г., однако в весьма искаженном, приглаженном виде (подробнее об истории возникновения и публикации драмы см. в комментариях к письмам Бюхнера — примечание к стр. 297). Лишь в 1850 г., когда было издано первое собрание сочинений Бюхнера братом писателя — Людвигом Бюхнером, драма появилась в своей первоначальной форме.

Работая над драмой, Бюхнер не только читал обширную историческую литературу эпохи французской революции, но и непосредственно использовал ее в тексте драмы: еще современники отметили, что примерно шестую часть драмы составляют почти дословные цитаты из исторических источников. В основном это сцены в Конвенте, Якобинском клубе и Революционном трибунале: речи Робеспьера, Дантона и других деятелей революции, а также множество отдельных исторически засвидетельствованных высказываний в других сценах драмы.

Основными документальными источниками для Бюхнера были работы по истории французской революции А. Тьера (L.-A. Thiers, Histoire de la Révolution Française, Paris, 1825) и Ф.-А. Милье (F.-A. Mignet, Histoire de la Révolution Française depuis 1789 jusqu'en 1814, Paris, 1824), а также издававшийся в Штутгарте с 1826 по 1830 г. исторический журнал-альманах под названием «Наше время, или Историческое обозрение самых зна-

менательных европейских событий с 1789 по 1830 г.» („Unsere Zeit oder geschichtliche Übersicht der merkwürdigsten Ereignisse von 1789 bis 1830“, Stuttgart, 1826—1830). Эти источники дали основной материал для характеристики главных героев драмы. Помимо этого Бюхнер читал многочисленные периодические издания эпохи французской революции и мемуары ее участников и очевидцев.

Из этих последних документов следует особо отметить опубликованные в 1825 г. в Париже мемуары бывшего присяжного Революционного трибунала, участника суда над Дантоном Жоакена Вилата «Тайные обстоятельства событий с 9 по 10 термидора II года республики» (Joachim Vilate, Causes secrètes de la journée du 9 au 10 thermidor an II, in: „Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française“, Paris—Bruxelles, 1825). Факт знакомства Бюхнера с этими мемуарами был обнаружен совсем недавно, в 1966 г., немецким исследователем Адольфом Беком; открытие Бека помогло прояснить много мест в тексте драмы, оставшихся до последнего времени неясными. В комментариях даются ссылки на исследование Бека по изданию: Adolf Beck, Forschung und Deutung, Frankfurt am Main—Bonn, 1966.

Первая попытка поставить драму на немецкой сцене относится к 1902 г., однако широкий резонанс получила лишь постановка Макса Рейнхардта в Немецком театре в Берлине (1913). С тех пор драма Бюхнера неоднократно ставилась на сценах немецких и зарубежных театров. В числе постановщиков драмы были такие крупные деятели театра, как Эрвин Писка-тор, Гарри Буквиц, Густав Грюндгенс, Оскар Вельгерлип, Жан Вилар. На русской сцене драма не ставилась, если не считать постановки в московском театре бывш. Корша 9 октября 1918 г., представлявшей собой свободную и весьма отдаленную от оригинала переработку драмы А. Н. Толстым.

В комментариях к драме ссылки на исторические источники, использованные Бюхнером, даются по изданиям: А. Тьер, История французской революции, в 3-х томах, Спб.—М., 1873—1875; Ф.-А. Минье, История французской революции, изд. 6, Спб., 1906.

Стр. 73

*Национальный Конвент* — высший законодательный орган во Франции в период революции, собрание выборных народных представителей.

*Лежандр, Луи* (1752—1797) — деятель французской революции; после казни жирондистов (см. прим. к стр. 80) склонялся

к умеренной позиции Дантона, но проявлял большую осторожность, чтобы не навлечь на себя подозрений якобинцев (см. ниже).

*Демулен*, Камилл (1760—1794) — один из видных деятелей французской революции, публицист. Выступал сначала сторонником радикальных революционных мер, но в период якобинской диктатуры примкнул к умеренным и осудил политику террора. В изображении Камилла Бюхнер опирается прежде всего на Миенье, который писал о Демулене: «Запальчивый в суждениях, часто жестокий в своих шутках, он был, однако, кроток и нежен душою... Для республики он жертвовал всем, даже своим сомнениями, потребностями сердца, справедливостью и гуманностью» (стр. 225). В характере своего Камилла Бюхнер явно выдвигает на первый план кротость души. О близости Камилла самому Бюхнеру свидетельствует и то, что писатель вкладывает в его уста свои суждения о задачах и смысле искусства (второе действие драмы).

*Эро-Сешель* (*Эро де Сешель*), Мари-Жан (1759—1794) — сторонник Дантона; с 1792 г. — председатель Конвента; в действительности Эро был арестован раньше других дантонистов (17 марта 1793 г.) за то, что укрывал у себя эмигрантов.

*Лакруа*, Жан-Франсуа (1754—1794) — адвокат, сторонник Дантона. В 1792 г. был послан Конвентом вместе с Дантоном в Нидерланды для переговоров с командованием революционной армии; когда он вернулся, жирондисты обвинили его в расхищении революционных денег. Тьер называет его «самым вредным человеком в дантоновской партии», в значительной мере способствовавшим подрыву ее репутации (т. III, стр. 25).

*Филиппо*, Пьер (1754—1794) — сторонник Дантона, один из немногих верующих моралистов в его окружении. При аресте ему было предъявлено единственное обвинение — в умеренности политических взглядов. Казнен вместе с Дантоном.

*Фабр д'Эглантин*, Филипп-Франсуа-Назер (1755—1794) — актер и комедиограф. В годы революции примкнул к якобинцам, но в январе 1794 г. был арестован за спекуляцию на акциях Ост-Индской компании и казнен вместе с дантонистами.

*Мерсье*, Луи-Себастьян (1740—1814) — журналист, профессор риторики и драматург. Был арестован в 1793 г. как жирондист; пережил революцию и описал ее в 1799 г. в книге «Новый Париж», которую читал Бюхнер.

*Пейн*, Томас (1737—1809) — известный публицист и политический деятель, развивавший идеи просветительства и республиканизма. Родился в Англии, в 1774 г. уехал в Америку, где

участвовал в войне за независимость. С началом французской революции Пейн приехал в Париж, получил французское гражданство и был избран депутатом Конвента, но в конце 1793 г. был арестован якобинцами по обвинению в связях с жирондистами. В заключении Пейн написал книгу «Век разума», пропитанную духом деистического антиклерикализма. В своей драме Бюхнер достаточно произвольно трактует религиозно-философские взгляды Пейна, приписывая ему более радикальный атеизм в характерном для самого Бюхнера духе романтического богоборчества.

*Комитет общественного спасения* — главный правительственный орган якобинской диктатуры, основанный 6 апреля 1793 г.

*Сен-Жюст*, Луи-Антуан (1767—1794) — один из видных вождей якобинцев, друг Робеспьера, погибший вместе с ним во время термидорианского переворота 27 июля 1794 г. (см. также прим. к стр. 116 — «Абсолютная идея...»).

*Барэр де Вьезак*, Бертран (1755—1841). — По единодушным свидетельствам современников, Барэр был беспринципным циником, поддерживавшим политику якобинцев исключительно из соображений личной выгоды. Тьер подчеркивает в Барэре «изворотливость и холодное, уклончивое красноречие» (т. II, стр. 147). Бюхнер, следуя в целом этой трактовке, углубляет психологическую характеристику Барэра, приписывая ему угрызения совести (см. третье действие драмы).

*Колло д'Эрбуа*, Жан-Мари (1750—1796) — актер и драматург, сторонник якобинцев. Впоследствии, во время термидорианского переворота, выступил против Робеспьера.

*Бийо-Варенн* (*Билло-Варенн*), Жак-Никола (1756—1819) — юрист, сторонник якобинцев. Впоследствии принял участие в термидорианском перевороте.

*Коммуна* — высший орган городской муниципальной власти в Париже в годы революции, созданный 10 августа 1792 г. после низложения короля Людовика XVI.

*Шометт*, Пьер-Гаспар (1763—1794) — один из вождей левых якобинцев, с 1792 г. — генеральный прокурор Коммуны. Шометт выступал сторонником радикальных революционных преобразований и был, в частности, одним из инициаторов «дехристианизаторской» кампании, начавшейся с осени 1793 г. Был арестован 18 марта и казнен 13 апреля 1794 г.

*Диллон*, Артур (1750—1794) — французский генерал ирландского происхождения, главнокомандующий арденнской армией во время революционных войн. Был арестован как жирондист и казнен через пять дней после казни дантопистов.

*Фукье-Тенвиль*, Антуан-Кантен (1746—1795) — адвокат, с 1793 г. — общественный обвинитель Революционного трибунала (см. ниже). По его требованию были казнены Дантон и позже Робеспьер. Казнен после термидорианского переворота.

*Комитет общественной безопасности* — второй (наряду с Комитетом общественного спасения) орган правительственной власти в период якобинской диктатуры.

*Революционный трибунал* — правительственный орган для борьбы с контрреволюцией, созданный якобинцами в апреле 1793 г.

*Эрман*, Арман-Марешаль-Жозеф (1759—1795) — сторонник Робеспьера, казненный после термидорианского переворота.

*Дюма*, Рене-Франсуа (1757—1794) — сторонник Робеспьера, казненный во время термидорианского переворота.

*Парис* — присяжный заседатель Революционного трибунала, друг Дантона, сообщивший ему о предстоящем аресте. Называл себя Фабрицием.

*Лафлотт*. — Имя доносчика Лафлотта упоминает Тьер в своей «Истории французской революции».

*Жюли*. — Настоящее имя второй жены Дантона, с которой он обвенчался в 1793 г., — Луиза Жели.

*Якобинцы и Якобинский клуб*. — В начальный период революции якобинцами пазывались члены «Общества друзей конституции», устраивавшего свои заседания в библиотеке бывшего монастыря ордена св. Иакова. В ходе развития революции якобинцы становились все более могучей политической силой, сплачиваясь вокруг Робеспьера и привлекая к себе широкие массы революционного народа. В 1793—1794 гг. якобинство явилось выражением наиболее последовательной, радикально-демократической линии в революции; этот период известен в истории французской революции как период якобинской диктатуры, закончившийся с падением Робеспьера 9 термидора (27 июля) 1794 г.

Стр. 75

*Святой Иаков на тебя косо посмотрел?* — Эро, видимо, намекает здесь на Якобинский клуб и на Робеспьера — как на его репутацию добродетельного человека, так и на его главенствующее положение в лагере якобинцев. Возможно, здесь обыгрывается и то обстоятельство, что башня святого Иакова (Сен-Жак) видна с площади Революции (бывшей Гревской), где совершались казни.

...божественный Сократ вопрошал Алкивиада...— Алкивиад (ок. 450—403 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель и военачальник, в юности — один из ближайших учеников знаменитого философа Сократа (469—399 гг. до н. э.). Цитируемые слова Сократа приводятся в диалоге «Алкивиад II», ошибочно приписывавшемся Платону.

Стр. 75—76

*Сегодня прибавилось еще двадцать жертв... Эбертистов отравили на эшафот...*— Действие бюхнеровской драмы начинается за две недели до казни дантонистов. 24 марта 1794 года были гильотинированы член совета Коммуны Жак-Рене Эбер (1759—1794) и группа его сторонников: командующий революционной армией генерал Ронсен, инспектор военного министерства Венсан и другие. Эбертисты выступали против революционного правительства, обвиняя его в умеренности, в попустительстве дантонистам и требуя ультралиберальных мер по отношению к аристократии, духовенству, спекулянтам и торговцам. Программа эбертистов была противоречивой и во многом авантюристической: левый радикализм и защита интересов бедноты сочетались в ней с явными элементами социальной демагогии, с ненавистью к революционному правительству и Робеспьеру, продиктованной зачастую оскорбленным тщеславием и честолюбием. 4 марта 1794 г. эбертисты сделали неудачную попытку поднять мятеж против революционного правительства, что и послужило поводом к их аресту и казни.

Стр. 76

*Децемвиры* («десять мужей» — латин.) — прозвищное название, данное дантонистами Комитету общественного спасения, состоявшему из десяти человек.

*Аррасский адвокат.*— Робеспьер до приезда в Париж был адвокатом в провинциальном городе Аррасе.

*Женевский часовщик.*— Подразумевается знаменитый философ эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо (1712—1778), родившийся в Женеве в семье часовых дел мастера. Учение Руссо о воспитании и государстве сыграло большую роль в формировании социальных и политических взглядов Робеспьера. В частности, вслед за Руссо Робеспьер отвергал атеизм и считал «гражданскую религию» средством поддержания духа законности и добродетели в народе; на это и намекает Эро, говоря здесь о «свивальниках, учебниках и господе боге».

*Маратовский счет.*— В 1790 г. один из видных деятелей революции, Жан-Поль Марат (1744—1793), в своей газете «Друг

народа» призывал «снести головы 500 преступникам, чтобы сохранить головы 500 000 невинных».

*Надо создать Комитет помилования...*—Идея создания Комитета помилования (в противовес Комитету общественного спасения и Комитету общественной безопасности) была высказана Камиллом Демуленом в его газете «Старый кордельер» (см. прим. к стр. 98) в декабре 1793 г. Это дало основание эбертистам и сторонникам Робеспьера называть дантонов «списходительными» («модерантистами»).

*...вернуть изгнанных депутатов!*—Имеются в виду оставшиеся в живых жирондистские депутаты Конвента из числа арестованных в апреле 1793 г. (см. прим. к стр. 80).

Стр. 77

*...и чтобы сладкогласные уста славил любовь, ее необоримую, горько-сладостную истому!*—парафраз известного фрагмента Сафо. (В переводе В. В. Вересаева:

«Эрос вновь меня мучит истомчивый,  
Горько-сладостный, необоримый змей».)

*...эти новоявленные римляне...*—памек на широкую популярность среди деятелей французской революции исторических аналогий с эпохой римского республиканизма.

*Несравненный Эпикур...*—Древнегреческий философ Эпикур (341—271 гг. до н. э.) высшей целью жизни считал счастье, достигаемое спокойствием духа и освобождением от страха смерти. Об эпикуреизме дантонов см. предисловие к настоящему изданию, стр. 19.

*...святые Марат и Шалье.*—Жозеф Шалье—вождь лионских якобинцев, казненный во время роялистского мятежа в Лионе 15 июля 1793 г., в день похорон Марата, убитого в Париже 13 июля 1793 г. Имена Марата и Шалье стали у якобинцев символом мученической смерти во имя революции.

*За час протечет шестьдесят минут...*—Дантон варьирует здесь слова шута из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (акт II, сцена 7. См. также прим. к стр. 152).

*...разглагольствующего Катона...*—Марк Порций Катон Младший, по прозвищу Утический (95—46 гг. до н. э.)—римский государственный деятель, убежденный республиканец; боролся против установления единоличной диктатуры Гая Юлия Цезаря и, узнав о победе Цезаря при Тапсе, открывшей ему дорогу к императорской власти, покончил жизнь самоубийством, заколовшись мечом. Для французских буржуазных революционеров конца XVIII в. Катон был символом гражданственности и респуб-

ликанского патриотизма. Об отношении Бюхнера к Катону см. комментарий к его юношескому сочинению «Катон Утический» в настоящем издании.

Стр. 78

*Я с грешных плеч твоих сорву тунику...*— по всей вероятности, импровизация пьяного суфлера на мотивы классических трагедий.

*Сокрой свою седую главу, Виргиний...*— Римлянин Виргиний заколол свою дочь Виргинию, чтобы спасти ее от посягательств деспота Аппия Клавдия.

Стр. 79

*Лукрецил.*— Римлянка Лукреция, обещанная Секстом Тарквинием, вонзила себе в грудь кинжал. Упоминая сразу вслед за ее именем имя Аппия Клавдия, Симон явно путает историю Лукреции с историей Виргинии (см. предыдущее прим.).

Стр. 80

*Жирондисты.*— Так называли группу буржуазных депутатов Конвента (по имени департамента Жиронды, от которого были избраны многие из них). Жирондисты были одной из наиболее влиятельных политических сил во французской революции. Во время якобинской диктатуры жирондисты, напуганные демократическим, плебейским характером, который принимала революция, выступили против революционного правительства, в результате чего их фракция была разгромлена, а двадцать два депутата арестованы в апреле и казнены 31 октября 1793 г.

*...кто поглядывает на за границу!*— После победы революции из Франции эмигрировали многие аристократы; при дворах европейских монархов они способствовали развязыванию войны против революционной Франции. В этой войне, пачавшейся в апреле 1792 г., приняли участие Австрия, Пруссия, Англия, Испания и Голландия.

*«Хуже нет лежать в могиле...»*— строфа из разбойничьей песни фольклорного происхождения.

Стр. 81

*Санкюлоты.*— Так назывались в эпоху французской революции широкие массы плебейской бедноты (от франц. «sans culottes» — «без коротких панталон», потому что бедняки носили длинные панталоны, а не короткие, до колен, как аристократы и придворные).

*В августе и сентябре кровь немножко покапала — и все...*

Имеются в виду народное восстание в Париже 10 августа 1792 г., приведшее к свержению монархии, и события 2—6 сентября 1792 г., когда по распоряжению Дантона, возглавлявшего в то время министерство юстиции, в парижских тюрьмах были совершены массовые убийства лиц, арестованных ранее по обвинению в контрреволюционной деятельности.

*Слушайте Аристид! — Слушайте Неподкупного!* — Аристид и Неподкупный — два популярных среди революционеров прозвища Робеспьера по имени государственного деятеля Греции Аристиды (ок. 540—468 гг. до н. э.), за свою неподкупность и честность прозванного «Справедливым».

*...меч его поразиет злодеев.* — Парафраз библейского текста (Четвертая кн. Моисея, XXI, 24).

*Ты являешь себя в стрелах молний и в раскатах грома.* — Ассоциация с греческим мифом о Зевсе и Семеле. Когда дочь фиванского царя Семела, возлюбленная Зевса (Юпитера), по наущению ревнивой Геры попросила его явиться к ней не в смертном обличе, а во всем величии бога, Зевс предстал ей в сверкании молний, и они испепелили Семелу.

Стр. 82

*Бавкида.* — В «Метаморфозах» Овидия рассказывается о Бавкиде и Филемоне — дружной супружеской чете из Фригии, за свое радушие и гостеприимство снискавшей благосклонность богов.

*Простишь ли ты меня, о Порция?* — Симон, очевидно, вспоминает здесь восклицание Марка Юния Брута (см. прим. к стр. 100) из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (акт IV, сцена 3). Порция — жена Брута и дочь Катона Утического (см. прим. к стр. 77), покончившая с собой после смерти мужа. Некоторые сцены с Жюли — в частности, сцена ее смерти — явно навеяны впечатлением от образа Порции в шекспировской трагедии.

*«Кто оскорбил Лаэрта? Гамлет? Нет...»* — Шекспир, «Гамлет», акт V, сцена 2 (пер. М. Лозинского).

*Лионские братья послали нас...* — Речь далее идет о роялистском мятеже в Лионе, сопровождавшемся разгулом контрреволюционного террора (см. прим. к стр. 77).

*Ронсен.* — См. прим. к стр. 75—76.

*Шалье.* — См. прим. к стр. 77.

Стр. 83

*...запрудить дорогу флотилиям Питта...* — Вильям Питт Младший (1759—1806) — английский премьер-министр, один из или-

циаторов интервенции против революционной Франции; по его приказу английский флот блокировал порты Франции, чтобы вызвать голод в стране.

*...героев десятого августа, героев сентября и тридцать первого мая...* — См. прим. к стр. 81.—31 мая—2 июня 1793 г. в результате народного восстания в Париже пало правительство жирондистов и революционная власть практически перешла в руки якобинцев.

*Гайяр* — актер, сторонник Эбера. Когда ряд депутатов Конвента потребовал расследования деятельности эбертиста Ронсена в Лионе во время подавления роялистского мятежа, Колло д'Эрбуа, призывавший к самым жестоким мерам против мятежников, объявил в Якобинском клубе о смерти патриота Гайяра, который покончил с собой в знак протеста против того, что Конвент склонен был осудить Ронсена за предпринятые им карательные меры.

*Кубок Сократа.*— Когда афинский суд приговорил Сократа к смерти, он отверг все попытки друзей спасти его и выбрал себе смерть от яда, выпив кубок с цикутой.

*...разговаривают по академическому словарю...*— Словарь Французской Академии с 1694 г. считался литературной нормой французского языка.

*...подобно лицу Медузы...*— В греческой мифологии Медуза Горгона — женщина-чудовище, чья голова обращала в камень всех, кто смотрел на нее.

Стр. 84

*Одна из этих групп уже уничтожена.*— Имеются в виду эбертисты. Бюхнер допускает здесь анахронизм — приводимая речь Робеспьера в главной своей части была произнесена на заседании Конвента 5 февраля 1794 г., то есть до казни эбертистов.

Стр. 86

*...пытался сослаться на Тацита...*— В своей газете «Старый кордельер» Камилл Демулен поместил подборку пассажей из «Анналов» римского историка Тацита (ок. 55 — ок. 115), рассказывавших о деспотизме и тирании римского императора Тиберия (42 г. до н. э.—37 г. н. э.). Подборка была воспринята всеми современниками как недвусмысленное осуждение робеспьеровской политики террора.

*...припомнить Саллюстия и поиздеваться над Катилиной.*— Робеспьер имеет в виду сочинение римского историка Гая Саллюстия (86—34 гг. до н. э.) «О заговоре Катилины». Луций Сер-

гии Катилина (108—62 гг. до н. э.) — организатор заговоров против римского сената в 66 и 63 гг. до н. э.

Стр. 87

*Атеистов и ультрареволюционеров спровадили на эшафот...*— Имеются в виду эбертисты (см. прим. к стр. 75—76).

*Минотавр* — в греческой мифологии чудовище, которому Афины ежегодно посылали в качестве дани семерых юношей и семерых девушек.

*Венера Медицейская* (Венера Медичи) — позднегреческая статуя Афродиты, находящаяся сейчас в галерее Уффици во Флоренции.

Стр. 87—88

*...природа расчленила красоту, как Медея брата...*— В древнегреческом мифе об аргонавтах рассказывается, что после похищения золотого руна Ясон бежал из Колхиды вместе с дочерью колхидского царя Ээта, волшебницей Медеей. Чтобы задержать погоню, Медея убила своего брата Апсирта, разрубила его труп на части и разбросала их по морю, зная, что сраженный горем Ээт остановится и начнет собирать куски сыпавшегося тела для погребения.

Стр. 90

*...я не позволял бы им сидеть на солнышке.*— Видимо, ассоциация со сценой Гамлета и Полония («Гамлет», акт II, сцена 1).

*Адонис* — в греческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты, погибший на охоте от рапы, нанесенной диким вепрем. Из капель пролившейся крови Адониса выросли розы.

Стр. 91

*Я могла бы стать и проезжей дорогой...*— Фривольная острота, заимствованная Бюхнером у Шекспира («Генрих IV», часть II, акт II, сцена 2).

*...и проливается из нее не кровь, а ртуть.*— Здесь и ниже обыгрывается препарат ртутный хлорид (сулема), сильное дезинфицирующее средство, применявшееся при лечении венерических болезней.

*...гордо запахнуть в тогу.*— По свидетельству Плутарха, в минуту своей смерти Юлий Цезарь, увидев среди нападавших на него заговорщиков своего любимца Марка Юния Брута (см. прим. к стр. 100), накинул на голову тогу и подставил себя под

удары. Мотив этот использован Шекспиром в трагедии «Юлий Цезарь».

*«Это совсем не больно, Пет»* — слова римлянки Аррии Старшей, жены Цеципы Пета, участника заговора против императора Клавдия (10 г. до н. э.—54 г. н. э.). Видя, что Пет, приговоренный к самоубийству, колеблется, Аррия вонзила кинжал себе в грудь и с этими словами передала его мужу.

Стр. 92

*Фабриций*.— см. прим. к стр. 73 — *Парис*.

*...Брут, приносящий сыновей в жертву*.— Здесь имеется в виду легендарный римский консул-республиканец Люций Юний Брут, возглавивший в 509 г. до н. э. мятеж против царя Тарквиния Гордого, после чего в Риме был установлен республиканский строй. Когда Брут узнал об измене своих сыновей Тита и Тиберия, перешедших на сторону изгнанного Тарквиния, он приказал отрубить им головы и сам присутствовал при казни.

*Сатурн* — древнеримский бог посевов, часто отождествлявшийся с греческим богом земледелия Кроносом, который пожирал своих детей. Сравнение революции с Сатурном взято Бюхнером из приводимой Минье речи жирондиста Верньо в Конвенте.

Стр. 93

*...когда уличат героя сентября в умеренности*.— См. прим. к стр. 81.

*Сен-Жюст сочинит очередной роман*...— В 1789 г. Сен-Жюст опубликовал эпическую поэму «Органт», за которую критики обвинили его в компилятивности и подражании Вольтеру. Адольф Бек («Исследования и интерпретации», стр. 363) высказывает в этой связи предположение, что здесь, как и в фразе о «карманьоле» Барэра (см. сл. прим.), имеется в виду обвинительный акт, составленный Сен-Жюстом против Дантона. Тьер в своей «Истории французской революции» возмущался тем, что Сен-Жюст якобы «выдумывал самые небывалые факты или безобразно искажал факты действительные, всем известные» (т. III, стр. 60).

*...Барэр слагает для Конвента карманьолу*...— По свидетельствам современников, о победах на фронте Конвенту обычно докладывал Барэр. Бек в своем исследовании (стр. 362) приводит слова Вилата, назвавшего эти торжественные сообщения Барэра «карманьолами» (по аналогии с популярной в то время революционной песней).

Стр. 94

*Венерина гора*.— В немецкой народной песне о певце

XIII в. Тангейзере рассказывается, как его полюбила Венера и заманила к себе в горный грот.

*Тарпейская скала* — скала рядом с Капптолием в Древнем Риме; с нее сбрасывали государственных преступников.

Стр. 97

*Мы должны похоронить драгоценный труп с почестями...* — Вся эта тирада Сен-Жюста представляет собой парафраз слов Брута из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (акт II, сцена 1).

Стр. 98

*Он был красивой заглавной буквой конституционного акта...* — Эро-Сешель, слывший одним из самых красивых мужчин Парижа, был соавтором и редактором проекта республиканской конституции 1793 г., в основу которой были положены идеи робеспьеровской «Декларации прав».

*«Старый кордельер»* — газета, которую Камилл Демулен начал издавать в конце 1793 г. Кордельеры — наиболее демократический по своему составу революционный клуб, созданный в апреле 1790 г. на территории монастыря кордельеров (францисканцев). С самого начала в числе его активных членов были Демулен и Дантон. Полемиически называя свою газету «Старый кордельер», Демулен тем самым критиковал новый состав клуба, где решающую роль стали играть сторонники Робеспьера (см. также прим. к стр. 86). Приводимые далее строки, однако, отчасти взяты из письма Демулена к генералу Диллону в 1793 г., отчасти вымышлены Бюхнером.

*Кутон, Жорж-Огюст (1755—1794)* — один из членов Комитета общественного спасения, близкий соратник Робеспьера, погибший вместе с ним во время термидорианского переворота.

*Гильотинные фурии* — так буржуазные историки презрительно называли парижских женщин, принимавших активное участие в революции.

*Святой Дионисий* — католический святой; по преданию, был обезглавлен в III в. н. э. на Монмартре и оттуда, держа голову под мышкой, дошел до селения, названного в его честь Сен-Дени.

*...мешок со старьем...* — Демулен обыгрывает здесь дворянскую фамилию Барэра — де Вьезак (франц. «vieux sac» — старый мешок).

*Он как вдова, похоронившая полдюжины мужей* — намек на беспринципность Барэра, который, по свидетельствам историков, легко менял свои убеждения в зависимости от ситуации. По указанию А. Бека (стр. 363), образ вдовы, похоронившей полдю-

жины мужей, заимствован из «Кентерберийских рассказов» английского писателя Джеффри Чосера (ок. 1300—1400).

*Гиппократова печать.*— Знаменитому древнегреческому врачу Гиппократу (ок. 460—377 гг. до н. э.) принадлежит подробное описание признаков близкой смерти на лице человека.

*Только мертвые не возвращаются...*— Бюхнер приписывает здесь Робеспьеру исторически засвидетельствованное высказывание Барэра.

*...спекулянтов на закуску и иностранцев на десерт.*— Вместе с дантонистами на скамью подсудимых были посажены несколько иностранных подданных, обвинявшихся в шпионаже, и биржевых спекулянтов, в том числе депутаты Конвента Шабо и Делоне. В последние месяцы якобинского террора получила широкое распространение практика «амальгам», когда в одном судебном процессе объединялось несколько групп лиц по разным обвинениям. Иногда эти группы имели друг к другу весьма косвенное отношение, но такое сочетание значительно отягощало обвинительные вердикты.

Стр. 99.

*...все мы истекаем кровавым потом в Гефсиманском саду...*— По Евангелию, во время тайной вечери Христос сказал своим ученикам, что один из них этой ночью предаст его, и после вечера всю ночь до кровавого пота молился богу-отцу на масличной горе в Гефсиманском саду.

Стр. 100

*Какая все-таки скука — каждый раз сначала натягивать рубашку...*— Этот пассаж в монологе Дантона варьирует рассуждения Гёте о пресыщенности жизнью в XIII главе его книги «Поэзия и правда».

*...обратись и к Болоту и к Горе!*— «Горой» называлась якобинская фракция в Конвенте (монтаньяры), «Болотом» — группа буржуазных депутатов центра, колебавшихся между монтаньярами и жирондистами.

*...взывай к памяти Брута!*— Здесь имеется в виду Марк Юний Брут (85—42 гг. до н. э.), римский республиканец, вождь заговора против Цезаря и один из его убийц.

*...вокруг тебя соберутся даже те, кого сейчас преследуют как соучастников Эбера!*— До разгрома группы Эбера его сторонники находились в резкой вражде с дантонистами, обвиняя их в умеренности (см. также прим. к стр. 75—76).

*...умрем достойно — не безоружными и униженными, как этот*

*жалкий Эбер!* — По свидетельствам современников, Эбер малодушно держался на суде.

*Я побывал в секциях...* — Секциями назывались территориальные округа Парижа, созданные в результате административной реформы 1790 г.; фактически они стали потом массовыми политическими организациями парижского населения.

Стр. 101

*Совет Коммуны кается...* — После ареста своего генерального прокурора Шометта Коммуна заявила о лояльности по отношению к якобинскому правительству.

*...к новому тридцать первому мая...* — См. прим. к стр. 83.

Стр. 102

*...как Лукреция, репетировать достойную смерть.* — См. прим. к стр. 79.

Стр. 103

*Корнелия.* — В революционной Франции увлечение историей республиканского Рима выражалось, в частности, и в том, что граждане называли своих родных и близких римскими именами. Здесь, по-видимому, подразумевается Корнелия Гракх — благородная римлянка, вырастившая двух сыновей, впоследствии народных трибунов — Тиберия (162—133 гг. до н. э.) и Гая (153—121 гг. до н. э.) Гракхов.

*«А рабочий народ...»* — вариации на тему швабской народной песни.

*Нареки его, к примеру, Мечом, Маратом!* — В годы революции во Франции распространился обычай называть детей именами революционных деятелей или символическими нарицательными именами. (Ниже Симон предлагает соседу также имя Орало.)

*...как сосцы римской волчицы...* — По преданию, основатели Рима были братья-близнецы Ромул и Рем, вскормленные дикой волчицей. Впоследствии Ромул убил Рема и стал первым римским царем, отсюда следующая реплика Симона: «Ромул был тиран».

*«В землю нас зароят...»* — видоизмененная строфа из немецкой народной песни.

Стр. 104

*«Ах, Кристина, не беги...».* — Происхождение этой песни немецкими исследователями не выяснено; возможно, это солдатская песня земли Гессен.

Стр. 105

*...почему не лопается от хохота небо и не корчится от смеха земля.*— Есть основания предположить, что эта сцена навеяна (помимо известной сцены прогулки в «Фаусте» Гёте) одним из ранних стихотворений Гейне — «Сумерки богов». Там тоже вначале дается иронически-идиллическая панорама майского променада и так же, как в «Смерти Дантона», сразу следует резко разоблачительный монолог поэта. Созвучие тональностей и совпадение частных образов здесь очевидны; помимо того, заключительная часть стихотворения Гейне, где поэт рассказывает о бунте «темных сынов земли» против неба и бога, очень созвучна и богониспровергательскому тону речей Дантона и описанию сна Кампилла в Консьержери (см. стр. 141 настоящего издания).

Стр. 107

*Пигмалион* — легендарный греческий скульптор, влюбившийся в созданную им статую прекрасной Галатеи. Афродита оживила статую, и Галатея стала супругой Пигмалиона.

*Давид*, Жак-Луи (1748—1825) — французский художник-классицист, принявший сторону революции. Давид писал картины на сюжеты из ее истории и принимал активное участие в политической жизни Франции в этот период.

Стр. 108

*Мы сидели с ним за одной партией.*— Демулен учился вместе с Робеспьером в коллеже Людовика Великого в Париже с 1769 по 1778 г.

*«И кто это слово придумал...»* — строфа из популярной народной песни земли Гессен.

Стр. 110

*«Сентябрь!»* — См. прим. к стр. 81.

Стр. 111

*Войскам интервентов оставалось сорок часов марша до Парижа.*— В сентябре 1792 г. интервенция иноземных монархов действительно представляла реальную угрозу завоеваниям французской революции, и расправа с заключенными в тюрьмах оправдывалась Дантоном как необходимая мера по ликвидации внутренней контрреволюции перед лицом угрозы контрреволюции внешней.

*«Ибо надобно прийти соблазнам...»*— Это евангельское изречение о соблазнах (Матф. XVIII, 7) глубоко волновало Бюхнера, о чем он прямо говорит в письме к невесте из Гисена (см. стр. 274 настоящего издания). В этих словах из Евангелия он

видел одну из первых формул «железного закона», обрекающего человека на роль слепого орудия в руках высших и неподвластных ему сил. Следует отметить, что это же изречение приводится и в драме Я.-М.-Р. Ленца «Гувернер» (1774; акт V, сцена 10), хорошо знакомой Бюхнеру.

Стр. 113

*Ведь уже есть специальный декрет.*— Имеется в виду декрет Конвента, аннулировавший неприкосновенность депутатов и исключавший возможность апелляции арестованных депутатов к Конвенту. Последующий спор в Конvente по вопросу о «предпочтении» и «привилегиях» вращается именно вокруг этого декрета.

Стр. 114

*Шабо, Делоне.* — См. прим. к стр. 98.

Стр. 115

*Лафайет, Мари-Жозеф, маркиз (1757—1834)* — французский государственный деятель. Принимал участие в войне Северо-Американских штатов за независимость во главе отряда французских добровольцев, позже примкнул к третьему сословию в Генеральных штатах. После взятия Бастилии организовал национальную гвардию и возглавлял ее. Будучи сторонником либеральной монархии, Лафайет очень скоро перешел на контрреволюционные позиции; он руководил расстрелом народной демонстрации на Марсовом поле 17 июля 1791 г. После низложения короля бежал к австрийцам.

*Дюмурье, Шарль-Франсуа (1739—1824)* — французский генерал, министр иностранных дел в правительстве жирондистов, затем — командующий революционной армией. В марте 1793 г. попытался выступить против власти Конвента, но не нашел поддержки в войсках и перебежал к австрийцам.

*Бриссо де Варвиль, Жан-Пьер (1754—1793)* — один из видных деятелей Жиронды, казненный вместе с другими жирондистами 31 октября 1793 г.

Стр. 116

*Абсолютная идея пользуется в духовной сфере нашими руками...*— В данном случае сознательно допускаемый Бюхнером анахронизм: Сен-Жюст употребляет гегелевский термин «абсолютная идея» («Weltgeist»). Вообще вся речь Сен-Жюста, целиком вымышленная Бюхнером, пародирует гегелевскую идею поступательного развития природы и духа. Здесь особенно отчетливо обнаруживается бюхнеровское трагическое восприятие «дья-

вольского фатализма истории». Бюхнер отрицает идеализм Гегеля, усматривая в нем философское оправдание «железного закона». Передоверяя логике этого закона Сен-Жюсту, Бюхнер тем самым как бы делает его своим антиподом в драме — Сен-Жюст столь же молод, но он уже принял этот закон. Важно отметить здесь, что исторический Сен-Жюст, требуя смерти Дантона, вовсе не обосновывал его философской необходимостью, он, напротив, рассматривал Дантона как реальную силу контрреволюции.

Стр. 117

*Моисей повел свой народ через Красное море...*— Ветхий завет, Вторая кн. Моисея, XIV, 52.

*Революция подобна дочерям Пелия...*— ассоциация с мифом о Ясоне и Медее. Дочери иолакского царя Пелия, послушавшись коварного совета Медеи, убили своего отца и разрубленные части его тела сварили в котле, надеясь, что после этого он воскреснет юным и сильным. Обещание Медеи не сбылось, и Медея с Ясоном были изгнаны из Иолка. А. Бек (стр. 361) приводит в связи с этим заявлением Сен-Жюста один пассаж из мемуаров Вилата, где Вилат говорит о жестокости Барэра и Колло, о «лицемерной чувствительности» последнего и, путая мифологический сюжет, сравнивает обоих с «сыновьями Ясона, которые сварили своего отца с целью его омоложения».

*Кинжал Бруга.*— См. прим. к стр. 100.

Стр. 118

*Одна из зал Люксембургского дворца, превращенного в тюрьму.*— Во время революции Люксембургский дворец в Париже был превращен в государственную тюрьму.

*Анаксагор.*— Будучи атеистом, Шометт называл себя именем древнегреческого философа-материалиста Анаксагора (ок. 500—428 гг. до н. э.).

*...и внимай моему Катехизису...*— См. прим. к стр. 73 — *Пейн*.

Стр. 119

*...или атрибут его, как говорит Спиноза...*— В наследии Бюхнера сохранились конспекты трудов голландского философа Бенедикта Спинозы (1632—1677), свидетельствующие о живом интересе Бюхнера к его учению. Однако философия Спинозы, рассматривавшая природу как сумму проявлений (атрибутов) вездесущего божества и выводившая отсюда требование для человеческого разума принять идею необходимости, постоянно вызвала у Бюхнера резкий протест,— она представлялась ему одной из форм теодицеи и примирения с «железным законом». От

сюда проницательное обыгрывание этой идеи в сцене с Пейном и Мерсье.

*Вольтер это сделал потому, что боялся испортить отношения с богом и с королями.*— Пейн имеет в виду действительские убеждения известного французского писателя Вольтера (1694—1778), заявлявшего, что «вера в существование бога необходима для всеобщего блага». Знаменитую фразу Вольтера: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать» — повторил Робеспьер, обосновывая в Конвенте необходимость борьбы с атеизмом и введения культа верховного существа как новой формы религии.

Стр. 121

*Мадам Моморо* — жена одного из левых якобинцев, Антуана Франсуа Моморо, гильотинированного вместе с Эбером; она изображала богиню Афины на учрежденных Коммуной антирелигиозных празднествах Разума.

*Он очень уж боится, что не испробует всех путей к спасению.* — Предсказывая Шометту обращение в три религии сразу — католическую, мусульманскую и иудейскую, — Пейн пронизывает здесь над его атеистическим рвением. В последние месяцы своего пребывания на посту генерального прокурора Коммуны Шометт развил активную деятельность по упразднению культов и замене их «культом Разума». Эта идея очень скоро была отвергнута якобинцами и Робеспьером, боявшимися в результате этих мер утратить свою популярность в массах.

Стр. 122

*...кровь двадцати двух депутатов.*— Имеются в виду гильотинированные жирондисты — депутаты Конвента (см. прим. к стр. 80).

*Власть народа и власть разума — это же одно!* — Заключение пронизывает здесь над словами Эро, сказанными им в мае 1793 г., когда он был председателем Конвента.

*Фонарный прокурор.*— В начале революции Демулен настаивал на необходимости революционного террора и в своем «Обращении фонарного столба к парижанам», опубликованном в 1789 г., с гордостью называл себя «главным прокурором фонаря».

*Эти губы первыми произнесли слово «поминовение».*— См. прим. к стр. 76.

Стр. 123

*Мы ловко их перемешали...* — См. прим. к стр. 98.

*Леруа, Вилат, Люмьер, Жирар, Реноден* — действительные имена присяжных на процессе давтонистов. В доступных исследова-

дователям исторических источниках, использованных Бюхнером, нет их столь подробных отрицательных характеристик; возможно, что они принадлежат самому драматургу. Из перечисленных присяжных особый интерес для исследователей бюхнеровской драмы представляет Вилат, арестованный незадолго до 9 термидора и казненный 7 мая 1795 г. В тюрьме Вилат написал мемуары, которые были использованы Бюхнером при работе над драмой (см. вступление к комментарию драмы).

Стр. 124

*Равенство косит все головы подряд...*— Мерсье пронически перечисляет здесь лозунги якобинцев, поддерживавшиеся Лакруа.

*...как Баязет свои пирамиды...*— Турецкий султан Баязет (1347—1403) был известен своей жестокостью в обращении с побежденными.

*Ровно год, как я создал Революционный трибунал.*— Дантон был одним из инициаторов учреждения Революционного трибунала (см. прим. к стр. 73).

*Мирабо*, Оноре-Габриель-Рокетта, граф (1749—1791) — деклассированный аристократ, депутат Генеральных штатов и Национального собрания от третьего сословия Прованса. Талантливый оратор, Мирабо был одной из самых популярных личностей в начале революции, однако после его смерти обнаружилось, что он поддерживал тайные связи с королевским двором и получал за это большие суммы денег.

*Герцог Орлеанский*, Луи-Филипп (1747—1793) — брат короля Людовика XVI. После свершения революции остался во Франции и заигрывал с революционным правительством: отказался от своего герцогского титула и под именем Филиппа Эгалите (Равенство) вошел в число депутатов Национального Конвента, где голосовал за казнь короля. В ноябре 1793 г. был казнен по подозрению вговоре с иностранными интервентами и в стремлении к захвату королевского престола.

*...сторонниками Людовика Семнадцатого.*— Имеется в виду Луи-Шарль (1785—1795) — сын Людовика XVI. После смерти старшего брата в 1789 г. Луи-Шарль стал дофином — наследником престола. Вместе со своими родителями был в 1792 г. заключен в тюрьму; после казни отца и матери был передан Национальным Конвентом под надзор якобинцу Симону и погиб при невыясненных обстоятельствах в 1795 г.

Стр. 125

*...ты ответишь перед потомками за это преступление!* —

Обвинение против Дантона в Конвенте поднял Сеп-Жюст 31 марта 1794 г.

*Вспомните Марата — он почтительно разговаривал со своими судьями.*— Речь идет о суде, устроенном Марату 23 апреля 1793 г. Революционным трибуналом по требованию Конвента. Жирондистские депутаты обвиняли Марата в оскорблении Конвента. Революционный трибунал оправдал Марата.

*Это я объявил на Марсовом поле войну монархии...*— Имеется в виду народная демонстрация на Марсовом поле 17 июля 1791 г., организованная по инициативе Дантона и потребовавшая низложения Людовика XVI.

Стр. 126

*Десятого августа.*— См. прим. к стр. 81.

*Двадцать первого января.*— В этот день 1793 г. был казнен Людовик XVI.

*...якобы силой заставили Дантона... выйти к народу?*— По свидетельствам участников событий 10 августа, Дантон вел себя в те дни весьма сдержанно; эта пассивность была впоследствии отмечена в обвинительном акте, предъявленном Дантону.

Стр. 128

*Везучий Эдип!*— Фиванский царь Эдип по неведению убил своего отца и женился на собственной матери. Узнав истину, он в отчаянии выколол себе глаза.

Стр. 129

*Сансон, Анри (1767—1840)* — парижский палач времен революции.

*Роговой Зигфрид* — герой древнегерманского героического эпоса «Песнь о Нибелунгах». После того как Зигфрид искупался в крови убитого им дракона, тело его покрылось роговой оболочкой, и он сделался неуязвимым для врагов.

*Дерзайте! Зря, что ли, Дантон учил нас этому?*— Сеп-Жюст имеет в виду знаменитую фразу Дантона, сказанную после сдачи революционной армией Вердена в 1792 г.: «Нам нужна смелость, смелость и еще раз смелость».

Стр. 130

*Сент-Пелажи* — одна из парижских тюрем.

*Лукреция, Тарквиний.*— См. прим. к стр. 79.

*«Гражданка, тебе далеко еще не подошла пора желать смерти.»*— По историческим свидетельствам того времени, эти слова принадлежали не Колло, а Кутону.

Стр. 131

*...римского консула, раскрывшего заговор Катилины...*— Имеется в виду Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.), знаменитый римский оратор и политический деятель (см. также прим. к стр. 86).

*...явится им, как Юпитер Семеле...*— См. прим. к стр. 81.

Стр. 132

*Клиши* — живописный пригород Парижа. По свидетельствам современников, вилла в Клиши была местом загородных увеселений Барэра и его друзей.

*...нежные пальчики несравненной Демайи...*— Имя любовницы Барэра; в немецких изданиях до последнего времени оно печаталось как «Demaly». А. Бек (стр. 359—360) указал на то, что в первой рукописи Бюхнера ясно написано «Demayu» и что в таком же написании это имя многократно упоминается в мемуарах Вилата.

*...возомнивший себя Магометом!*— До последнего времени эта фраза была одним из неразгаданных «темных мест» в тексте драмы; неясность проистекала из неразборчиво написанного слова в манускрипте Бюхнера. Во всех немецких изданиях «Смерти Дантона» здесь стояло слово «Masoret», весьма искусственно истолковывавшееся как произвольное бюхнеровское образование от слова «масон». В 1953 г. французский исследователь Ришар Тиберже предложил прочтение «Masoret» (масорет — древнееврейское обозначение для ученого комментатора Библии). Но в 1960 г. немецкий исследователь Фридрих Байснер впервые прочитал это слово как «Mahomet» и связал эту фразу с трагедией Вольтера «Фанатизм, или Пророк Магомет» (1740), разоблачавшей религиозный фанатизм и идею мессиянства и пользовавшейся большой популярностью во Франции в годы революции (см.: Friedrich Weißner, *Kleiner Beitrag zum Büchner-Text.*— „Neophilologus“, 1960, Nr. 1, S. 18). Толкование Байснера было подтверждено А. Беком, обнаружившим в мемуарах Вилата неоднократные упоминания о вольтеровском «Магомете». Бек напомнил также о том, что немецкий философ Фихте (1762—1814) в своих «Речах к немецкой нации» (1807), хорошо известный Бюхнеру и использованных им в одном из юношеских гимназических сочинений, говорил о герое вольтеровской трагедии как о человеке, который «воображает себя призванным вести темный и невежественный народ» и который, «чтобы оправдать перед самим собой свою божественную славу... уничтожал на своем пути всех, кто не думал о нем столь же высоко». Русский пере-

вод «Смерти Дантона» в настоящем издании основывается на этом последнем прочтении бюхнеровского текста.

Стр. 134.

*О божественные линнеевские классы!* — Иронизируя здесь над теорией классификации животного и растительного мира, выдвинутой шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем (1707—1778), Дантон обыгрывает два значения слова «класс» — класс как подразделение в классификации животных и растений и класс как год обучения в школе.

*Вечный Жид.* — Камилл вспоминает здесь средневековую легенду о еврее Агасфере, который был обречен на вечные скитания и не мог умереть. Приводимые далее слова: «О, почему умереть не могу я?» — взяты из стихотворения немецкого поэта К.-Ф.-Д. Шубарта (1739—1791) «Вечный Жид» (1787).

Стр. 136.

*Сансон не годится в пекари!* — См. прим. к стр. 129.

Стр. 137.

*Лафайет был с вами в Версале...* — 5—6 октября 1789 г. народные массы Парижа устроили поход на Версаль, где в это время находился двор и заседало Учредительное собрание. В результате король по требованию масс подписал «Декларацию прав человека и гражданина», и королевский двор вместе с Учредительным собранием переехал в Париж. В этом походе принимал участие маркиз Лафайет, бывший в то время начальником национальной гвардии (см. также прим. к стр. 115).

Стр. 138.

*Ты ведь восхищаешься Брутом?* — Дюма имеет в виду Люция Юния Брута (см. прим. к стр. 92).

*накинуть тогу на голову...* — предсмертный жест Цезаря (см. прим. к стр. 91), приписываемый здесь Люцию Бруту. Вероятно, Дюма путает историю Люция Брута с историей Марка Брута.

Стр. 139

*Платон говорил, что ангелы делают себе сандалии из воловьей кожи...* — Камилл перефразирует здесь слова из диалога «Тимей» древнегреческого философа Платона (427—347 гг. до н. э.).

Стр. 141

*«Ночные думы».* — Имеется в виду элегическая поэма английского поэта Эдварда Юнга (1683—1765) «Жалоба, или Ночные

думы о жизни, смерти и бессмертии» (1742—1745), пропикнутая ощущением бренности земного бытия и экзальтированной религиозностью. Судя по имеющимся в распоряжении исследователей фактам, упоминание книги Юнга в связи с Демуленом не основано на исторических свидетельствах, а представляет собой вымысел Бюхнера. Но этот вымысел имеет свои основания. Поэма Юнга уже в 1751 г. была переведена на немецкий язык, в 1780 г. переиздана и пользовалась большой популярностью среди немецких поэтов эпохи штюрмерства и романтизма. Об этом, в частности, свидетельствует Гёте в 14-й книге «Поэзии и правды», появившейся уже после его смерти, в 1833 г., то есть незадолго до написания «Смерти Дантона». Бюхнеру, судя по всему, была известна не только книга, но и гётевское суждение о ней. Отмечая, что в произведении Юнга нашла свое выражение «тема мрачного разочарования в жизни», Гёте считает это настроенно характерным для английской поэзии: «Сколь многие их поэты вели в юности жизнь бурную и расточительную и рано сочли себя вправе обвинить земные устремления в суетности! Сколь многие из них пытались начать свое поприще на стезе общественной деятельности, в парламентах, при дворе, в министерствах, принимали участие во внутренних смутах, в государственных и правительственных изменениях... но, наблюдая своих друзей и покровителей, рано приходили к выводам скорее печального, нежели утешительного свойства! Сколь многие были гонимы, высланы из отечества, брошены в тюрьмы, лишены состояния!» Эти мысли вполне созвучны бюхнеровской трактовке судьбы Дантона и его единомышленников. А в сцене в Консьержери, посвященной предсмертным размышлениям дантонистов, Бюхнер явно использует апокалипсическую образность и лирическую патетику юнговской поэмы.

«*Орлеанская девственница*» — сатирическая поэма Вольтера (написана в 1735 г., напечатана в 1755 г.), пародирующая клерикально-патриотическую версию легенды о Жанне д'Арк и изобилующая циничными насмешками над католической религией.

Стр. 143

«*Зажглись две звездочки на небе...*» — строфа из немецкой народной песни.

Стр. 144

...*разыгрывать представление. Только не на подмостках, а на помосте.* — В оригинале более лаконичная игра слов: «des vers», что по-французски означает и «стихи» и «черви», то есть фраза Дантона имеет два смысла: и «сочинять стихи» и «кормить червей».

...а Кутону — свои ляжки...— Жорж Кутон (см. прим. к стр. 98) был парализован и передвигался только в кресле.

*Клитемнестра* — супруга греческого царя Агамемнона, убившая его в день, когда он вернулся с Троянской войны.

...если отыщется Самсон на наши челюсти.— По библейской легенде (Книга Судей, XV, 15), Самсон, оказавшись в плену у филистимлян, разорвал свои путы и, схватив валявшуюся неподалеку на земле ослиную челюсть, убил ею тысячу человек, а остальных врагов обратил в бегство.

Стр. 145

*Нерон* (37—68 гг. н. э.) — римский император, известный своей жестокостью и честолюбием.

Стр. 146

*Стоицизм*.— Философское учение стоицизма, возникшее в Древней Греции в начале III в. до н. э., предписывало самообладание и самоограничение как жизненную позицию. Стоицизм получил особенно широкое распространение в Древнем Риме в I в. н. э.

*Молох* — в финикийской религии кровавый бог, которому приносились человеческие жертвы.

...миска с зеркальными карнами...— Свойство окрашиваться перед смертью в разнообразные цвета древние греки приписывали дельфинам. В таком виде эта легенда пересказывается Байроном в «Паломничестве Чайльд Гарольда» (песнь IV, строфа 29). Образ рыб, умирающих на потеху богам, используется в повелле немецкого писателя-романтика Людвиг Тика (1773—1853) «Жизнь артиста» (1826—1831). Бюхнер варьирует этот мотив и в «Леонсе и Лене».

Стр. 147

*Не хочу, чтобы он ждал хоть секунду.*— В действительности жена Дантона не покончила с собой после его казни; в 1797 г. она вторично вышла замуж и была еще жива при жизни Бюхнера.

Стр. 148

*Эро, я сделаю себе парик из твоих красивых кудрей.*— А. Бек (стр. 364—365) в связи со сценой казни дантонистов напоминает о том, что одна из речей Эро во время конституционных праздников была посвящена прославлению героических женщин революции, которые «преодолели слабость своего пола и совершили чудеса». Речь эта была напечатана в 17-м номере «Монитора» и могла быть известна Бюхнеру.

*«Падите на нас, горы!»* — традиционное библейское и евангельское восклицание грешников в день возмездия (Осия, X, 8; Лук. XXIII, 30; Откров. VI, 16).

*Харон* — в древнегреческой мифологии лодочник, перевозивший умерших через реку Стикс в загробный мир.

*Вы убиваете нас в день, когда вы утратили разум...* — Лакруа повторяет слова, сказанные в свое время жирондистом Ласурсом перед казнью (отсюда — голоса из толпы: «Это мы уже слышали!»).

*Я умираю вдвойне.* — Во время заключения Фабр тяжело заболел.

Стр. 150

*«А когда иду домой...»* — строфа из немецкой народной песни Саарской области; сцена с поющими палачами, очевидно, навеяна сценой с могильщиками в «Гамлете».

*«Смертью зовется этот косец...»* — строфа из немецкой песни религиозного содержания.

*Да здравствует король!* — В действительности Люсиль Демулен была арестована по доносу Лафлотта и казнена вместе с Диллоном 10 апреля 1794 г. по обвинению в участии в заговоре.

## ЛЕОНС И ЛЕНА

Замысел комедии «Леонс и Лена» возник у Бюхнера, видимо, в феврале 1836 г., когда издательство Котта объявило конкурс на лучшую комедию (см. предисловие к настоящему изданию). Закончив комедию, Бюхнер отослал ее в издательство, но опоздал на несколько дней к объявленному сроку, и жюри конкурса вернуло комедию непрочитанной (в августе 1836 г.). Впервые комедия была напечатана в отрывках Гудцовом в майском номере журнала «Немецкий телеграф» за 1838 г. Целиком пьеса вышла в 1850 г. в первом издании бюхнеровских сочинений, но и здесь некоторые сцены первого действия были опущены из цензурных соображений. Лишь во втором издании сочинений Бюхнера, подготовленном К.-Э. Францосом (1879), впервые был восстановлен полный текст комедии.

Первая постановка пьесы на немецкой сцене — в 1895 г. в частном мюнхенском театре — не имела широкого резонанса; гораздо более успешной была вторая постановка комедии, в 1911 г., на сцене венского «Резиденц-театра». С тех пор комедия

не раз ставилась в немецких и австрийских театрах, вплоть до настоящего времени.

О литературных источниках комедии см. предисловие и комментарии к настоящему изданию.

Стр. 151

*А слава? — А голод?* — Эпиграф к комедии, якобы цитирующий слова итальянских драматургов Витторио Альфьери (1749—1803) и Карло Гоцци (1720—1806), в действительности вымышлен Бюхнером (см. предисловие к настоящему изданию).

Стр. 152

*«О, стать бы мне шутом!»* — Эпиграф к первому действию взят из седьмой сцены второго акта шекспировской комедии; в этой сцене в репликах и монологах Жака высказываются наиболее принципиальные суждения драматурга о роли шутовских образов в его драмах. О том, что Бюхнер придавал этой сцене особое значение, свидетельствует и тот факт, что с ней перекликаются некоторые мысли Дантона в драме «Смерть Дантона» (см. прим. к стр. 77).

*...триста шестьдесят пять раз подряд плюнуть на этот камень.* — Многие реплики и остроты Леонса и Валерии в этой сцене на тему скуки и ничегонеделания варьируют сходные пассажи из комедий французского романтика Альфреда де Мюссе (1810—1857) «Фантазио» и «Прихоти Марианны» (обе — 1833 г.).

*Хотите пари?.. Вы что, язычник? В бога веруете?* — Леонс пародирует здесь известное рассуждение французского философа Блеза Паскаля (1623—1662), предлагавшего в выборе между верой в бога и неверием делать ставку на веру: «Если выиграете, вы выиграете все; если проиграете, то не потеряете ничего».

Стр. 154

*«Сидит муха на стене!»* — слова из немецкой детской песенки.

*Меняю свой разум на его безумие...* — вариация темы шута из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (см. прим. к стр. 152).

Стр. 155

*...они совсем не мыслят, совсем не мыслят...* — Весьма сходную структуру речи героя, тяготящегося необходимостью мыслить, демонстрирует монолог поэта Раттенгифта в комедии немецкого драматурга Кристиана Дитриха Граббе (1801—1836) «Шутка, сатира, ирония и более глубокий смысл» (1827): «Ах, эти мысли! Рифмы есть, но вот мысли, мысли! Сажу тут, пью ко-

фий, грызу перья, пишу, зачеркиваю — и не могу придумать ни одной мысли, ни одной мысли!» (акт II, сцена 2). Комедия Граббе вообще в целом ряде существенных черт предвещает идейную и формальную структуру всей бюхнеровской драматургии, прежде всего в резкой критике и пародийном развенчании «идеального» мышления. Граббе вовлекает в сферу пародии и историю французской революции; дьявол в комедии Граббе отрекомендовывается как автор «трагедии под названием «Французская Революция», в 14 годах, с прологом Людовика XV и хорам эмигрантов» (акт II, сцена 2). Нападки Граббе на «идеальную» литературу немецкого Просвещения (в частности, на Шиллера) предвещают — хотя и более сдержанную и завуалированную — бюхнеровскую критику в рассуждениях Камилла об искусстве в «Смерти Дантона». Цинично-пессимистические философствования дьявола в комедии Граббе созвучны многим рассуждениям Дантона. Можно предположить некоторые глубокие аналогии с комедией Граббе и в «Войцехе» (см. прим. к стр. 214).

*Субстанция есть вещь в себе, это я.* — Это и последующие рассуждения короля Петера представляют собой абсурдно-пародийную мешанину из терминов и категорий самых разных философских систем: Спинозы, Декарта, Канта, Фихте. Сталкивание «высоких материй» с прозаическими, будничными фактами и действиями является здесь основным приемом создания комического образа. Непосредственными литературными прототипами короля Петера были комические фигуры монархов в повестях известного немецкого писателя-романика Э.-Т.-А. Гофмана (1776—1822) и комедиях Л. Тика («Кот в сапогах», «Принц Цербино»). В целом же главная мишень бюхнеровской сатиры в сценах с королем Петером — безусловно, философский идеализм, а также все попытки рационалистической схематизации мира.

Стр. 157

*Расставьте среди олеандров лампы с хрустальными колпаками.* — Этот монолог Леонса явственно пародирует сцену любовного свидания Юлия и Люцинды в повести немецкого писателя-романика Фридриха Шлегеля (1772—1829) «Люцинда» (1799; глава «Постоянство и игра»). Последующие тирады Леонса о праздности также навеяны прежде всего этой повестью (см. предисловие к настоящему изданию, стр. 55).

Стр 158

*...ласка твоих губ навевает дрему...* — Тирада Леонса о «дреме» и «сладостной зевоте» варьирует песенку Сармиенто из ко-

меди немецкого писателя-романтика Клеменса Брентано (1778—1842) «Понс де Леон» (1801):

«Кого с тоски тоска берет  
И кто, в зевке раскрывши рот,  
Грустит о грусти,— для того  
Что женской ласки волшебство?»

(акт I, сцена 18).

О принципиальной связи «Леонса и Лены» с комедией Брентано см. предисловие к настоящему изданию.

*«Пляшите, пляшите, усталые ножки...»*.— Песенка Розетты сочинена самим Бюхнером.

*...золотые рыбки, поданные на десерт...—* См. прим. к стр. 146.

Стр. 159

*...моя любимая любовь снова явилась бы на свет.*— Эта тирада Леонса варьирует пассаж из романа Брентано «Годви» (1801).

*«Одна я на свете...»*.— Песенка Розетты сочинена самим Бюхнером.

Стр. 160

*Калигула, Гай (12—41 гг. н. э.) и Нерон (37—68 гг. н. э.)* — римские императоры, известные своей жестокостью и порочностью.

*Моя голова — опустевшая бальная зала...*— реминисценция из романа Брентано «Годви».

Стр. 161

*Положе, ты в долгу не останешься.*— Эта и последующие сцены шуточных препирательств между Леонсом и Валерио во многом повторяют структуру комедийных диалогов Шекспира, в частности сцен с Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Диалог о родителях Валерио в оригинале варьирует остроуту из первого акта комедии немецкого писателя Августа фон Платена (1796—1835) «Роковая вилка» (1826).

Стр. 163

*Где же выход из положения? Для меня — только в находчивости...*— Валерио употребляет здесь слово «Witz» (шутка, остроумие) и высказывается более резко: «Когда уже не знаешь, что говорить, выход только в остроумии». В этой форме тирада

Валерио приобретает явственно пародийный характер, вызывая ассоциации с повестью Шлегеля «Люцинда», где Юлий поет панегририк остроумию (глава «Постоянство и игра»).

Стр. 164

*О Шенди...* — ассоциация с романом английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1767), в котором отец героя под старость лет выполнял свои супружеские обязанности раз в месяц, в день, когда заводил старинные часы.

*Займемся чем-нибудь еще... Придумай!* — Эта и последующие реплики Леонса и Валерио варьируют одну из сцен Фантазио и Спарка в комедии Мюссе «Фантазио».

*A priori, a posteriori* — комическое обыгрывание терминов кантовской философии.

Стр. 165

*Ты чувствуешь ветер с юга?* — Немецкие исследователи указывают в связи с мечтаниями Леонса и Валерио об Италии (здесь и в заключительной сцене комедии) прежде всего на идиллическое описание Борромейских островов в романе немецкого писателя Жан-Поля Рихтера (1763—1825) «Титан» (1803) и на итальянскую тему в творчестве немецкого писателя-романтика Иосифа фон Эйхендорфа (1788—1857).

*Вергилий* — Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до н. э.) — знаменитый римский поэт.

*Лаццарони (итал.)* — так назывались деклассированные неаполитанские бедняки и бродяги (от библейской фигуры Лазаря). С конца XVIII в. лаццарони неоднократно использовались абсолютистскими правительствами для борьбы с революционными движениями.

*«Как младенец в колыбели...»* — отрывок из немецкой народной песни.

Стр. 166

*Но говорят, он настоящий Дон Карлос!* — Диалоги Лены и гувернантки в этой сцене варьируют сходную сцену между Эльсбет и наставницей в комедии Мюссе «Фантазио». Любопытно отметить, однако, что наставница у Мюссе сравнивает жениха Эльсбет с героем старинного рыцарского романа Амадисом, в то время как Бюхнер, явно иронизируя, употребляет здесь имя героя шиллеровской драмы «Дон Карлос».

Стр. 167

*Шамиссо, Адельберт фон* (1781—1838) — немецкий поэт-ро-

мантик. Эпиграф взят из его стихотворения «Слепая» (в несколько измененном виде).

Стр. 168

*Эта страна похожа на луковицу...*— Издевки Бюхпера над карликовыми размерами немецких княжеств.

*...прикроем наготу нашего внутреннего человека...*— Здесь, вероятно, иронически переосмысливается текст Нового завета: «Ибо если внешний наш человек и глеет, то внутренний со дня на день обновляется» (Второе Посл. Коринф. IV, 16).

Стр. 169

*Святая Оттилия.*— По аллеманскому преданию, Оттилия была дочерью герцога Этико I. Узнав о намерении отца выдать ее замуж, она сбежала от него, потому что хотела остаться верной лишь Христу.

Стр. 170

*Давай расчленять муравьев, считать тычинки! Я сделаю это своей королевской причудой!*— Монолог Леонса варьирует расчленения Фантазио в комедии Мюссе. Тема «королевской причуды», видимо, связана с мотивом «конька» в романе Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди».

Стр. 171

*Дражайшая, куда вы так торопитесь?*— Сцена обмена любезностями между Валерио и гувернанткой варьирует сходную сцену в комедии Мюссе «С любовью не шутят» (1834), но обе они, очевидно, восходят к сцене встречи Меркуцио с кормилицей в «Ромео и Джульетте» Шекспира (акт II, сцена 4).

*Такой нос похож на Ливанскую башню, обращенную к Дамаску*— ироническое обыгрывание библейского образа (Песнь Песней, VII, 5).

*Я мог бы сказать, как Гамлет...*— Полностью цитируемая здесь фраза Гамлета (акт III, сцена 2) звучит так: «Неужто с этим, сударь мой, и с лесом перьев,— если в остальном судьба обошлась бы со мною, как турок,— да с парой прованских роз на прорезных башмаках я не получил бы места в труппе актеров, сударь мой?» (пер. М. Лозинского).

Стр. 172

*Весна на ланитах и зима в сердце!*— Образ заимствован из «Фантазио» Мюссе.

Стр. 176

*...женившись, я осчастливаю определенный сорт людей...*—

Отрицательное суждение Леонса о браке восходит, видимо, к сходным рассуждениям немецкого писателя, современника Бюхнера, Карла Иммермана (1796—1840). См., например, его драму «Карденио и Целинда» (1826), начало IV акта.

Стр. 178

*...предпочла бы горизонтальное положение вертикальному.* — Здесь варьируется острота из «Путешествия по Гарцу» Гейне (1826).

Стр. 179

*...разве я не принял постановления о том, что мое королевское величество должно сегодня ликовать...* — Реплика Петра варьирует слова барона из комедии Мюссе «С любовью не шутят».

Стр. 181

*...сюда прибыли два всемирно известных автомата...* — Помимо гофмановской тема автомата (см. предисловие к настоящему изданию, стр. 61) прообразом речи Валерио послужили и рассуждения Фантазио в комедии Мюссе.

Стр. 182

*...если человека вешают фигурально...* — Здесь варьируется проническое рассуждение Жан-Поля Рихтера в романе «Титан». *Перестань корчить рожи и начинай!* — фраза Гамлета из трагедии Шекспира (акт III, сцена 2).

Стр. 184

*...будем считать дни и месяцы только по цветочным часам...* — Мотив заимствован из повести Жан-Поля Рихтера «Жизнь Квинтуса Фикслейна» (1796), где говорится о цветочных часах Линнея, на которых час суток определялся по цветам, раскрывавшим и закрывавшим свои венчики в разное время. В целом же об источниках заключительной сцены комедии см. прим. к стр. 165.

## ВОЙЦЕК

В основе неоконченной драмы «Войцек» лежит реальная история лейпцигского дирижера, бывшего солдата Иоганна Христиана Войцека, в припадке ревности убившего свою любовницу и публично казненного в Лейпциге 27 августа 1824 г. Документальный материал к драме Бюхнер черпал главным образом из

развернувшейся на страницах печати в 1824—1825 гг. полемики между видными врачами относительно змеяемости Войцэка. Однако помимо истории Войцэка Бюхнер, очевидно, был знаком и с двумя другими сходными случаями убийства из ревности, относящимися к 1817 и к 1830 гг. На это обстоятельство обращается внимание в новейшем критическом издании «Войцэка», осуществленном Эгом Краузе (Georg Büchner, „Woyzeck“. Kritisch herausgegeben von Egon Krause, Insel-Verlog, Frankfurt am Main, 1969)<sup>1</sup>.

Первым упоминанием Бюхнера о работе над драмой «Войцек» следует, видимо, считать письмо к брату из Страсбурга от 2 сентября 1836 г., где Бюхнер говорит о том, что он «заставляет людей на бумаге убивать друг друга». Вплоть до своей смерти писатель продолжал работать над драмой.

Ныне существуют три последовательно возникавших варианта набросков к драме и две отдельные сцены («Двор докторского дома» и «Дурачок. Ребенок. Войцек»), которые возникли раньше последнего, третьего варианта и рассматриваются исследователями как особый, дополнительный вариант. При этом в первоначальных вариантах существует целый ряд сцен, которые не вошли (то есть, видимо, не успели войти) в последний.

Публикуемый с тех пор в немецких изданиях текст драмы представляет собой, таким образом, вынужденную комбинацию из всех вариантов, предпринимаемую с целью по возможности воссоздать наиболее полный текст драмы и сделать ее пригодной для сцены. В настоящем издании воспроизводится комбинация, ставшая уже традиционной для большинства немецких изданий «Войцэка». В основных чертах она была предложена К.-Э. Францосом в первом издании «Войцэка» (1879) и затем повторена Ф. Бергманом во всех его изданиях сочинений Бюхнера, начиная со второго (1926). В основу текста здесь берется третий, последний по времени возникновение вариант, с добавлением отсутствующих в нем сцен из других вариантов (в основном первого, поскольку почти все сцены второго вошли в переработанном виде в последний вариант).

Особой проблемой при этом является порядок сцен. При обилии и крайней фрагментарности вариантов драмы всякая попытка воссоздать более или менее единый связный текст неизбежно

---

<sup>1</sup> Поскольку это издание содержит целый ряд новых предположений и открытий в области текстологии драмы, на него делаются специальные ссылки в примечаниях с указанием соответствующих страниц.

влекла за собой нарушение порядка сцен, существовавшего в отдельных вариантах; к некоторым сценам добавлялись концовки из других вариантов по принципу смыслового тяготения. Из таких издательских отклонений от первоначальных планов самого писателя наиболее принципиальными и влияющими на трактовку содержания драмы следует считать два:

1. Сцена, фигурирующая сейчас как первая в драме («У капитана»), в последнем варианте Бюхнера стоит пятой; этот последний вариант драматург начинал сценой «Поле, вдали город» (вторая в настоящем издании). Однако большинство немецких издателей (К.-Э. Францос, П. Лаудау, Ф. Бергеман и другие) предпочитали выносить эту сцену в начало — для создания более удобной сценической экспозиции. Этот традиционный прием сохранен и в настоящем издании.

2. Последняя сцена драмы в традиционном немецком издательском варианте («У пруда») составлена из трех отдельных сцен первого варианта (19-й, 20-й и 16-й). При этом, как видно из приведенной нумерации, порядок сцен изменен по сравнению с оригиналом: заключительная часть сцены «У пруда» (начинающаяся с ремарки «Появляются горожане») в первом варианте стоит *перед* монологом Войцека, открывающим сейчас сцену. Такая перестановка мотивировалась стремлением придать драме более или менее заверченный характер; в данном случае предполагалось, что Войцек или случайно тонет в пруду, ища нож, или намеренно заходит все дальше в воду и, таким образом, кончает жизнь самоубийством.

Между тем против такой операции выдвигались серьезные возражения со стороны целого ряда немецких исследователей Бюхнера. В частности, Э. Краузе тоже оспаривает правомерность такой концовки. На основании нового анализа рукописей драмы Краузе утверждает, что сцена «Служитель в суде. Войцек. Врач. Судья. Полицейский» (публикуемая в настоящем издании под рубрикой «Из неоконченных набросков») завершает собой первый вариант, а не принадлежит ко второму, как предполагалось ранее. Если утверждение Краузе справедливо, то, следовательно, по первоначальному замыслу Бюхнера, пьеса должна была кончиться не смертью героя в пруду, а судебным процессом (что соответствовало бы и фактической основе драмы).

Однако здесь следует считаться с тем фактом, что вообще все последние сцены драмы, связанные с убийством Марии (начиная со сцены «Улица. Перед входом в дом — Мария, дети, старуха»), существуют лишь в самом первом варианте; в последнем варианте их нет — Бюхнер, видимо, не успел завершить работу

над ними. В начальном же варианте концовка драмы, как видно, была еще во многом неясной и для самого Бюхнера. Если учесть также абсолютную неразработанность сцены в суде (здесь, собственно говоря, нет даже сцены, а есть только одна отрывочная фраза), то традиционный издательский вариант концовки, воспроизводимый в настоящем издании, следует считать самым удобном по меньшей мере в сценическом отношении.

Другой сложной текстологической проблемой в связи с «Войцеком» является само восстановление первоначального авторского текста. Дело в том, что к моменту первой публикации «Войцека» в 1879 г. рукописи Бюхнера, и без того написанные очень неразборчивым почерком, оказались настолько выцветшими, что для прочтения текста понадобилась обработка химическими препаратами. Эта процедура, позволив прочесть основную часть текста, нанесла ему в то же время ряд новых необратимых повреждений. В результате позднейшие исследователи, пытавшиеся уточнить текст, в большинстве случаев были вынуждены оперировать больше догадками, нежели точными доказательствами. Это во многом характерно и для исследования Краузе. Тем не менее и в настоящем издании переводчик драмы и автор примечаний к ней сочли возможным и уместным принять во внимание целый ряд поправок Краузе, оговорив их, однако, в комментариях.

Следует отметить и еще одно предположение Краузе, касающееся идейного замысла драмы. Ссылаясь в основном на то обстоятельство, что Бюхнер в последнем варианте драмы заметно расширяет круг библейских и евангельских реминисценций, связанных в основном с темой раскаяния и искушения, Краузе усматривает в этом признаки радикального отхода Бюхнера от фактической основы драмы. По мысли Краузе, писатель тем самым стремился в образах Войцека и Марии провести аналогию с Христом и Марией Магдалиной и, возможно, намеревался даже отказаться от изображения убийства Марии Войцеком. Однако это остается лишь чисто интерпретационным предположением. Ему, между прочим, противоречит постоянная и принципиальная верность Бюхнера документальным источникам во всех его предшествующих произведениях.

Первая постановка драмы была осуществлена в Берлине в 1913 г. С тех пор вплоть до настоящего времени драма постоянно инсценируется в немецких и зарубежных театрах. Большой популярностью пользуется и опера Альбана Берга на сюжет драмы (см. об этом в предисловии к настоящему изданию).

Стр. 187

*«Пустите детей приходить ко мне»* — Евангелие от Марка, X, 14; от Луки, XVIII, 16.

*...и на небе нас поставят при громе подсоблять.* — Выражение заимствовано Бюхнером из 2-й книги романа немецкого писателя Ахима фон Арнима (1781—1831) *«Хранители короны»* (1817).

Стр. 188

*...это все франкмасоны!* — Масонство (от франц. *«franc-maçon»*, букв. — «вольный каменщик») — философско-религиозное течение, распространившееся в Европе в XVIII—XIX вв. и претендовавшее на роль своеобразной светской религии. Среди широких масс масонство часто было синонимом вольнодумства и гайных происков против установленных общественных порядков, — очевидно, в этом смысле употребляется это понятие и Войцеком. Боязнь франкмасонства была засвидетельствована и у прототипа бюхнеровского героя.

*«Зайцы там сидели...»* — отрывок из немецкой народной песни.

Стр. 189

*Все небо горит! И словно трубный глас сверху* — реминисценция из Апокалипсиса. В следующей ниже фразе Войцека: *«Безжим! И не оглядывайся!»* — Э. Краузе (стр. 217) усматривает также ассоциацию с библейской легендой о Лоте и его жене (Первая кн. Моисея, XIX, 24—26).

*«Солдаты, солдаты...»* — отрывок из немецкой народной песни.

Стр. 190

*«У красавицы девицы...»* — строфа из немецкой народной песни.

*«Распрягай свою шестерку...»* — строфа из немецкой народной песни; в некоторых немецких изданиях приводится только первая строфа Марии, поскольку предполагается, что Бюхнер, написав обе строфы в черновике, в окончательном варианте выбрал бы одну из двух песен.

*«...поднялся дым из земли, как дым из печи»* — Ветхий завет, Первая кн. Моисея, XIX, 28.

Стр. 191

*«Знают взрослые и дети...»*. — Происхождение этой строфы неясно; возможно, это отрывок из старинной песни шарманщиков.

*Надо, видать, самому дурачком прикидываться, чтобы тебя не одурачили.* — Перевод этой фразы в настоящем издании осно-

ван на повой расшифровке бюхнеровского текста, предложенной Краузе (стр. 211). В прежних немецких изданиях «Войцек» эта фраза приписывалась Марии и оставалась весьма темной по смыслу (в русском переводе она звучала бы примерно так: «Знаешь, если у шутов ума палата, то сами мы шуты гороховые»). Новое прочтение Краузе, хотя и оно не бесспорно (из-за крайней неразборчивости оригинала), представляется все же более логичным и более соответствующим бюхнеровскому ходу мысли, тем более что Краузе указывает здесь (как на вероятный источник) на фразу из Нового завета: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым» (Первое посл. к коринф., III, 18).

*...теперь ты есть молодец!* — Перевод основан на повом прочтении текста Краузе (в прежних немецких изданиях вместо предложенного Краузе слова «Brav» (молодец) стояло слово «Вагон»).

*Любимцы всех коронованных особ Европы...* — Сцена с зазывалой, очевидно, навеяна первой сценой первого акта драмы Граббе «Наполеон, или Сто дней» (1831).

Стр. 192

*Это вам не мистика, а физиогномистика.* — Видимо, прощельский намек на модное в то время учение Лафатера (см. прим. к стр. 250).

Стр. 193

*Комната Марии.* — Немецкие исследователи проводят здесь параллели с драмой Ленца «Солдаты» (акт I, сцена 6).

*«Лавку, девка, закрывай...»* — строфа из немецкой пародной песни.

Стр. 195

*Доктор.* — Прототипом этого персонажа был профессор анатомии и физиологии Гисенского университета Иоганн Бернгард Вильбрадт, человек ограниченных и консервативных взглядов.

Стр. 196

*Протей* — животное из отряда хвостатых амфибий.

*Иногда в полдень солнце так жжет...* — Вся эта тирада Войцек построена на реминисценциях из Апокалипсиса.

Стр. 198

*Я уже вижу людей с лимонами в руках...* — Выражение заимствовано из четвертого тома романа Жан-Поля Рихтера «Титан», где рассказывается об одном деревенском обычае — после

чей-либо смерти класть в руки покойнику, священнику и пономарю по лимону.

*...пообрить целый полк кирасир...* — Перевод этой фразы основан на новом прочтении текста Э. Краузе (в прежних изданиях вместо «кирасир» было «кастратов»).

*Появляется Войцек...* — Следует отметить здесь, что Бюхнер, разрабатывая эту сцену в последнем варианте, вообще исключил из нее фигуру Войцека; концовка сцены с появлением Войцека добавлена немецкими издателями из соответствующей (7-й) сцены второго варианта.

Стр. 199

*Еще Плиний говорил...* — Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) — римский писатель и историк. Предполагается, что Плиний ошибочно назван здесь вместо Плутарха, который в жизнеописании Тесея упоминает о приказе Александра Македонского сбрить бороды своим солдатам.

Стр. 199—200

*И все только из-за маленькой разницы между «да» с одной стороны и «да» — «нет» — с другой.* — Темное место в тексте драмы. В настоящем издании переводчик исходил из противопоставления уверенности в измене Марии («да») и сомнений («да» — «нет»); Э. Краузе (стр. 214) высказывает предположение, что эти рассуждения Войцека связаны со словами Евангелия от Матфея (V, 37) и Второго послания Павла к коринфянам (I, 17); в обоих случаях речь в Новом завете идет об осуждении лицемерия — о том, что «да» должно означать «да» и «нет» должно означать «нет».

Стр. 201

*«Служанка у хозяйки — клад...»* — строфа из немецкой народной песни.

Стр. 202

*«Хоть рубахой чужой прикрыта спина...»* — вероятно, стихи самого Бюхнера.

*«Вот ловец из Ифальца юный...»* — строфа из немецкой народной песни.

*Почему господь не погасит солнце..* — реминисценция из Апокалипсиса (VII, 12).

Стр. 204

*...я чувствую себя Давидом, узревшим Вирсавию...* — реминисценция из Ветхого завета (Вторая кн. Самуила, XI, 2—4).

Стр. 207

*У этого — золотая корона, он король...* — Весь монолог дурачка в этой сцене представляет собой бессвязный набор фраз из народных сказок.

*«И не обрели ложь в устах его...»* — цитата из Нового завета (Первое посл. Петра, II, 22).

*«Но фарисеи привели к нему жену...»* — Здесь и далее в этой сцене цитируется Евангелие от Иоанна, VIII, 3—11, и от Луки, VII, 37—38.

Стр. 208

*«За муку, господи, твою...»* — вероятно, стихи самого Бюхнера.

*...родился двадцатого июля, в день Благовещения...* — оппбка Бюхнера: день Благовещения приходится на 25 марта.

Стр. 209

*«Светило солнышко с небес...»* — вероятно, стихи самого Бюхнера или вариации на тему детской песенки.

Стр. 210

*Месяц-то какой багровый всходит!* — *Словно серп в крови* — реминисценция из Апокалипсиса (VI, 12).

Стр. 211

*«Ах, доченька родная...»* — строфа из народной песни земли Гессен.

*«Не люблю в швабской мне стороне...»* — Здесь и ниже Кете поет немецкую народную песню «Уехал далеко милый мой».

Стр. 212

*«И сказал великан...»* — слова из немецкой народной сказки.

Стр. 213

*«А этот в воду упал...»* — слова из немецкой детской считалочки.

Стр. 214

*«Хорошее убийство, настоящее убийство...»* — Возможно, этот набросок сделан под влиянием комедии Граббе «Шутка, сатира, ирония и более глубокий смысл» (см. также прим. к стр. 155). Один из героев комедии Граббе возмущается тем, как в современной «идеальной» литературе обесцениваются все положительные оценочные понятия, поскольку применяются в самых неподобающих ситуациях: «Словами: гениальный, глубокий, милый, ве-

ликолепный — так безбожно злоупотребляют, что я уже предвижу время, когда для того, чтобы заклеить навеки перед всем народом какого-нибудь наиотъявленнейшего каторжника, на виселицу прикрепят афишу: «Н. — гениальный, глубокий, милый, великолепный человек!» (акт I, сцена 3).

## КАТОН УТИЧЕСКИЙ

«Катон Утический», датированный 29 сентября 1830 г., принадлежит к числу немногих сохранившихся гимназических сочинений Бюхнера. Среди них он выделяется наибольшей самостоятельностью и лаконичностью мысли. В высшей степени интересно сопоставить это юпошеское сочинение со зрелыми произведениями Бюхнера, прежде всего с драмой «Смерть Дантона», решающей те же проблемы места и роли личности в истории. При таком сопоставлении еще более отчетливо обнаруживается и эволюция взглядов Бюхнера и центральная проблематика драмы. Эта проблематика предстает как явственная полемика писателя и с собственным прежним воодушевлением, запечатлевшимся в «Катоне Утическом». Утверждаемая в драме мысль о зависимости индивида от «железного закона», о «дьявольском фатализме истории» прямо противостоит тому гимну во славу великих людей, которым открывает юноша Бюхнер свое сочинение. Не случайно и сам образ Катона и философия стоицизма, прославляемая в сочинении, появляются в драме преимущественно лишь в иронических репликах Дантона и Эро (см. стр. 77 и 146 настоящего издания).

Стр. 217

*Катон Утический.* — См. прим. к стр. 77.

Стр. 219

*Катилина.* — См. прим. к стр. 86.

Стр. 220

*Веллей Патеркул* — римский претор эпохи правления императора Тиберия (с 14 по 37 г. н. э.), автор двухтомной истории Рима (29 г. н. э.).

Стр. 222

*Деяние Брута.* — Имеется в виду убийство Юлия Цезаря Марком Юнием Брутом (см. прим. к стр. 100).

*...пример Цицерона показывает, сколь ничтожны результаты*

*уступчивости и покорности.* — Бюхнер имеет здесь в виду последний год жизни Цицерона (см. прим. к стр. 131), когда после смерти Юлия Цезаря Цицерон поддержал его преемника Октавия, но вскоре был предан им и умерщвлен с его согласия.

Стр. 223

*Дочь его, Порция, нашла уже своего Брута.* — См. прим. к стр. 82.

*Битва при Филиппах показала, что урок пошел на пользу.* — В битве при Филиппах (42 г. до н. э.) войско Марка Юния Брута, выступившего вместе со своим другом Кассием против диктаторского правления второго триумvirата (Октавий, Марк Антоний и Лепид), потерпело поражение, и Брут, подобно своему тестю Катону, покончил жизнь самоубийством, бросившись грудью на меч.

*Люден*, Генрих (1780—1847) — немецкий историк, автор «Популярной всеобщей истории народов и государств древности» (1824).

Стр. 224

*Гербер*, Иоганн Готфрид (1744—1803) — один из виднейших немецких писателей эпохи Просвещения.

## ГЕССЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

Прокламация была написана весной 1834 г. В июне Бюхнер передал прокламацию книготорговцу из Оффенбаха Карлу Преллеру для напечатания; в июле был напечатан первый тираж «Вестника», в ноябре или декабре — второй.

Существующий ныне текст прокламации в значительной степени обработан Людвигом Вайдигом (см. предисловие к настоящему изданию). Во время судебного следствия участники подпольной организации указывали на отредактированные Вайдигом куски текста. Согласно традиции, сохраняющейся во всех изданиях Бергемана, эти части текста выделяются в настоящем издании курсивом.

Немецкие исследователи отмечают влияние на прокламацию французских социальных учений того времени — сен-симоновской теории продуктивности общественных классов, мысли Бланки о непримиримости классовых противоречий между имущими и неимущими. В частности, Ганс Майер в своем исследовании о Бюхнере (1960) обращает внимание на явные параллели между

прокламацией Бюхнера и речью Блашки во время судебного процесса над ним в январе 1832 г. В свою очередь вайдиговская обработка текста несет на себе следы влияния христианского социализма Ламенне.

Стр. 225

*«Мир тужинам! Война дворцам!»* — этот лозунг, ставший крылатым во время революционных войн республиканской Франции, принадлежит французскому демократическому писателю-моралисту Шамфору (1740—1794).

Стр. 227

*...великого герцога Гессенского...* — Речь идет о Людвиге II, герцоге Гессенском с 1830 по 1848 г. Сразу по своем вступлении на герцогский трон в Гессене Людвиг стал крайне непопулярным среди населения как из-за своей реакционности, так и из-за того, что попытался погасить свои личные долги за счет государственной казны. Гессенский парламент (ландтаг) большинством голосов отклонил это предложение.

Стр. 228

*...цепи, в которые заковали ваших сограждан из Фогельсберга...* — Речь идет о крестьянском восстании в Верхнем Гессене в 1830 г. Вблизи селения Зёдель восставшие были разбиты наемниками герцога Гессенского, а многие участники восстания брошены в тюрьму Мариеншлос в Рокенбурге.

Стр. 229

*...побойце под Зёделем!* — См. предыдущее примечание.

Стр. 230

*...знак зверя, которому поклоняются язычники в наши дни* — ремпинденция из Апокалипсиса (XIV, 9-10).

Стр. 233

*...они бросали народу крохи и уверяли, что будут милостивы.* — Здесь и ниже речь идет о куцых мерах по «демократизации» государственной власти, предпринимавшихся в некоторых германских княжествах (и, в частности, в герцогстве Гессенском) после революционных событий 1830 г. в Европе. Бюхнер и в своих письмах постоянно издевается над фарсовым, демагогическим характером этих установлений.

*Грольман* — депутат гессенского ландтага, голосовавший за предложение оплатить личные долги Людвига II из государственной казны.

*Людовиг I Баварский* — король Баварии с 1825 по 1848 г. Людовиг неоднократно бывал в Италии (отсюда резкая фраза о «смрадных помойках Италии» в последующем тексте) и весьма дорожил своей репутацией покровителя искусств. Прокламация Бюхнера — Вайдига впервые показала Людвига во всем его депотическом самодурстве. В частности, фраза о том, что Людовиг «заставляет честных людей преклонять колени перед своим портретом», основана на реальном факте: когда вюрцбургский бургомистр Бер и врач Эйзенман осуждающе высказались о Людвиге, тот, угрожая тюрьмой, заставил их опуститься на колени перед его портретом и просить прощения. Впоследствии о Людвиге Баварском резко сатирически отзывался Гейне в своих стихах.

*«Нет, не от бога власть твоя!»* — Изменённая строфа из стихотворения немецкого поэта-демократа Готфрида Августа Бюргера (1747—1794) «Обращение крестьянина к своему светлейшему тирану».

## ЛЕНЦ

Работу над повестью «Ленц» Бюхнер начал во время своего второго пребывания в Страсбурге, в 1835 г. Впервые об этом замысле писателя упоминается в письме Гудкова к Бюхнеру от 12 мая 1835 г. (ответе на несохранившееся письмо Бюхнера): «Как я понял, Ваша новелла, навеянная пребыванием в Страсбурге, задумана как история неудавшейся поэтической судьбы? Буду очень рад, если Вы ее напишете вскоре». В письме к родным в октябре 1835 г. (стр. 303 настоящего издания) Бюхнер сообщает о своей работе над повестью.

Непосредственным стимулом к написанию «Ленца» послужило общение Бюхнера с семейством Штёбер (см. прим. к стр. 266). Август Штёбер в это время занимался историей пребывания Ленца в Эльзасе у Оберлина, и в его владении находились воспоминания Оберлина о визите Ленца в Вальдерсбах, явившиеся документальной основой для повести Бюхнера. Отец братьев Штёбер, Даниэль Эренфрид Штёбер (1779—1835), издал в 1831 г. книгу «Жизнь Фредерика Оберлина», также, видимо, послужившую одним из источников бюхнеровской повести.

Повесть осталась формально незаконченной, если иметь в виду то, что в ней не рассказано о последующих годах жизни Ленца. Однако она обладает и несомненной внутренней завер-

специально, поскольку рассказывает о вполне определенном — и чрезвычайно важном — эпизоде из жизни писателя (подробнее об этом см. предисловие к настоящему изданию).

Впервые повесть была напечатана Гукцовом в журнале «Телеграф» в 1839 г.

Стр. 239

*Ленц*, Якоб Михаэль Райнгольд (1751—1792) — немецкий драматург, прозаик и поэт, один из видных представителей литературного движения «Буря и натиск» (штюрмерства). В творчестве Ленца нашли яркое выражение плебейско-демократические и реалистические тенденции литературы штюрмеров. Наиболее значительны драмы Ленца «Гувернер» (1774) и «Солдаты» (1776), в которых Ленц, следуя во многом драматургической технике Шекспира, создает резко обличительные социальные картины современности, критикуя немецкое дворянство, бюргерство и офицерство. Ведя сам полуголодное и бесправное существование гувернера, мучимый с 1777 г. приступами шизофрении, Ленц умер в Москве, куда он приехал в 1781 г. и где безуспешно пытался устроить свою судьбу. Бюхнер хорошо знал творчество Ленца и разделял многие его литературно-эстетические взгляды (подробнее об этом см. ниже, в прим. к стр. 247, а также в предисловии к настоящему изданию).

Стр. 239

*Двадцатого января...* — Действие повести начинается 20 января 1778 г.

Стр. 240

*Вальдбах* (точнее — Вальдерсбах) — название селения, в котором жил Оберлин (см. сл. прим.). Вальдерсбах находится вблизи Страсбурга, в так называемой Каменной долине (Штайнталь).

Стр. 241

*Оберлин*, Иоганн Фридрих (1740—1826) — эльзасский пастор, организовавший общину в Каменной долине в 1767 г. Под руководством Оберлина крестьяне Каменной долины строили дороги, обучались различным ремеслам. Вслед за Лафатером (см. ниже) и Юнг-Штиллингом (см. ниже) Оберлин увлекался мистическими учениями и приобрел среди своих сограждан и современников репутацию ясновидца и врачевателя душ. Эта атмосфера очень точно передана в повести Бюхнера. Ленц был послан к Оберлину Кристофом Кауфманом (см. сл. прим.) после того, как оправился от первого приступа шизофрении в ноябре 1777 г.

*Кауфман*, Кристоф (1753—1795) — швейцарский друг Ленца, известный в кругах штюрмеров; популярность среди них Кауфман приобрел в основном благодаря своей дружбе с Лафатером, который посвятил его характеристике как «гения» некоторые страницы в своих «Физиогномических фрагментах». У Кауфмана Ленц гостил с ноября 1777 г. до января 1778 г., когда он отправился к Оберлину.

Стр. 244

*Разве вы теолог? — Да!* — Ленц вынужден был в 1771 г. прервать обучение теологии в Кенигсберге, чтобы зарабатывать себе на хлеб в должности гувернера.

Стр. 245

*«Дай принять святую муку...»* — Стихи написаны самим Бюхнером.

Стр. 246

*Штиллинг*. — Юнг-Штиллинг, Иоганн Генрих (1740—1817) — немецкий писатель, чьи религиозно-мистические трактаты, а также многотомная автобиография пользовались большой популярностью в конце XVIII в. Здесь имеются в виду его комментарии к Откровению Иоанна.

Стр. 247

*...говорили о литературе, то была его область.* — В последующие рассуждения наряду со своими собственными мыслями о литературе Бюхнер включает и многие близкие ему мысли Ленца. В частности, рассуждение о том, что «господь создал мир таким, каким ему надобно быть, и нам, пачкунам, не придумать ничего лучшего», прямо перекликается с рассуждениями бургомистра в драме Ленца «Новый Меноза» (акт V, сцена 2). Позиция Кауфмана в этом споре в значительной степени искажена — видимо, для того, чтобы придать особую весомость реалистическим высказываниям Ленца. В действительности Кауфман тоже выступал в защиту «природы» против «искусства».

*«Солдаты»* и *«Гувернер»* — драмы Ленца, оказавшие влияние и на драматургию самого Бюхнера (см. прим. к стр. 239).

Стр. 248

*На одной из них... изображен Христос с учениками...* — По предположению Карла Вьетора, речь здесь идет о находящейся в Дармштадтской галерее картине Карела фон Савоя «Христос на пути в Эммаус», приписывавшейся ранее Рембрандту.

Стр. 249

*И другая картина...* — Здесь неясно, какая картина имеется в виду; Ганс Майер высказывает предположение, что речь идет об одной из картин Вермеера Дельфтского.

Стр. 250

*Лафатер*, Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский теолог и писатель, приобретший популярность во второй половине XVIII в. своими религиозными сочинениями и особенно книгой «Физиогномические фрагменты» (1775—1778), в которой он давал психологические характеристики различным людям, исходя из черт их лица и строения черепа.

Стр. 251

*...и он боролся с чем-то невидимым, словно Иаков* — ассоциация с библейским эпизодом (Первая кн. Моисея, XXXII, 24).

Стр. 252

*«Уехал далеко милый мой...»* — отрывок из немецкой народной песни.

Стр. 253

*...что теперь с девушкой, чья судьба так мне давит на сердце?* — Речь идет о Фредерике Брион, возлюбленной Гёте. Ленц познакомился с ней в 1771 г. в Зезенгейме и влюбился в нее, но с ее стороны встретил лишь дружеское участие. Эта история послужила поводом для резких высказываний Гёте о Ленце.

Стр. 254

*«Встань и ходи!»* — слова из Евангелия от Матфея (IX, 5).

Стр. 255

*Пфеффель*, Конрад (1736—1809) — поэт и педагог из Эльзаса, просветитель, друг Оберлина; осповал в 1773 г. протестантскую школу в Кольмаре, приобретшую европейскую известность.

Стр. 257

*«Как меч карающий и гневный...»* — стихи самого Бюхнера.

Стр. 258

*...сорвав цветок с могилы...* — В немецких изданиях Бюхнера до последнего времени в этой фразе вместо слова «цветок» (Blume) стояло слово «корона» или «крона» (Krone). Р. Леманн, издатель нового собрания сочинений Бюхнера, вышедшего в Гамбурге в 1969 г., обнаружил, что в первых двух изданиях «Ленца» здесь стоит слово «цветок».

## ПИСЬМА

Почти все письма Бюхнера (прежде всего адресованные родным и невесте) сохранились лишь в отрывках. Во многих случаях датировка устанавливалась исследователями предположительно. Впервые некоторые письма были опубликованы в 1850 г. в первом издании сочинений Бюхнера; полная подборка писем была опубликована в 1879 г. во втором издании полного собрания сочинений Бюхнера, подготовленном К.-Э. Францосом. В 1918 г. было опубликовано письмо к Зауэрлендеру от 21 февраля 1835 г. (стр. 288 настоящего издания).

Стр. 265

*Раморино*, Джироламо (1790—1849) — польский генерал итальянского происхождения, участник польского освободительного восстания против России в 1830—1831 гг. После подавления восстания эмигрировал из Польши, и радикально настроенная европейская интеллигенция приветствовала Раморино как героя национально-освободительной борьбы польского народа.

*Шнейдер*, Антуан (1779—1847) и *Лангерман*, Жорж-Фредерик, — генералы французской армии.

*Juste milieu* (франц. «золотая середина») — популярное во Франции 30-х гг. обозначение для компромиссной политики короля Луи-Филиппа, который, придя к власти после революции 1830 г., стремился удовлетворить интересы как буржуазии, так и феодальной аристократии.

...тогда кричала «виват», и на том комедия окончилась. — В толковании этого первого сохранившегося письма Бюхнера мнения немецких исследователей резко расходятся. Ганс Майер в своей книге о Георге Бюхнере истолковывает это письмо как очевидное свидетельство революционной одушевленности молодого Бюхнера и ироническую концовку считает специально «приклеенной» для того, чтобы успокоить отца. Карл Вьетор в своей монографии о Бюхнере (1949), напротив, подчеркивает сухую прощность тона всего письма и на этом основании делает вывод об изначальном скептицизме Бюхнера по отношению ко всякому радикализму. Несомненно, ироническая сдержанность и трезвость тона здесь очевидны, но вряд ли правомерно усматривать уже в этом письме корни трагического разочарования, пропавшего все творчество зрелого Бюхнера. Скорее, здесь проявилось чисто юношеское стремление завуалировать искренность свободолобивого порыва видимостью иронического превосходства. К тому же Бюхнер уже и тогда мог почувствовать всю легковес-

ную парадность подобных демонстраций. Во всяком случае, нет никаких оснований сомневаться в симпатиях Бюхнера к польскому восстанию.

Стр. 266

*Если дело дойдет до войны...* — После отпадения Бельгии от Голландии в результате революции 1830 г. Голландия рассчитывала с помощью России вернуть власть над Бельгией, но восстание в Польше расстроило эти планы.

*Перье*, Казимир (1777—1832) — французский премьер-министр при Луи-Филиппе, человек крайне реакционных убеждений.

*Штёбер*, Август (1808—1884) — друг Бюхнера по Страсбургскому университету; студент теологии, впоследствии священник. Вместе со своим братом Адольфом Штёбером (1811—1892), тоже студентом университета, принадлежал к протестантским кругам страсбургской интеллигенции, ставившим своей целью культивирование немецкой литературной традиции в условиях преобладающего влияния романской культуры в Эльзасе. Братья Штёбер работали в это время над созданием антологии стихов и поэм по мотивам немецко-эльзасских народных песен, баллад и сказок; антология выходила дважды — в 1835 и в 1842 г. Своим интересом к немецкому фольклору Бюхнер, видимо, во многом обязан братьям Штёбер (см. также комментарий к «Ленцу» — историю создания повести).

Стр. 267

*Кюнцель*, Геприх (1810 —?) — дармштадтский филолог и теолог; готовил в это время вместе с Мецем (см. сл. прим.) издание «Альманах муз». Альманах вышел в 1833 г.; в него были включены и стихи братьев Штёбер.

*Мец*, Фридрих (1804—1835) — дармштадтский издатель и книгопродавец, друг Бюхнера.

*Братя Циммерман*, Фридрих (1814—1884) и Георг (1814—1881) — друзья Бюхнера по дармштадтской гимназии, впоследствии профессора литературы и философии.

*Epistolae* (точнее — *epistolae*) *ex ponto* (латин.) — послания с Понта. Римский поэт Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), будучи сосланным на берега Черного моря (Понта Эвксинского), писал оттуда стихотворные послания к своим друзьям.

*«Дрешер»* — название дома Штёберов в Страсбурге.

*Евгениды* — члены страсбургского студенческого литературного кружка «Евгении», основанного братьями Штёбер. Бюхнер часто посещал этот кружок.

*Бёккель*, Евгений (1811—1896) — студент медицины в Страсбурге, один из близких друзей Бюхнера, познакомивший его с братьями Штёбер; с 1840 г. — врач в Страсбурге.

*Баум*, Иоганн Вильгельм (1809—1878) — студент теологии в Страсбурге, друг Бюхнера, впоследствии профессор теологии.

*...из-за беспорядков в Голландии.* — См. прим. к стр. 266.

Стр. 268

*...о событиях во Франкфурте.* — Речь идет о неудачной попытке вооруженного путча во Франкфурте 3 апреля 1833 г. с целью захвата власти в общем парламенте германских земель. Заговорщики были выданы тем же доносчиком Кулем, который впоследствии выдал гессенским властям тайную организацию Вайдига—Бюхнера.

Стр. 269

*...я не поеду во Фрейбург...* — В сентябре 1832 г. власти временно закрыли университет во Фрейбурге, студенты которого протестовали против ограничений свободы печати. Здесь речь идет о студенческих волнениях, последовавших за закрытием университета.

*Нейштадт.* — Жители этого города намеревались отпраздновать годовщину «конституционных празднеств» — собрания либеральной немецкой интеллигенции в Гамбахе 27 мая 1832 г. Полиция и армия разогнали демонстрантов.

Стр. 270

*...на жилете вышито имя «Руссо»...* — Речь здесь идет о парижском студенте А. Руссо, последователе сен-симонизма, высланном баварскими властями за пределы княжества. Учение французского социалиста-утописта Клода-Анри Сен-Симона (1760—1825) пользовалось в эти годы в Европе большой популярностью, однако зачастую социальная философия Сен-Симона понималась весьма вульгаризованно и сводилась лишь к требованию равенства полов и свободы чувств. Над этим «расхожим» вариантом сен-симонизма и иронизирует Бюхнер в своем письме.

*...как Савл в поисках родительских ослов...* — ассоциация с библейским эпизодом (Первая кн. Самуила, IX, 3).

Стр. 271

*...я не стану вмешиваться в гиссенские провинциальные интриги...* — Об этом письме см. предисловие к настоящему изданию, стр. 10.

Стр. 272

*Сальо* — депутат от Страсбурга во французском парламенте, непопулярный из-за своих монархических убеждений.

Стр. 273

*Штамм*, Карл Теодор Фридрих, и *Гросс*, Август — студенты Гисенского университета. Были арестованы как участники франкфуртского заговора (см. прим. к стр. 268).

*...был на банкете в честь вернувшихся депутатов... среди них — Бальзер и Фогт.* — Речь идет о депутатах гессенского ландтага в Дармштадте, разогнанного герцогом Людвигом за отказ поддержать цензурную политику герцогского правительства и прежние акты «непослушания» (см. также прим. к стр. 227). Оппозиционные круги на местах устраивали возвращившимся депутатам демонстративно торжественные встречи. Бальзер и Фогт — профессора медицины в Гисенском университете, депутаты ландтага.

*...узников Фридберга.* — Имеются в виду арестованные за участие во франкфуртском заговоре. Фридберг — город в Гессенском герцогстве, где в это время была организована специальная тюрьма для политических преступников.

*Невесте.* — Луиза Вильгельмина (Милпа) Егле (1810—1880) была дочерью страсбургского протестантского священника Иоганна Якоба Егле, в доме которого Бюхнер жил во время своего обучения в Страсбурге. Бюхнер сбручился с Минной в 1833 г. О датировке и содержании этого письма см. предисловие к настоящему изданию, стр. 12.

*...они бессмертны, как лама.* — Согласно буддистскому религиозному верованию, выборный верховный жрец — далай-лама — не умирает, а перевоплощается каждый раз в душу нового избранника.

Стр. 274

*«...надобно прийти соблазнам...».* — См. прим. к стр. 111.

Стр. 275

*Ламбосси* — друг Бюхнера по Страсбургскому университету.

Стр. 276

*Г-н доктор Г. К.* — Имеется в виду Кюпцель.

*«Вечерняя газета»* — влиятельная немецкая газета в эпоху Реставрации.

*Виктор.* — По мнению немецких исследователей, речь идет о геологе Викторе Егле, друге братьев Штёбер.

*Шерб, Иоганн Даниэль* — студент-теолог, друг Штёберов.  
*Адольф*. — Имеется в виду брат Августа Штёбера (см. прим. к стр. 266).

Стр. 278

*...сначала вознесусь на небеса в дилижансе.* — Бюхнер в это время планировал поездку в Страсбург к невесте и друзьям.

Стр. 279

*Периллов бык* — (точнее — Перилаев бык). — По древнегреческому преданию, литейщик Перилай отлил для агригентского тирана Фалариса железного быка, в чреве которого пылал огонь. В это чрево Фаларис бросал провинившихся рабов, и вопли жертв, вырывавшиеся из пасти быка, услаждали слух тирана. Первым Фаларис бросил туда самого мастера. Это предание Бюхнер потом использует в драме «Смерть Дантона» (см. стр. 146 настоящего издания), как и ряд других мыслей из этого письма, написанного в период вызревания замысла драмы.

*Я мог бы позировать Калло — Гофману...* — Серия гротескно-фантастических литографий французского художника Жака Калло (1592—1635) вдохновила Э.-Т.-А. Гофмана на создание цикла повелел под названием «Фантастические повести в манере Калло» (1815). Современники поэтому часто называли писателя «Калло-Гофман».

Стр. 280

*Студенческие союзы.* — Речь идет о тайных обществах студентов, буржуазии и ремесленников в Гисене — «Палация», «Хассия» и др., — появившихся после запрещения прежних союзов — буршеншафтов.

*Узников Фридберга освободили...* — Большинство арестованных за франкфуртские события (см. прим. к стр. 268) были освобождены за недостаточностью улик.

Стр. 281

*Ты говорила мне о лекарстве...* — Бюхнер имеет в виду объявление родителям о помолвке, остававшей до этого времени тайной.

*...пою старую колыбельную...* — Далее приводится стихотворение Ленца «Сельская любовь», впервые опубликованное в шиллеровском «Альманахе муз» в 1798 г.

Стр. 283

*Бурши* — члены запрещенных буршеншафтов (см. прим. к стр. 280). Приводимый ниже окрик в оригинале пародирует начало гимна буршеншафтов.

*Университетский судья.*—Здесь и в последующих письмах речь идет о Конраде Георги (1801—1857). После ареста пастора Вайдига и членов его тайной организации Георги было поручено вести следствие, хотя, по врачебным свидетельствам, Георги страдал резко выраженной формой белой горячки. На допросах Георги истязал заключенных, и есть веские основания полагать, что самоубийство Вайдига в тюрьме было непосредственно спровоцировано (или даже подстроено) Георги и его подручными.

*Шульц, Вильгельм Фридрих (1797—1860)* — гессенский офицер, уволенный в отставку в 1820 г. за либеральные взгляды. После этого занялся юриспруденцией и публицистикой. За свою брошюру «Объединение Германии посредством национального представительства» был в 1834 г. приговорен к пяти годам тюремного заключения, но бежал вместе с супругой Каролиной Шульц в Цюрих, где читал лекции по юриспруденции в университете. С семейством Шульцев Бюхнер впоследствии близко сошелся в Цюрихе, они ухаживали за ним в последние его дни перед смертью, и Шульцу принадлежит первый некролог после кончины Бюхнера.

*История об одном комиссаре полиции.*— Рассказываемая далее история основана на действительном событии, происшедшем в селении Будбах с инспектором Бехтольдом.

Стр. 284

*В пятницу вышел из Гисена — решил идти ночью...*— Все это письмо носит чисто конспиративный характер: из желания успокоить родителей и, возможно, ввести в заблуждение полицию — на тот случай, если она перехватит письмо, — Бюхнер придает подчеркнuto невинный характер своей «прогулке в Оффенбахе». На самом деле Бюхнер в этот день узнал о том, что при выходе из городских ворот Гисена был арестован его друг Карл Миннигероде (см. ниже) с отпечатанными экземплярами «Гессенского вестника». Бюхнер тут же отправился в Будбах, Оффенбах и Франкфурт, чтобы предостеречь других участников тайного общества от дальнейшего распространения «Вестника».

*Миннигероде, Карл (1814—1894)* — гисенский друг Бюхнера, студент, участник тайного общества, арестованный 1 августа 1834 г. В 1837 г., после четырех лет пребывания в тюрьме и мучительных истязаний, был выпущен на свободу и в 1839 г. уехал в Америку, где стал пастором в одной из религиозных сект.

Стр. 285

*Мюстон* — французский эмигрант, видимо, знакомый Бюхнера по Страсбургу.

Стр. 288

*Зауэрлендер, Иоганн Давид* (1789—1869) — франкфуртский книгоиздатель, печатавший в своей типографии произведения молодых немецких писателей либерально-демократического направления (так называемое движение «Молодая Германия»). В издательстве Зауэрлендера впервые вышла драма Бюхнера «Смерть Дантона» (1835) и первое посмертное собрание сочинений Бюхнера, подготовленное братом Бюхнера Людвигом (1850).

*...рукопись...* — речь идет о драме «Смерть Дантона».

*Гуцков, Карл* (1811—1878) — известный немецкий писатель, в 30-е гг. связанный с движением «Молодая Германия». В это время редактировал литературное приложение к газете «Фелкс» издательства Зауэрлендера. Гуцков принял самое деятельное участие в литературной судьбе начинающего Бюхнера, опубликовав его драму «Смерть Дантона» (правда, в искаженном виде — см. прим. к стр. 297) и предоставив ему возможность перевести на немецкий язык две драмы Виктора Гюго (см. прим. к стр. 296). После смерти Бюхнера Гуцков опубликовал в своей газете «Немецкий телеграф» некролог (см. предисловие к настоящему изданию, стр. 3), в 1838 г. напечатал там же большую часть комедии «Леонс и Лена», в 1839 г. — повесть «Ленц».

*Г-жа Рейс* — бабушка Бюхнера, жившая в доме его родителей.

Стр. 290

*...сообщение о том, что меня разыскивает полиция.* — Полицейское объявление о поимке Бюхнера как государственного преступника появилось во «Франкфуртском журнале» лишь позже, 18 июля 1835 г., и гласило:

Нижезначенный Георг Бюхнер, студент медицины в Дармштадте, путем бегства из отечества уклонился от судебного следствия по делу об его подозреваемом участии в действиях, направленных на подрыв государственных основ. Просим все публичные власти в Германии и за границей оказать содействие в поимке опого и, в случае таковой, препроводить его в целости и сохранности в нижеозначенное место.

*Дармштадт, 13 июля 1835 года.*

Волею придворного суда провинции Обергессен Великого герцогства Гессенского к следствию назначенный надворный советник юстиции Георг и.

Личные приметы:

Возраст: 21 год  
Рост: 6 футов 9 дюймов по новым меркам герцогства Гессенского  
Волосы: светлые  
Лоб: очень высокий  
Брови: светлые  
Глаза: серые  
Нос: прямой  
Рот: маленький  
Усы: светлые  
Подбородок: круглый  
Лицо: продолговатое  
Цвет лица: свежий  
Фигура: крепкий, стройный  
Особые приметы: близорук.

Стр. 291

*Лейтенант Козериц* — один из участников антиправительственного заговора в Вюртемберге. Бюхнер ошибается, говоря о его казни, — Козериц был помилован и уехал в Америку.

*Франк* — один из участников вюртембергского заговора.

Стр. 292

*Беккер*, Август (1814—1871) — гиссенский друг Бюхнера, студент теологии, затем бросивший обучение. Беккер познакомил Бюхнера с Вайдигом. В 1835 г. был арестован, как член тайного «Общества прав человека». Сохранились протоколы судебных показаний Беккера 1835—1836 гг., в которых он, рассказывая подробно о политических взглядах Бюхнера, в то же время постоянно подчеркивает искренность и благородство его побуждений и не скрывает своего глубокого восхищения им. Беккер был приговорен к девяти годам тюремного заключения и амнистирован в 1839 г. Впоследствии он сблизился с коммунистическим движением, сотрудничал в «Рейнской газете» Маркса, во время революции 1848 г. был депутатом гессенского ландтага, затем уехал в Америку.

*Клемм*, Густав — гиссенский друг Бюхнера, участник «Общества прав человека». В апреле 1835 г. Клемм не выдержав истязаний на допросах и выдал пастора Вайдига. В 1839 г. был амнистирован.

...преследуют ректора Вайдига из Буцбаха — первое упоминание в письмах Бюхнера имени пастора Вайдига, Фридриха

Людвига (1791—1837), руководителя разветвленной подпольной организации в Гисене, соавтора «Гессенского сельского вестника». Вайдиг был арестован в 1835 г., на допросах мужественно выносил все истязания, но затем был найден в своей камере со вскрытыми венами (см. также прим. к стр. 283 — «*Университетский судья*» — и предисловие к настоящему изданию, стр. 13).

...как могли выпустить П.— Здесь неясно, кого Бюхнер имеет в виду.

Стр. 293

...несколько отрывков из моей драмы появилось в «Фениксе»...— Речь идет о публикации некоторых сцен из драмы «Смерть Дантона» в апрельском номере журнала.

День рождения короля...— Речь идет о французском короле Луи-Филиппе.

Сарториус, Теодор — студент медицины, член союза буршеншафтов.

Флик, Генрих Христиан — священник, друг и единомышленник Вайдига.

Стр. 294

Гейман, Розеншиль, Винер, Штамм — знакомые Бюхнера по Дармштадту и Гисену, эмигрировавшие в Страсбург.

Бюхнер, Вильгельм (1817—1892) — брат писателя, фармацевт, впоследствии владелец химического завода.

Стр. 295

...только Моисей мог бы стать нашим спасителем...— ассоциация с библейским текстом (Вторая кн. Моисея, VII).

Галльский петух — одна из национальных эмблем Франции. Здесь — как символическое напоминание о французской революции и символ революции вообще.

Кох, Валлот, Гайльфус — дармштадтские друзья Бюхнера, эмигрировавшие в Страсбург.

...один из моих гисенских друзей — Беккер...— Здесь имеется в виду студент-теолог Людвиг Беккер, однофамилец Августа Беккера.

Стр. 296

Клемм — предатель...— См. прим. к стр. 292. Бюхнер, однако, не знал еще, что сам арест Клемма и других участников организации последовал по доносу провокатора Конрада Куля, платного агента гессенского министра внутренних дел. Историки

предполагают, что Куль выдавал не сразу всех участников организации, а поочередно, и потому Бюхнер, в частности, успел скрыться, когда началась первая волна арестов.

*Бигелебен-младший, Вайденбуш, Флорет* — дармштадтские сверстники Бюхнера.

*Тудигум* (1794—1873) — священник и директор протестантской гимназии в Бюдингене, друг Вайдига, переводчик греческих классиков.

*Лауг, Эрнст-Александр* (1803—1837), и *Дювернуа, Жорж-Луи* (1777—1855) — профессора физиологии и анатомии Страсбургского университета.

*Перевод я давно кончил...*— Речь идет о переводах драм Гюго «Лукреция Борджиа» и «Мария Тюдор», сделанных Бюхнером и опубликованных Зауэрлендером в 1835 г. в шестом томе Собрания сочинений Гюго.

*...как обстоят дела с драмой, не знаю...*— Речь идет о драме «Смерть Дантона».

*...предисловие к одной книге, вышедшей в Берлине.*— Речь идет о предисловии Гуцкова к вышедшему в 1835 г. новому изданию книги философа-романтика Фридриха Шлеймахера (1768—1834) «Письма о «Люцинде» Шлегеля» (первое издание — в 1800 г.). Резкая критика немецкого филистерства, прозвучавшая в предисловии Гуцкова, была одной из причин гонений на Гуцкова со стороны немецких властей.

Стр. 297

*...издатель злоупотребил моим разрешением внести некоторые изменения в текст.*— Первая публикация «Смерти Дантона», предпринятая Гуцковым и Зауэрлендером, изобилует купюрами и поправками, сделанными из цензурных соображений. В статье, посвященной памяти Бюхнера и напечатанной в журнале «Франкфуртский телеграф» в июне 1837 г., Гуцков писал о первой публикации драмы: «Его Дантон доставил мне немало хлопот, ибо вещи, которые Бюхнер там написал, выражения, которые он себе позволял, в нынешних условиях не могли быть напечатаны. Дух санкюлотства бушевал в этой драме, «Декларация прав человека» шествовала по ее страницам, увенчанная розамп, но нагая... Поэтическую флору книги образовывали цветы полевые и ртутные: первые рассыпала его фантазия, вторые — его дерзкая сатира. Чтобы не доставить цензору удовольствия кромсаать драму, я взял эту миссию на себя и ножницами добровольной цензуры обрезал буйный демократизм этой поэзии. Тут только я почувствовал, что именно эти обрезки, принесенные в

жертву нашим правам и обстоятельствам, были лучшей и оригинальнейшей частью целого... Подлинный «Дантон» Бюхнера еще не появился. Мы знаем пока только скудный остаток, руину, стоившую мне огромных душевных мук». Следует отметить также, что Бюхнер в этом письме — видимо, желая успокоить родителей относительно «безнравственности» и политической направленности драмы — говорит о деятелях французской революции в преувеличенно осуждающем тоне. В то же время многие высказываемые в этом письме мысли относительно задач историка и писателя вполне отражают принципиальные взгляды Бюхнера на литературное творчество, перекликаясь и с текстом драмы и с текстом повести «Ленц», замысел которой вызрел у писателя примерно в это же время (см. его письмо к родным от октября 1835 г., стр. 303).

*Прибавили пошлый подзаголовок...*— «Смерть Дантона» появилась с подзаголовком «Драматические сцены из эпохи террора во Франции».

Стр. 299

*Ивергельтер*, Людвиг — дармштадтский друг Бюхнера, член «Общества прав человека».

Стр. 300

*...сестра несчастного Нейгофа...*— Брат и сестра Нейгоф участвовали в революционном движении в Гиссене. Брату удалось эмигрировать, но сестра была арестована.

*Много разговоров о взрыве адской машины в Париже...*— Речь идет о попытке некоего Фиески совершить покушение на короля Луи-Филиппа в июле 1835 г. Вскоре после этого французское правительство издало законы, оградившие свободу печати во Франции.

*Карлисты* — сторонники короля Карла X, свергнутого во время июльской революции 1830 г.

Стр. 301

*Калиш* — место празднеств монархов России, Пруссии и Австрии летом 1835 г. в ознаменование раздела Польши.

*...об адской машине при Бонапарте...*— Бюхнер вспоминает о попытке покушения на Наполеона 24 декабря 1800 г.

*...об убийстве французских послов в Раштаде...*— Речь идет об убийстве французских посланников австро-венгерскими солдатами во время переговоров о мире в апреле 1799 г. Следуя некоторым историкам, Бюхнер считает, что Наполеон сам спровоцировал это убийство, чтобы развязать руки для военных действий.

*Легитимисты* — сторонники свергнутой династии Бурбонов во Франции.

*Принц Эмиль* — брат Людвига II, герцога Гессенского.

Стр. 302

*...о письме из Швейцарии...*— Речь идет об анонимном письме, полученном Гуцковым из Швейцарии. В письме содержался упрек Гуцкову за «поддержку ренегата» — за издание драмы Бюхнера. Автором письма, как сразу догадался Бюхнер, был Герман Трапц, его бывший друг по гимназии и университету, член «Общества прав человека».

*«Дейче ревью»* («Немецкое обозрение»).— Планируемое Гуцковым издание так и не увидело свет: в декабре 1835 г. полицейские власти Германии запретили печатание сочинений всех писателей, причислявшихся к движению «Молодая Германия», — Винбарга, Мундта, Лаубе, Бёрне, Гейне и самого Гуцкова, — а именно этих писателей и собирался привлечь Гуцков к участию в «Немецком обозрении». (см. также письмо Бюхнера к родным от 2 ноября 1835 г., стр. 303).

Стр. 303

*Гладбах*, Георг (1811—1883) — дармштадтский друг Бюхнера, арестованный в 1833 г. за участие во франкфуртском путче.

*Ленц.*— См. прим. к повести «Лепц».

*...мне будет присвоена степень доктора наук...*— Бюхнер работал в это время над исследованием «О нервной системе карпасауса». По материалам исследования он сделал в апреле — мае 1835 г. серию докладов в страсбургском Естественно-научном обществе и был избран членом-корреспондентом общества. В том же году работа была опубликована, а в ноябре 1835 г. Бюхнер получил известие из Цюриха, что философский факультет Цюрихского университета намерен присвоить ему за это исследование степень доктора философских наук (степень была присвоена Бюхнеру в сентябре 1836 г.). Следует отметить, что основной пафос исследовательской работы Бюхнера в области биологии рыб заключался в стремлении доказать единство всего органического мира в процессе поступательного развития от низших форм к высшим. Бюхнер следовал здесь самым прогрессивным, в сущности материалистическим естественнонаучным идеям своего времени, в частности учению французского естествоиспытателя Жоффруа де Сент-Илера (1772—1844) о единстве строения организмов животного мира.

Стр. 304

...имена гг. Гейне, Бёрне, Мундта...— См. прим. к стр. 302.

«Тан» — парижская газета умеренно-республиканского направления.

...книжечку стихов, написанных... братьями Штёбер.— Речь идет о стихотворном сборнике «Эльзасские картины», изданном братьями Штёбер в 1835 г. (см. также прим. к стр. 266). Стихи братьев Штёбер были написаны в манере позднеромантической «швабской школы». Упоминаемые далее Густав Шваб (1792—1850) и Людвиг Уланд (1787—1862) были наиболее известными поэтами этой школы.

«Альманах муз».— Здесь имеется в виду альманах, издававшийся ежегодно, начиная с 1833 г., Швабом и Шамиссо (см. прим. к стр. 167). В него включались и стихи братьев Штёбер.

Стр. 305

Баварский король.— См. прим. к стр. 236.

Великий герцог Баденский.— Речь идет о Леопольде, герцоге Баденском с 1830 по 1852 гг.

...велик арестовать Гуцкова...— После запрещения публикаций младогерманцев Гуцков, высланный из Франкфурта, предстал перед баденским судом, который приговорил его к месяцу тюремного заключения «за дискредитацию христианской веры».

Стр. 306

...лично я вовсе не принадлежу к так называемой «Молодой Германии»...— Хотя в это время имя Бюхнера, видимо, не раз упоминалось в связи с «Молодой Германией» (тем более что он был связан дружескими узами с Гуцковым), писатель действительно во многом был далек от младогерманцев, выдвигавших на повестку дня злободневность и публицистичность литературы. Скептицизм Бюхнера по отношению к таким попыткам «актуализировать» литературу и с ее помощью воздействовать на общественную жизнь особенно обострился после неудачи, постигшей тайное общество Бюхнера и Вайдига. Этот скептицизм явственно звучит и в творчестве Бюхнера и в его письмах (ср. также письмо к Гуцкову на стр. 309). Однако и здесь нужно учитывать, что в письмах к родителям Бюхнер во многом старался смягчать свои политические и нравственные воззрения и в данном случае, очевидно, отзывался о младогерманцах в более осуждающем тоне, чем думал на самом деле.

Стр. 307

...адрес ...подозрительный.— Письмо Бюхнера Гуцкову в тюрьму.

*Буле* — издатель парижской газеты «Ревю дю Нор». Гудков просил его о помощи, намереваясь бежать в Париж от преследований властей.

*Кюллер*, Генрих (1811—1873) — дармштадтский врач, арестованный за революционную деятельность.

Стр. 308

*Метфессель*, Альберт (1785—1869) — придворный капельмейстер в Брауншвейге с 1832 по 1843 г. Источники рассказываемой Бюхнером истории не обнаружены.

Стр. 309

*...писал философское сочинение...*— Здесь имеется в виду сочинение о философских системах Декарта и Спинозы, над которым Бюхнер работал параллельно со своими естественнонаучными штудиями. Какое-то время Бюхнер предполагал направить именно это сочинение в Цюрих для получения докторской степени.

*Менцель*, Вольфганг (1798—1873) — немецкий литератор консервативно-националистического толка, издатель «Литературной газеты» в Штутгарте. Стяжал себе печальную известность нападками на Гёте и на современных демократических и либеральных писателей; в частности, фактически по его доносу была запрещена деятельность группы «Молодая Германия». В следующей ниже фразе о том, что Менцель может получить «место профессора в Мюнхене», Бюхнер употребляет название этого города как символ крайней реакции (ср. прим. к стр. 236 — «*Людвиг I Баварский*»).

Стр. 311

*...некий г-н фон Эйб.*— Фон Эйб — псевдоним, под которым скрывался провокатор, агент общегерманского парламента (бундстага) среди немецких эмигрантов в Швейцарии.

*...вчера я наконец закончил работу над своим сочинением.*— Здесь речь идет о другой работе Бюхнера — исследовании «О нервной системе карпа-усача» (см. прим. к стр. 303).

Стр. 312

*...я начну читать свой курс...* — После присвоения докторской степени Бюхнеру было предложено читать курс лекций в Цюрихском университете, как явствует из его письма к брату Вильгельму от 2 сентября 1836 г. (стр. 315). Он по-прежнему собирался читать лекции по философии. Однако для пробной лекции Бюхнер все-таки выбрал тему по физиологии — «О первах головного мозга». Текст этой лекции сохранился.

Стр. 313

*Слухи о жене священника...*— Неясно, о какой истории говорит здесь Бюхнер.

*Ципфель.*— Здесь неясно, о ком идет речь.

*Пеш, Тереза* (1806—1882) — немецкая драматическая актриса, игравшая в 1828—1829 годах в дармштадтском придворном театре, затем получившая ангажемент в венском «Бургтеатре».

Стр. 314

*Савойский поход.*— В 1834 г. Раморино (см. прим. к стр. 265) организовал вторжение из Швейцарии в Савойю (находившуюся тогда в составе Сардинского королевства) отряда, состоявшего из эмигрантов различных национальностей, с целью вызвать там республиканское восстание. Отряд был разбит королевскими войсками.

Стр. 315

*...размышляет, не повеситься ли ему на собственной двери...* — Реминисценция из Гёте (см. прим. к стр. 100).

*...я занят тем, что заставляю людей на бумаге убивать друг друга или жениться...*— Речь идет, по-видимому, о пьесах «Леонс и Лена» и «Войдек».

*Обе драмы еще у меня...*— Видимо, имеются в виду «Леонс и Лена» и «Войдек». Правда, брат писателя Людвиг Бюхнер, издавший в 1850 г. первое собрание его сочинений, со слов Минны Егле упоминает там еще об одной драме, над которой Бюхнер работал в это время,— драме об итальянском писателе XVI в. Пьетро Аретино. Родственники и первые исследователи высказывали предположение, что черновики этой драмы после смерти Бюхнера уничтожила Минна Егле из-за якобы слишком «безнравственного», по ее мнению, характера драмы. Однако никакие доказательства этого предположения нет. Ф. Бергман отвергает его категорически. Так что вопрос о том, существовала ли эта драма хотя бы в набросках, по-видимому, так и останется открытым. Единственное возможное свидетельство ее существования — отрывок из последнего письма Бюхнера к невесте из Цюриха, где кроме «Леонса и Лены» говорится еще о двух драмах, готовых к печати. Во всяком случае, некоторые немецкие исследователи усматривают ряд точек соприкосновения в эстетических взглядах Бюхнера и Аретино, так что самый интерес Бюхнера к этой фигуре, видимо, не подлежит сомнению.

*Гесс, Иоганн Якоб* (1791—1857) — бургомистр и начальник полиции Цюриха.

Стр. 317

*...спор Швейцарии с Францией.*— Речь идет о политических трениях, вызванных пребыванием Луи-Наполеона в Швейцарии. Луи-Наполеон (1808—1873), племянник Наполеона Бонапарта, после смерти единственного законного сына Бонапарта, Наполеона II (1832), считал себя главой наполеоновской династии и, стремясь восстановить ее правление во Франции, неоднократно инспирировал путчи против правительства Луи-Филиппа. Один из таких путчей был организован в Страсбурге в октябре 1836 г. В 1852 г. Луи-Наполеон совершил государственный переворот во Франции и стал императором.

*Мне пишут, что Миннигероде умер.*— Здесь Бюхнер был введен в заблуждение (см. прим. к стр. 284).

Стр. 318

*Абеляр и Элоиза.*— Средневековый философ-схоласт и теолог Абеляр (1079—1142) влюбился в свою ученицу Элоизу и бежал с ней. История Абеляра и Элоизы была очень популярна в Европе XVIII—XIX вв. и послужила, в частности, основанием для названия романа Руссо «Новая Элоиза» (1761).

Стр. 320

*А я погасил свой светильник...*— Бюхнер обыгрывает здесь последнюю строфу из стихотворения «Диоген» Конрада Пфёффера (см. прим. к стр. 255), где говорится о том, как Диоген, найдя доброго человека, погасил свой фонарь.

*...я сдам «Леонса и Лену» и еще две драмы в печать.*— См. прим. к стр. 315.

 А. Карельский

## СОДЕРЖАНИЕ

	3	<i>А. Карельского</i>	
		ГЕОРГ БЮХНЕР	
<b>ПЬЕСЫ</b>	73	СМЕРТЬ ДАНТОНА	<i>Перевод А. Карельского</i>
	151	ЛЕОНС И ЛЕНА	<i>Перевод Э. Венгеровой</i>
	185	ВОЙЦЕК	<i>Перевод Е. Михелевич</i>
<b>ПРОЗА</b>	217	КАТОН УТИЧЕСКИЙ	<i>Перевод О. Михеевой</i>
	225	ГЕССЕНСКИЙ	
		СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК	<i>Перевод О. Михеевой</i>
	239	ЛЕНИ	<i>Перевод О. Михеевой</i>
<b>ПИСЬМА</b>	263		<i>Перевод Ю. Архипова</i>
<b>КОММЕНТАРИИ</b>	321		<i>А. Карельского</i>

ГЕОРГ  
БЮХНЕР

ПЬЕСЫ  
ПРОЗА  
ПИСЬМА

Редактор И. Гракова  
Художник И. Николаев  
Художественный редактор Л. Орлова  
Технические редакторы Н. Новожилова, А. Резник  
Корректоры В. Акулина, Г. Харитоновна

Сдано в набор 14/V-1971 г. Подп в печ. 20/VI-1972 г. Форм. бум. 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 16,888. Уч.-изд. л. 18,760. Тираж 15 000 экз. Москва, К-51. Цветной бульвар, 25. Изд. № 12851 Издательство «Искусство», Заказ № 931. Цена 1 р. 27 к. Московская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, Мало-Московская, 21.



